

Ю. Н. Караулов

**РУССКИЙ ЯЗЫК
И
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ**

Издание седьмое



URSS
МОСКВА

Караулов Юрий Николаевич

Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2010. — 264 с.

В настоящей книге рассматривается один из интереснейших вопросов лингвистики — вопрос о формах существования языка и способах его использования. Разрабатывая понятие языковой личности, автор показывает, что оно является системообразующим для описания национального языка и на его основе оказывается возможным достичь нового синтеза знаний о русском языке, преломленном через структуру русской языковой личности.

Рекомендуется специалистам — филологам и психологам, преподавателям, студентам и аспирантам гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется русским языком и вопросами развития личности.

Издательство ЛКИ. 117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.

Формат 60×90/16. Печ. л. 16,5. Зак. № 3126.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».

117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978–5–382–01071–7

© Издательство ЛКИ, 2007, 2009



8320 ID 109693



Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.

Что узнает о себе читатель как языковая личность, пролистав эту книгу? Что у него в руках — стилистика? Или описание языкового строя? Может, это психология русского языка? А может быть, его история? Вероятно, это покажется странным, но читатель найдет здесь всего понемногу — и истории русского языка, и стилистики, и семантики; здесь затрагиваются вопросы интеллектуального развития личности в связи с языком и ее эмоциональные аспекты, т.е. духовность в широком смысле слова, вопросы межличностного общения и особенности русской грамматики. Соответственно на ее страницах встретятся ссылки помимо лингвистической на литературу по многим другим общественным наукам: истории, социологии, психологии, этнографии, философии, литературоведению и искусствоведению. Это не означает, что книга — ни о чем. Она о личности и ее языке, а в ней — в личности — сходятся интересы всех наук о человеке. Автор не сторонник непреходимости границ между социолингвистикой и психолингвистикой, между социальной психологией и изучением этнического самосознания и т.д. Языковая личность — вот та сквозная идея, которая, как показывает опыт ее анализа и описания, пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка. Естественно, такой размах чреват опасностью дилетантской оценки и использования результатов других наук. Но автор полагает, что лучше заслужить упрек в дилетантизме, чем отгородиться от смежных с лингвистикой областей знания, делая вид, что их вообще не существует.

Впрочем, если бы во введении можно было рассказать о том, что узнает читатель из предлагаемой ему книги, незачем было бы писать книгу. Поэтому будет лучше и точнее сказать, чего в этой книге нет. Ведь языковая личность, как бы ее ни понимать, объект для лингвистики не новый: только в последнее время появилось несколько работ, заявляющих соответствующую проблематику. Однако научная традиция сложилась так, что изучение этого объекта пока остается мелкомасштабным; он рассматривается как бы с "птичьего полета", и исследователю удастся разглядеть и зафиксировать в этом случае лишь самые общие черты, характеризующие человека как вид, как

существо говорящее, как homo loquens. Есть три степени абстракции в лингвистическом подходе к языку. Язык можно представить в его отдельном проявлении в тексте (речи), и тогда конкретный язык будет "являться" лингвисту в многообразии текстов. Более высокая степень абстракции предполагает системную фиксацию языка в отвлечении и обобщении свойств конкретных текстов, и тогда лингвист имеет дело с некоторым данным (национальным) языком, противопоставляющим всему разнообразию других естественных языков, воплощающих разные системные организации, не похожие одна на другую. Этим занимается лингвистика языков. Наконец, существует высшая степень обобщения, подвластная лингвистике языка вообще, Языка "с большой буквы", когда во внимание принимается лишь типологически общее, универсальное, семиотически и антропологически значимое для всех языков или человеческого языка в целом. Вот на этой ступени абстракции лингвистике и удавалось до сих пор соединить изучение человека, пользующегося языком, с изучением свойств самого языка, что, таким образом, выливается в изучение языковой способности человека. Языковая личность при таком подходе, естественно, редуцируется и предстает как генетически обусловленная предрасположенность к созданию и манипулированию знаковыми системами, как "человеческий" коррелят Языка "с большой буквы". О национальной специфике самого языкового строя и национальной специфике его реализации в речи вопрос при этом подходе даже не возникает.

В книге Клода Ажежа, название которой так и можно перевести как "Человек говорящий"¹, — три части, первая из которых ("О некоторых подходах в лингвистике, или Следы человеческого") посвящена как раз обсуждению вопросов "изначально записанной в генетическом коде" способности к речевой деятельности, рассмотренной на фоне единства "вида" (человека) и множественности человеческих языков. В качестве действующей модели, "лаборатории" проявления языковой способности, автор анализирует креольские языки, показывает далее типологические схождения и расхождения в языках мира при универсальной для всех них основе и дает затем характеристику письменной и устной речи в глубокой исторической перспективе. Во второй части, где речь идет о соотношении универсума, дискурса и общества, язык предстает прежде всего как объект семиотический, и знаковой трактовке подвергается как сам процесс коммуникации, так и его составляющие вплоть до грамматики и интонации. Говоря далее об отражении реальности в языке и его взаимодействии с логикой, автор сосредоточивается на характеристике порядка слов в языках мира и полемически заостряет и опровергает тезис о возможности прямого влияния особенностей социального устройства ("порядка мира") на порядок слов во фразе. Тем не менее, затрагивая вопрос о влиянии общества и выдающихся его представителей — "метров речи", "демиургов языка" — на язык, Ажеж подчеркивает наличие двух каналов для проведения такого влияния. Первый, который эксплуатируется "экологами" языка, является как бы внутренним и связан с

¹ Hagège Cl. L'homme de paroles // Contribution linguistique aux sciences humaines. P., 1985 (См. рус. пер.: Ажеж К. Человек говорящий. Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.: URSS, 2008.)

его строем, эволюцией и традициями употребления. Используя этот канал, "арбитры языка" нормируют его. Другой целиком определяется задачами применения, функционирования языка в общественной жизни, в политической борьбе и не имеет ничего общего с его внутренним устройством (с. 189—204). Здесь автор, как кажется, подменяет понятие Язык "с большой буквы", которым он оперировал до сих пор, понятием текст, речь, дискурс, приводя конкретные исторические примеры волюнтаристских решений по поводу использования или неиспользования того или иного языка в интересах определенной власти, или примеры особых глагольных и номинализованных конструкций, которые при переходе одной в другую способны "скрывать" прямой смысл, превращать явное утверждение в имплицитное, отвечая некоторой прагматической задаче.

Ближе всего к главной цели своего исследования — "человеку говорящему" — Клод Ажеж подходит в третьей части книги, названной "Теоретическая цель, или диалоговый человек", где вводится понятие "психосоциального выразителя" (*eponceur psychosocial*), которое, будучи погружено в язык, дает модель человека вместе с его языком. Модель строится на диалектическом взаимодействии двух сфер, двух областей — области принуждения, обязательного подчинения пользователя ("выразителя") языку и области "свободы", инициативы говорящего (с. 240—241). Первая включает саму систему языка, условия общения, а также ряд постоянных факторов — "биолектальных" (возраст и пол), социолектальных (общественное положение, профессиональная принадлежность, образование, место рождения, образ жизни), символектальных (отношение к языку), этнолектальных и политиколектальных. Возможности же для инициативы говорящих заложены в варируемости языка, которая выливается в эволюционные изменения в течение длительных исторических периодов, в бессознательное коллективное творчество, ведущее к появлению креольских языков, или в сознательное индивидуальное творчество в случае неологических образований, поэтической деятельности и внесения планового начала в функционирование и развитие литературных языков.

Признавая безусловную важность, полезность и своевременность подходов к пониманию языковой личности, подобных охарактеризованному, приходится констатировать, что мы сталкиваемся здесь с типично редуccionистской ее трактовкой, которая заключается в поиске и установлении предельно обобщенных, универсальных черт и характеристик, претендующих на объяснение языкового поведения — и личности, и общества — независимо от конкретной языковой структуры, реальности бытования языка и исторических путей его развития. В самом деле, если речь идет о порядке слов, то имеются в виду самые общие представления, на уровне SOV, SVO и т.п. (с. 171); если затрагивается интонация, то это интонация радости вообще, горя вообще (с. 115); глагольно-именная полярность и минимальное (бинарное) высказывание рассматриваются как универсалии для любого языка (с. 132), а так называемый закон "второго более тяжелого" (*loi du second lourd* — с. 184), согласно которому в дейктических бинамах *рано или поздно, семо и авамо, там и сям* и т.п. есть тенден-

ция, независимо от языка, на второе место помещать слово с большим количеством слогов или стечением согласных и потому более длинное или же слово, акустический спектр которого характеризуется концентрацией низких частот, — этот закон также претендует на всеобщность. Понятно, что такие обобщенные черты предельно схематизируют языковую личность, ничего не могут дать для характеристики ее реального бытия и практически исключают из рассмотрения национальные особенности языка и его носителя.

В книге Славчо Петкова, и по названию, и по своему предмету ориентированной как будто на языковую личность², центральным понятием является "коммуникативная сила" [общительна мощ]; в философско-популяризаторском плане, с опорой на пословично-поговорочный фонд болгарского, рассматриваются вопросы соотношения языка и духовности, обретения языка и межпоколенной передачи опыта, вопросы познания мира с помощью языка и вопросы искусства речи. Здесь нет тех редукционистских тенденций, о которых говорилось выше, но нет также и выхода на реальную, целостную языковую личность как объект изучения в лингвистике, есть лишь призыв к такому изучению.

С редукционизмом другого толка мы встречаемся в книге М. Бирвиша "Очерки по психологии языка"³, где по сути дела полностью исключается культурная и духовная составляющая владения языком. Автором сделана попытка психологизировать устоявшиеся семантико-синтаксические представления о языковой структуре. Поставив вопрос о том, что такое знание языка, Бирвиш решает его, рассматривая отношения между грамматикой данного языка G и грамматикой универсальной UG, общей для всех естественных языков и в этом смысле являющейся как бы генетически предопределенной ("врожденной", по Хомскому) для вида homo sapiens. Отождествляя грамматику со структурой ментальной организации, он говорит о необходимости изучать процессы продукции и понимания речи с учетом иных (а не только грамматической) систем знания, каждая из которых, согласно его представлениям, составляет часть структуры памяти индивида. Но сколько таких систем и каков семантико-концептуальный (а именно о семантических и концептуальных типах систем идет речь в работе) механизм памяти, остается непроясненным.

Э. Косериу начинает свою книгу "Человек и его язык"⁴ с обсуждения трудностей, с которыми сталкивается лингвистика ввиду сложного положения языка (el lenguaje) по отношению к данному конкретному (национальному) языку (la lengua) и множеству человеческих языков (las lenguas). Он предупреждает об опасностях, подстерегающих лингвиста, пренебрегшего логикой и существом указанных взаимоотношений (с. 18—19), отмечает редукционистские крайности в трактовке языка либо как инструмента рационального мышления, либо как инструмента практической жизни, практической коммуникации

² Петков С. *Язык и личность: Вьздействия*. Благоевград, 1983.

³ Bierwisch M. *Essays in the Psychology of Language // Linguistische Studien: Reihe A. Arbeitsberichte 114. B., 1983.*

⁴ Coseriu E. *El hombre y su lenguaje*. Madrid, 1985.

(с. 24—25) и видит путь преодоления редуционизма в опоре на выражаемое в языке значение, его способности быть системой обозначения и принципиально знаковый характер. Именно эти свойства языка раскрывают его деятельностную, творческую природу (Гумбольдтовская *enérgeia*), позволяют говорить об отношении между творцом языка и его творением как об одном из измерений самого языка и признавать тем самым последний фундаментальным понятием для определения человека. Задача понимания, познания человека через познание языка формулируется автором как новая и специфическая для нашей эпохи (с. 63—64).

Практически дальше этих общих формулировок не пошло дело и в ряде других работ последних лет, так или иначе приближающихся к или даже заявляющих прямо о проблематике языковой личности. Я имею в виду книгу Р.А. Будагова "Человек и его язык"⁵ и книгу Э. Новака "Язык и индивидуальность"⁶. В последней содержится критический анализ основных концепций языка XX в., обсуждение сословных дихотомий, американского и европейского структурализма и бихевиористского подхода. Выясняются возможности включения человека во всей его многосложности в научные представления о языке, дается критика теории Н. Хомского и некоторых положений прагматической лингвистики (современной лингвистической прагматики), претендующей на раскрытие "человеческого фактора" в языке. Таким образом, и здесь речь идет не о конкретных путях достижимости языковой личности и решения связанной с ней проблематики в рамках языкознания, но всего лишь о значимости самого понятия "человеческого", индивидуального, личностного. И общая мысль всех реферируемых выше работ такова: нельзя познать человека, не познав его языка. Такая постановка, безусловно, повышает статус лингвистики в ряду гуманитарных наук, служит поднятию престижа лингвиста и оправданием его существования (если кто-то считает это оправдание необходимым), подчеркивает вклад языкознания в науки о человеке, т.е. решает задачу апологии собственной науки. Так вот, ничего из того, что содержится в реферированных работах, в предлагаемой читателю книге нет.

Более того, логика развития научного знания заставляет по-иному сформулировать и тезис, которым резюмируется выше рассмотренное человека вместе с языком и языка в человеке. Тезис этот должен звучать так: нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю — к человеку, к конкретной языковой личности. Это первая идея, первое положение, которое красной нитью проходит через всю книгу. А второе положение, второе убеждение, к которому пришел автор в процессе работы и в итоге долгих размышлений, заключается в следующем: единственным противоядием от неизбежного, казалось бы,

⁵ Будагов Р.А. Человек и его язык. М., 1974.

⁶ Nowak E. Sprache und Individualität // Die Bedeutung individueller Rede für die Sprachwissenschaft. Tübingen, 1983.

редукционизма при обращении исследователя к языку в человеке будет введение в анализ вполне определенного национального языка вместе с определенными историко-, этно-, социо- и психо-лингвистическими особенностями его носителей. Трактовка языковой личности вообще, независимо от национальной специфики ее языка, с неизбежностью останется схематичной и редукционистской, и поэтому, если мы хотим прорвать порочный круг, мы должны, решая в данном случае вопрос на материале русского языка, говорить о русской языковой личности.

Две названные идеи постоянно освящали извилистый и запутанный путь авторской мысли, пока она не пришла к той композиции работы, с которой будет иметь дело читатель. Ретроспективная характеристика законченной работы всегда выглядит так, будто автор заранее знал ответы на многие, если не на все вопросы, и его задача лишь состояла в собирании данных и иллюстрации выдвинутых положений. Недаром такая ситуация в науковедении получила название "ретроспективной фальсификации". На деле же перед лицом нового (в данном случае нового объекта) все мы чувствуем себя дилетантами, и представления автора о языковой личности нескольких лет назад, на этапе подступа к ней, напоминали лихтенберговский нож, у которого нет лезвия, но нет и ручки. Если же теперь, после прочтения книги, читатель, закрыв последнюю страницу, увидит контуры будущего "ножа" и сможет расценить книгу как начало ответа на вопрос, что же такое русская языковая личность, то автор счел бы свою задачу выполненной.

Книга состоит из четырех частей, четырех глав, первая из которых — "Общие представления" — и хронологически и по существу является исходной и представляет собой попытку прояснить основные параметры, характеристики и целостную структуру языковой личности. Здесь рассматриваются парадигмальные устои современной науки о языке, определяющие его исторический характер, социальную природу, системно-знаковое устройство и психическую сущность. Показано, как в истории языкознания шла постепенная кристаллизация понимания указанных свойств языка-объекта, характеризовавшаяся в отдельные периоды временными преувеличениями и абсолютизацией тех или иных его сторон. С введением языковой личности в лингвистическую парадигму достигается определенный баланс в соотношении фундаментальных свойств языка как друг с другом. Отмечается вклад отечественных языковедов в разработку предпосылок к пониманию языковой личности, и особый раздел отводится роли академика В.В. Виноградова в формировании современных представлений об этом феномене. Исходя из определяющего значения национальной специфики, рассматривается вопрос о взаимоотношениях языковой личности с романтическим в своих истоках понятием национального характера и формулируется гипотеза о наличии специфических проявлений национального на всех уровнях устройства языковой личности, гипотеза, которая потом подтверждается в соответствующих главах. Сама структура языковой личности вырастает из анализа психолингвистических и лингводидактических представлений, которые

группируются в три типа, три модели языковой личности — методическую, готовностную и онтогенетическую; в противоположность им предлагается оригинальная трехуровневая функциональная модель, которая и кладется в основу дальнейших авторских построений. Последний раздел главы содержит практическое приложение обсуждаемых принципов к конкретному материалу и заключает в себе опыт общей реконструкции языковой личности на базе дискурса персонажа в художественном произведении.

Три последующие главы являются поэтапным раскрытием устройства и особенностей функционирования каждого из уровней в структуре русской языковой личности, репрезентируемых соответственно ее лексиконом, тезаурусом и прагматиконом. Во второй главе, которая своим названием — "Внутри языка" — подчеркивает эндогенный характер первого, вербально-семантического уровня обосновывается обращение именно к дискурсу, а не к языку писателя (идиолекту) и не к словарю всего национального языка для наблюдений над особенностями индивидуального лексикона. Далее на материале ассоциативных экспериментов и поэтических текстов обсуждается вопрос о роли лексикализации, "растворяющей" грамматику в лексиконе, а также об условности изолированного от других уровней рассмотрения последнего из-за взаимопроникновения грамматики и семантики, семантики и знаний о мире, знаний и прагматики. В следующем разделе основное внимание уделяется не прямому экспериментальному наблюдению над лексиконом, а его восстановлению на достаточно большом массиве текстов одной личности, и делаются выводы из сопоставительного изучения двух лексиконов в процессах межличностного взаимодействия. Заключительный раздел второй главы посвящен выяснению национальной специфики лексикона, или лексико-грамматического фонда, личности и обоснованию понятия общерусского языкового типа, для чего материалом служат наблюдения над диалектной речью, детской речью, употреблением русского языка инфоннами, а также над особенностями восприятия древнерусских текстов носителями современного русского языка. Для языковой личности вводится понятие психоглоссы как предела варьированности слов, категорий, форм, значений в рамках общерусского языкового типа, понятие, которое в плане структурном и историко-эволюционном соотносимо с понятиями диахронической константы, диахронической универсалии и хроноглоссы.

Третья глава ("Взгляд на мир") охватывает вопросы роли языка в познавательной деятельности, соотношения языка и мышления, языковой семантики и знаний о мире. Анализируется так называемый промежуточный язык, который, согласно гипотезе автора, выступает посредником между биологическими, имеющими физико-химическую природу, языками мозга, т.е. языками взаимодействия нейронов, и артикулируемым человеческим языком. С помощью специально разрабатываемой лингвистической технологии выявляются единицы промежуточного языка, ряд которых имеет ярко выраженную национальную специфику (например, лингвистические гештальты, связанные с употреблением глагольного вида в русском языке), чем еще раз подтверж-

дается тезис о наличии национальной составляющей на каждом из уровней организации языковой личности.

В завершающей, четвертой главе "Место в мире" объектом рассмотрения становятся коммуникативно-деятельностные потребности личности, вовлекающие в исследовательское поле широкие ценностные (т.е. духовные, социально-культурные) и целевые, т.е. в узком смысле прагматические, характеристики русской языковой личности. Национальная специфика прослеживается здесь как на материале прецедентных (исторически и типологически общих для всех русских) культурных текстов, так и на материале типовых ассоциативных структур с прагматической направленностью.

В работе над рукописью, а также при введении текстов в ЭВМ для машинного эксперимента по сравнительному анализу индивидуальных лексиконов (глава II) неоценимую помощь оказала М.М. Коробова, которую автор сердечно благодарит.

**О ПРЕДПОСЫЛКАХ ВКЛЮЧЕНИЯ "ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ"
В ОБЪЕКТ НАУКИ О ЯЗЫКЕ**

"Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет *одна наука*".

*К. Маркс**

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему языковедение постоянно возвращается к обсуждению вопроса о предмете своей науки? Причин здесь, очевидно, несколько, и я не буду разбирать все их. Главная — это расширение нашего опыта, наших знаний и представлений о языке, а отсюда — желание лингвистов заново осмыслить задачи и объект исследования. С расширением опыта в сферу анализа вовлекаются пограничные с традиционно принятыми явления, которые ранее либо вообще не рассматривались наукой, не были предметом ни одной научной области, либо изучались что называется смежными дисциплинами: психологией, литературоведением, философией, семиотикой, этнографией, социологией, медициной. Так, речь, речевая деятельность до определенного момента изучалась только психологами, и обращение к ней лингвистики связано с работами Поттебни и Боудуэна де Куртенэ и относится к началу нашего века, лишь к середине которого произошло становление новой отрасли языковедения — психолингвистики. Вопросы поэтики художественного произведения всегда были предметом интереса литературоведа, филолога в широком смысле, и возникновение лингвистической поэтики было новым расширением опыта нашей науки. То же следует сказать о лингвистике текста, текста, которым традиционно манипулировал классический филолог, или герменевт, если позволено такое образование от "герменевтики", с самого своего зарождения бывшей философско-филологической дисциплиной. Семиотический подход к анализу языка, языковых фактов, т.е. то, что мы называем семиотической лингвистикой, составил по сути дела истоки и ядро самой семиотики, которая теперь далеко простерла руки свои во многие отрасли знаний и заново обогащает самое лингвистику новыми идеями. Изучение общих закономерностей и специфики родственных отношений в первобытных и современных сообществах всегда было уделом этнологии и этнографии, но оно дало мощный толчок развитию одного из самых распространенных и эффективных лингвистических методов — метода компонентного анализа, который первоначально был приложен к исследованию довольно узкой области — терминов родства и цветообозначений.

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. / 2-е изд. Т. 42. С. 124.

Вопросами общественных отношений, личностных взаимодействий в обществе, в том числе языковыми взаимоотношениями традиционно занималась социология. XX век ознаменовался бурным развитием социолингвистики, которая безмерно расширила и углубила наши знания о языке как общественном явлении. Наконец, патология речи, соотношение языка со сферой бессознательного входили в круг интересов медицины. На наших глазах произошло оформление нового направления, изучающего афатические расстройства речи, лингвистические основы психоанализа.

Таким образом, на границах со смежными областями, на стыках разных наук происходит постоянное расширение нашего лингвистического опыта, прирост потенциала научных знаний, осуществляются открытия, формулируются гипотезы, оформляются новые теории. И каждый шаг по пути прогресса требует от языковедов переосмысления объекта своей науки, установления тех его черт и свойств, которые играют решающую роль в определении его характера с учетом новых данных, расширяющегося опыта, т.е. на каждом новом этапе. В истории "научного" языкознания (а научным оно стало, как принято считать, в XIX в.) можно выделить несколько этапов, характеризующих по тому фундаментальному свойству языка, которое выдвигалось на первый план, представлялось определяющим в тот или иной период.

Собственно весь XIX век прошел под знаком историзма. Мысль о том, что язык — постоянно изменяющийся объект и изучаться он должен в историческом движении, в развитии, оказалась исключительно плодотворной. Возникла компаративистика, оформился сравнительно-исторический метод, стало совершенно ясно, что язык *насквозь* историчен, что знать язык — значит прежде всего знать его историю. Исторический характер языка стал решающим, определяющим его специфику как объекта науки. Историзм стал мерой научности, тем стержнем, на котором держалась научная парадигма в языкознании, т.е. вся совокупность научных идей, методов, общепринятых представлений, само собой разумеющихся суждений и мнений. "Кое-кто, возражая мне, указывал, — пишет в своей книге, названной позже "библией" младограмматизма, Г. Пауль, — что помимо исторического существует еще и другой способ научного изучения языка. Никак не могу согласиться с этим. То, что понимают под неисторическим и все же научным рассмотрением языка, есть по сути дела также историческое, но не совершенное изучение языка — не совершенное отчасти по вине исследователя, отчасти же в силу особенностей изучаемого материала. Как только исследователь переступает за пределы простой констатации единичных фактов, как только он делает попытку уловить связь между явлениями и понять их, так сразу же начинается область истории, хотя, быть может, он и не отдает себе ясного отчета в этом... Таким образом, мне вообще неизвестно, как можно с успехом рассуждать о языке, не добывая сведений о его историческом становлении"¹.

¹ Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 42—43

Возникший к концу XIX в. обостренный интерес к изучению живых языков и диалектов был, с одной стороны, естественной реакцией научного сообщества на известный деспотизм исторического подхода, преобладание интереса к мертвым языкам, а с другой — непосредственным откликом языковедов на новые потребности и интересы развивающегося общества, связанные со сформировавшимся и развитым национальным самосознанием. Поскольку уже в начале XX в. в фокусе внимания языковедов оказался реально функционирующий живой язык, это обусловило выдвигание на первый план таких его черт и свойств, как творческий характер, эстетическая функция, психологические основы владения языком, т.е. осуществился поворот языкознания лицом к говорящей личности. Много позже, во второй половине нашего века, известный философ, оценивая преимущества и одновременно ограниченность только исторического подхода, исторического горизонта в познании, скажет: "...быть историческим, значит не быть погруженным в самопознание". Направленность к "самопознанию" обнажила прежде всего психологический характер объекта лингвистики, стало естественным считать, что язык насквозь психологичен. Соответственно перестроилась и научная парадигма языкознания: историческое в языке зачастую отступило на второй план перед гипостазированным психологизмом. На самом деле психологизм вовсе не должен означать и не означает отмены, полного отрицания историзма. Но в пылу полемики, в целях самоутверждения, самообоснования противопоставление двух научных парадигм становилось взаимоисключающим. Психологическая парадигма дала импульс к новому расширению лингвистического научного опыта. Напомню, что одним из двух истоков современной фонологии было психофоническое понимание сущности фонемы Бодуэном де Куртенэ. А.А. Шахматов в своей трактовке синтаксических явлений и структур тоже исходит из психологических категорий, ища их соответствующего языкового оформления (ср. его "Синтаксис"). В "Очерке современного русского литературного языка" он высказывает типичное для психологической парадигмы лингвистики представление, утверждая, что "реальное бытие имеет язык каждого индивидуума; язык села, города, области, народа оказывается известной научною фикцией, ибо он слагается из фактов языка, входящих в состав тех или иных территориальных или племенных единиц индивидуумов; между тем число этих индивидуумов представляется неопределенным, исчерпывающее изучение их языка невозможным"².

Соссюр, вступивший на научное поприще в конце XIX в., начал именно как историк языка и компаративист, затем отдал существенную дань психологизму, влияние и следы которого, естественно, сохраняются в его "Курсе": так, знаменитое "кольцо Соссюра" (оно было, вероятно, вторым после кольца царя Соломона), моделирующее коммуникативный акт, в значительной мере психологично³. В этом отношении ученый в своей собственной эволюции повторил, как это часто

² Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. Л., 1925. С. 5.

³ Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 50.

бывает, эволюционные этапы своей науки; но будучи гениальным ученым, он перешагнул рамки существующей парадигмы и поверх тезиса о преимущественно психологическом характере языка начертал на знамени лингвистики: "язык насквозь системен" и "язык насквозь социален". И опять, как это часто бывает в истории науки, не он первый высказывал эти идеи, они звучали и до Соссюра, однако именно ему удалось облечь их в строго концепционную форму, доведя (во всяком случае первую из них) до уровня методических приемов (ср. хотя бы метод оппозиций). Главный объект лингвистики теперь, начиная с 20-х годов нашего века, составляет язык (*la langue*) как система (тем самым в новой парадигме синхрония выступает на первый план, а диахрония предстает как последовательная смена систем), изучаемый в самом себе и для себя (там самым все психическое, психологическое, собственно человеческое выносится за рамки научной парадигмы) и представляющий в своей основе социальное явление. Что касается второго тезиса — о социальном характере языка, то Соссюр не пошел в его развитии, да и не мог, очевидно, при том состоянии науки пойти, дальше самых общих декларативных утверждений, не мог показать, как следует учитывать при изучении системы ее "насквозь-социальность". Тем не менее одновременное приобретение обеими идеями — о системности и о социальности языка — статуса парадигмальных в лингвистике далеко не случайно. Дальнейшее развитие науки показало, что в них заложены плодотворные представления о внутренней и внешней структурах языка, об их взаимодействии в процессах его функционирования и исторического развития. Фактически лишь в наше время языковеды научились в полной мере наблюдать эти механизмы, связывая социальную, функциональную и территориальную стратификацию языка с теми или иными строевыми его особенностями. Но путь от общих представлений до понимания глубокой диалектической взаимозависимости обеих категорий и далее — до материального воплощения этого понимания в конкретной лингвистической технологии не был ни простым, ни коротким. Обе идеи вначале развивались в применении к исследованию языка независимо одна от другой, шли параллельными, не пересекающимися путями. Идея "насквозь-социальности" при этом прошла сквозь чистилище вульгарного социологизма (условно говоря — 30-е годы), который в крайнем своем выражении воплотился в "новом учении о языке" (40-е годы), прежде чем из лозунга превратилась в рабочий инструмент лингвиста. Идея о системно-структурном характере объекта нашей науки тоже не сразу завоевала умы и сердца ученых, и траектория ее развития включает экстремальные точки от полного отрицания такого характера до деспотизма гипостазированной системности в крайних течениях структурализма (60-е годы).

Таким образом, в истории языкознания можно наметить четыре парадигмы — "историческую", "психологическую", "системно-структурную", "социальную", из которых каждая последующая в крайнем своем выражении отрицала предыдущую, но которые в своей совокупности к настоящему моменту синтезировали современную научно-

лингвистическую парадигму. Современные представления о языке как объекте языкознания покоятся на четырех "китах", на четырех фундаментальных его свойствах — исторически обусловленном характере развития, психической природе, системно структурных основах его устройства, социально обусловленном характере возникновения и употребления.

Здесь надо сделать две оговорки. Употребляя слова "последующий" и "предыдущий", я не придаю им абсолютного, логически строгого смысла, поскольку речь идет о смене друг другом периодов с довольно нечеткими, размытыми границами, периодов, характеризующихся только превалированием какой-то одной идеи, которая приобретает тем самым статус парадигмальной, парадигмообразующей. То есть и хронологические границы соответствующих периодов и соответствующих им парадигм, и их последовательность в значительной мере условны. Вторая оговорка связана с первой: не следует думать, что каждая из четырех парадигмальных идей могла существовать только в чистом виде. Так, в основе гумбольдтовского представления (т.е. в рамках исторической парадигмы) о типологическом сходстве языков лежала идеалистически понятая психическая природа человеческого языка. (Я говорю "человеческого", не только имея в виду существование языка животных и языка машин, но с целью подчеркнуть вовлечение человеческого начала в трактовку объекта лингвистики). Я. Гримму, заложившему вместе с братом один из краеугольных камней в фундамент исторического и сравнительного языкознания, вовсе не чужды были представления о системных основаниях устройства языка, что следует из его слов, сказанных в предисловии к "Немецкой грамматике" и приводимых Буслаевым: "Плодоносная жатва, столь надежная на нивах вышеописанной филологии, ограниченных и огороженных, удастся сравнительному языкознанию единственно тогда, когда оно медленно и осмотрительно поднимается от надежного основания. Оно нашло средство обуздать и скрасить дикую, всем опротивевшую этимологию и положило конец прежнему произволу; но он опять вкрался бы, если бы оно загромоздило себя бесконечными исключениями и аномалиями и не расширило и не укрепило своего основания"⁴. Сам Буслаев, оставаясь глубоко и принципиально историческим в своем подходе к изучению языка и к его преподаванию, впервые выдвинул понятие личности ученика в качестве объекта воздействия учителя в процессе преподавания родного языка⁵. Потемне удалось чудесным образом соединить, синтезировать исторический взгляд с исследовательским интересом к психологическим основам употребления языка и владения им, рассмотреть никогда не перестанущие волновать лингвистов проблемы взаимоотношения языка и мышления. Боуэн де Куртенз, развивая идеи психологизма, в имплицитном виде опирался уже на системные представления о языке. Соссюр, стремясь быть социальным, оставался только системно-структурным в своих построениях и выводах, тогда как Шахматов,

⁴ Цит. по кн.: *Буслаев Ф. И.* О преподавании отечественного языка. М., 1867. С. 4—5.

⁵ Там же. С. 174—175.

декларируя психологические свои позиции, строил конкретные исследования на принципах сугубо исторической научной парадигмы, Фортунатов же наоборот, ориентируясь на историко-генетический аспект изучения языка, тяготел в своих выводах к формально-системным обобщениям. Пожалуй, одному лишь Богородицкому на этом этапе развития лингвистических идей удалось синтезировать, хотя методологически и не в четкой форме, все четыре, уже бытовавшие к этому времени порознь парадигмальные основы науки о языке. Дело в том, что в разных своих работах он неоднократно подчеркивал а) знаковую языка (читай "системно-структурную" основу), б) социальную его природу и в) ассоциативную (читай "психическую") сущность речевой деятельности. Что касается принципа историзма, то он нашел выражение в учении Богородицкого об относительной хронологии и ступенчатости морфологических процессов, в его убежденности, что сравнительно-историческое языкознание должно обогатиться системно-статистическими принципами, а типологическое — принципами историзма. Таким образом, процесс становления современных представлений — это не прямолинейный и однонаправленный процесс смены парадигм, но в первую очередь — процесс накопления идей.

Но если сама наука о языке к тому времени еще не достигла методологического осознания своих парадигмальных составляющих, то содержание и взаимосвязь последних вполне отчетливо были сформулированы в трактовке языка марксистской философией, опирающейся на принципы диалектического и исторического материализма, и, в частности, во всеохватывающем и многомерном определении языка, данном К. Марксом в "Немецкой идеологии"⁶. «На "духе" с самого начала лежит проклятие — быть "отягощенным" материей...», "язык *есть* практическое... действительное сознание" — в этих кратких и емких формулировках, методологически питающих всю современную науку, заложены и понимание идеальной, психической стороны языка, и характеристика его как способа материального воплощения мыслей и проявления сознания, способа, который конкретизируется в разработке системно-знакового его устройства. Мысль о том, что "язык так же древен, как и сознание", определяет историческую перспективу его изучения, а то, что "язык возникает лишь из потребности, из настоящей необходимости общения с другими людьми", служит основой концепции социальной его природы. Однако путь к осознанию, синтезу и воплощению этих идей в самой лингвистической парадигме был сложным.

Возникновение нового в любой сфере человеческой деятельности, а тем более в науке, неизбежно проходит этап гипостазирования, необоснованного преувеличения его роли — таков закон всякого прогресса, всякого движения вперед. Поэтому естественно, что на рассматриваемом маленьком отрезке истории языкознания (XIX—XX вв.) возникли многочисленные и разнообразные коллизии, напряжения и столкновения, связанные с борьбой идей, утверждением нового и постепенным обретением этим новым своего подлинного

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. / 2-е изд. Т. 3. С. 29.

места в системе знаний о языке. А поскольку ничто в истории не проходит бесследно, все исторические коллизии живы и сегодня. Эти научные, а иногда и выходящие за рамки только научных, споры известны, они хорошо изучены, проанализированы разными поколениями ученых и описаны в отечественном и зарубежном науковедении. Основу всякого такого конфликта всегда составляет вопрос, что научно ("респектабельно"), а что не научно во вновь предлагаемом подходе, причем вопрос о "научности" ("респектабельности") решается одной спорящей стороной с позиций допустимого, приемлемого, соответствия принятым правилам в рамках господствующей лингвистической парадигмы, а другой стороной — с позиций впервые возникшей проблемы или поставленной задачи. В итоге надо найти основания, по которым это новое либо вписывается, "вплавляется" в существующую парадигму, тем самым расширяя наш опыт, либо отбрасывается ею. Заметьте, что одним из самых частых аргументов защитников господствующей парадигмы оказывается утверждение: "это не относится к компетенции нашей науки, не подлежит ведению лингвистики, это не языкознание". Подобное утверждение как раз и указывает на то, что речь идет о точке возможного расширения научного опыта. Чтобы не ходить далеко за примерами, обратимся к ситуации всего десятилетней давности. В то время ряд лингвистов выступил с формулировкой новой проблематики — изучения русского языка как средства межнационального общения народов СССР, его взаимоотношений с национальными языками на внешнеструктурном (т.е. функциональном, социальном, территориальном) и внутрисктурном уровнях. Проблема была новой для русистики, и хотя возникла интерналистски, из внутреннего фундаментального свойства "насквозь-социальности" языка, далеко не всеми учеными была воспринята как лингвистическая, "научная", т.е. вписывающаяся в принятую парадигму, поскольку потребовала нового, непривычного ракурса рассмотрения русского языка: в отрыве от собственной науки, ее истории и культуры, но в контексте развития новой исторической общности людей — советского народа; не как основного и единственного посредника между миром и человеком, инструмента познания и духовного формирования личности, но как языка второго, у которого коммуникативная его функция превалирует над всеми другими, в том числе над познавательной. Потребовалось десятилетие, чтобы те языковеды, которые считали проблему экстерналистской, навязанной русистике извне, поняли, что изучение русского языка как межнационального имеет необходимый "контекст оправдания" в теперешней научной парадигме, т.е. охватывает все четыре фундаментальных свойства ее объекта. Так социальность была источником формулирования самой проблемы, составив "контекст ее открытия" и имея целью выявление и дифференциацию специфических и универсальных функций национального и межнационального языков, установление сфер рационального дублирования этих функций обоими языками, определение роли двуязычия и путей его распространения в советском обществе; и с т о р и ч е с к и й аспект проблемы предполагает изучение истории многовекового контактирования, общественно-функ-

ционального и структурного взаимодействия, типологической взаимонастройки русского языка с языками предков нынешнего населения нашего государства, исследование возникновения и развития социально-экономических, культурно-исторических, лексико-грамматических предпосылок превращения его в межнациональный; психологический аспект включает изучение основ билингвизма, анализ причин и особенностей интерференции, роли второго (русского) языка в складывании и функционировании двуязычной личности; наконец, системно-структурный аспект нацелен на изучение процессов взаимопроникновения лексики и создания общего лексического фонда языков народов СССР, на анализ изменений в морфологическом, синтаксическом, стилистическом строе языков в результате активного их взаимодействия. Таким образом, с включением указанной проблематики в парадигму современной лингвистики произошло расширение научного опыта, частично трансформировались представления об объекте языкознания, обогатилось содержание каждой из четырех парадигмальных его характеристик.

Надо сказать, что по мере роста научного знания каждый из четырех парадигмальных устоев современного здания лингвистики прогрессирует, развивается самостоятельно, расширяя сферу подлежащих его ведению исследовательских интересов, вплоть до пересечения со сферами остальных парадигмальных составляющих. Так, наиболее интенсивное развитие представлений о системно-структурных основах устройства языка, которое приходится на 50-е годы ("эпоха структурной лингвистики"), эксплуатировало вначале только формально-грамматические его свойства и показатели. Два последующих десятилетия характеризовались бурной экспансией семантики в эти представления, так что широкое распространение получили структурно-семантические описания грамматического строя, анализ семантических структур слов и грамматических категорий, исследования систем в лексике и т.п. Заметную семантическую окраску приобрело также изучение социальных, исторических и психологических основ естественного языка, стало казаться, что "в языке все — семантика" (конец 60-х гг.), т.е. обогащенная семантикой системно-структурная характеристика языка обнаружила явную тенденцию к тому, чтобы занять лидирующее положение среди всех четырех, подчинить себе, поглотить прочие парадигмальные линии его изучения. Это, естественно, породило очередную коллизию внутри лингвистической парадигмы, выразившуюся в резких спорах с "засильем" системно-структурного подхода, обвинениях соответствующих исследований в пренебрежении тремя другими научными принципами, а значит — в антиисторизме, дегуманизации науки о языке, забвении ее социальной природы. 80-е годы не привели к смене "лидера", системно-структурный подход по-прежнему занимает главенствующее положение в парадигме, однако акцент при этом с семантики, т.е. с содержания общения, сместился на его условия и цели. Коммуникативно-прагматическая волна усиливает потенциал системно-структурных исследований, расширяет возможности этого подхода за счет вторжения в сферу социального и со-

циально-психологического. Недаром все чаще можно услышать призывы изучать "человеческий фактор" в языке, язык в связи с человеческой деятельностью, человека в языке и язык в человеке. Эти призывы поддерживаются общей тенденцией гуманизации научного знания, "очеловечивания" науки — идет ли речь об экономике, астрономии, биологии или лингвистике, — обретения "антропного" характера науки в целом. Ср. высказываемые в последнее время в языкознании доводы о необходимости построения "высказывательной теории", "теории носителя языка", "теории употребления языка" (человеком), "теории языка как деятельности" (человека). Однако от подобных призывов до выработки конкретной лингвистической технологии, учитывающей феномен человека, еще далеко. Современная лингвистическая парадигма, будучи исторической, социальной, системно-структурной, психологической, остается тем не менее бесчеловечной, лишенной присутствия живой человеческой духовности, отличается несоизмеримостью⁷ исповедуемых в ее рамках научных ценностей, формулируемых целей, используемых технических навыков и приемов, а часто и самих продуктов исследовательской деятельности — с масштабами индивидуально-личностного, субъективного человеческого начала. Изгнание человеческого из ее пределов — естественная плата лингвистики, как и всякой науки, за ее стремление быть максимально объективной.

Парадоксально, но факт: ни один лингвист в наше время не будет уже сочувственно цитировать сосюрговскую мысль о том, что единственным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя. Наоборот, если этот тезис получает оценку, то теперь только в критическом плане. Однако образ языка, создаваемый самими лингвистами, возникающий из чтения языковедческих работ, — осознаваемый или не осознаваемый их авторами, — в качестве основообразующего стержня содержит указанный сосюрговский тезис. Предстает ли этот образ (за текстом соответствующего исследования) в виде некоего системного тела, образования, состоящего из взаимосвязанных и взаимоупорядоченных элементов, подчиняющихся жестким, почти механическим законам, или в виде текущего, постоянно изменяющегося явления, напоминающего поток, движущийся во времени, складывающийся из отдельных ручейков, водоворотов и омутов, либо, наконец, в виде растущего и развивающегося организма, определяющим свойством которого является адаптивный характер, — все эти картины по своим масштабам существенно превосходят отдельного человека, личность, носителя языка, и поэтому не включают его в образ языка, не рассматриваются ни по одной из парадигмальных линий. Пришедший на смену сосюрговскому лозунгу "за каждым текстом стоит система языка" по сути дела ничего не меняет.

⁷ Возьмите в качестве примера современное словаростроение, генеральной линией развития которого остается создание всеохватывающих словарей, ориентированных на полное отражение системы, на фоне которой реальный носитель языка просто терзается, растворяется в астрономических масштабах лексического, грамматического, стилистического богатства, накопленного за время двухвекового (именно таков хронологический охват больших современных словарей) использования языка и включенного в словарь.

Даже психолингвистика по самым своим истокам, казалось бы, связанная с личностным, человеческим началом, остается бесчеловечной, сосредоточившись на изучении речевой деятельности и ее механизмов в отвлечении, в абстракции от свойств продуцента самой речевой деятельности. В этой области тоже создается свой образ языка, который в какой-то, довольно слабой мере связан все же с психической деятельностью индивида, соотносится с его сознанием и сферой бессознательного. Такой связи способствует прежде всего интерес психолингвистов к языку детей, занятия лингводидактическими проблемами, но этого оказывается еще недостаточно для изменения структуры всей парадигмы.

В силу общей бесчеловечности современной лингвистической парадигмы место подлинно антропного фактора в ней, место антропного характера создаваемого ею образа языка занимает антропоморфический, человекоподобный, порождаемый стремлением уподобить — одушевить, оживить, очеловечить — мертвый образ. Это стремление, естественно, приводит к фетишизации языка-механизма, языка-системы и языка-способности, к мифологическому его переживанию, и поэтому никого не удивляют, воспринимаются как само собой разумеющиеся, как парадигмальные и вполне respectable утверждения типа: "Так как язык представляет собой основное средство общения, язык (язык, а не человек! — Ю.К.) должен постоянно находиться в состоянии коммуникативной готовности" (из выступления оппонента на защите докторской диссертации). Поэтому, далее, нашего критического внимания не задерживают метафорические представления о "давлении системы" (на кого и каким образом она давит?), о том, что язык "принимает" или "отвергает" те или иные инновации, о том, что язык стремится к выравниванию явлений по аналогии, что он "навязывает" говорящему определенный способ выражения. Естественно, что возникающий из таких утверждений образ языка соотносится с жесткой, бездушной, неумолимо действующей системой, напоминающей отчетливо выраженную, хотя может быть и усложненную, геометрическую фигуру, где элементы (узлы) связаны однозначными прямолинейными отношениями (ребрами). Вспомним многочисленные трехмерные геометрические построения (кубы, параллелепипеды, конусы, пирамиды), отражающие связи в филологических системах, или разнообразие такого же рода фигур, интерпретирующих падежные отношения; вспомним неукротимо ветвящуюся "древесность" непосредственно составляющих и строго симметричные сети трансформационных полей аппликативной модели языка. Из этих геометрических фрагментов и создается образ бескомпромиссной системы, которая подавляет и подчиняет себе говорящего, однозначным образом ориентирует и регламентирует его выбор, сдерживая творческие возможности самовыражения и создания с помощью языка обратной проекции в мир самого этого мира, отраженного мышлением. Так ли или несколько иначе понятая система, отождествленная с языком (образом языка), представляет собой на деле объект идеальный, поскольку она есть продукт рефлектирующего ума лингвиста, но тем не менее такая система в лингвистической парадиг-

ме рассматривается без опосредования ее человеком. Образ такой системы проистекает от гипостазирования одного из парадигмообразующих факторов, одного из свойств языка — его системно-структурного характера. Причем это гипостазирование нельзя рассматривать как результат чьей-то установки, волевого решения статистически преобладающего в лингвистическом мире числа "системников" или следствие увлечения "модой". Такое представление было бы неоправданно облегченным способом разрешения методологических парадоксов и антиномий. Гипостазирование — неизбежный спутник познания при изучении одного из свойств объекта, одной из его сторон, гипостазирование — это гносеологическая и онтологическая контрибуция, выплачиваемая за прирост наших знаний, за расширение научного опыта. Гносеологическая — в том смысле, что, занимаясь, например, историей языка, анализируя процессы исторических изменений и развития, мы вынуждены целиком сосредоточиться на этих изменениях и преобразованиях, лишь декларируя системность, держа ее "в уме", оговаривая, что мы отдаем себе отчет в том, что малейшее изменение и передвижка в каком-то одном звене влечет за собой перестройку по всем этажам здания языковой системы, но не обладая конкретно-научными доказательствами и технико-методическими возможностями для того, чтобы проследить за каждой такой перестройкой. Точно так же, изучая системно-структурные свойства языка, мы декларируем и держим в уме его "социальность" и "историзм", а исследуя психические основы речевой деятельности, подчеркиваем его "системность" и "социальность". И не можем не подчеркивать, поскольку все эти функциональные свойства языка составляют в совокупности парадигмальные требования, определяющие современный уровень, научность лингвистического сочинения. Вместе с тем в нашем распоряжении нет таких выработанных и уже испытанных приемов, и мы не можем на основе прошлого опыта определить такую позицию, которые позволяли бы ввести в игру одновременно все названные силы, учесть совокупное действие всех четырех факторов одновременно. Наука пока обладает возможностью верифицировать надежно только один какой-либо аспект рассмотрения языка — либо исторический, либо социальный, либо психологический, либо системно-структурный.

Гипостазирование одного из аспектов имеет и онтологическую предпосылку, поскольку ни одно из четырех изучаемых фундаментальных свойств языка не обладает интегрирующей силой, не содержит оснований для выводимости остальных его свойств: из социальности не следует системности, из исторического характера развития не следует психологической сущности языка, а последняя еще не обосновывает его социальности. В результате нормальное рассмотрение одного из свойств неизбежно выглядит как гипостазирование. Выход видится в обращении к человеческому фактору, во введении в рассмотрение лингвистики, в ее парадигму языковой личности как равноправного объекта изучения, как такой концептуальной позиции, которая позволяет интегрировать разрозненные и относительно самостоятельные свойства языка.

Думаю, не требует специальных доказательств то положение, что языковая личность как объект лингвистического изучения позволяет на систематической основе рассматривать как взаимодействующие все четыре фундаментальных языковых свойства. Во-первых, потому, что личность есть средоточие и результат социальных законов; во-вторых, потому, что она есть продукт исторического развития этноса; в-третьих, по причине принадлежности ее мотивационных предрасположений, возникающих из взаимодействия биологических побуждений с социальными и физическими условиями, — к психической сфере; наконец, в-четвертых, — в силу того, что личность есть создатель и пользователь знаковых, т.е. системно-структурных по своей природе, образований. В итоге известная метафора "Стиль — это человек" расшифровывается как двуплановая формула, которая включает представление о личности, реализующей определенный стиль жизни, отражаемый в стиле употребления языка, т.е. соединяет социально-поведенческий контекст с речевым.

Введение человеческого фактора, обращение к феномену человека, к языковой личности вовсе не означает выхода за рамки привычного круга идей и ломки сложившейся в науке о языке парадигмы. При этом надо учитывать два соображения. Первое соображение — эволюционно-гносеологического порядка и состоит в том, что само историческое движение познающей мысли неуклонно вело исследователей к включению языковой личности в круг идей, рассматриваемых философией языка и теоретическим языкознанием. В ходе многовекового складывания научных представлений о языке, в ходе формирования современной лингвистической парадигмы исследовательская мысль уже в "донаучную" эпоху фактически выявила и подвергла спекулятивному обсуждению все четыре фундаментальных свойства языка. Но эпоха потому и называется "донаучной", что рассуждения о языке строились на умозрительной основе, не опирались на систематическую исследовательскую практику, не могли оперировать конкретно-аналитическими данными. В XVIII в., который в истории лингвистической мысли можно назвать "преднаучным" и который богат уже конкретными словарями и грамматиками, позволявшими делать первые обоснованные выводы о близкородственных языках, мы находим пока не систематизированные, высказываемые в виде отдельных "озарений" идеи историзма, социальности, психологизма и даже системности языка. Так, Ломоносов полагает, что источником идей, передаваемых словом, служат чувства, вызываемые внешним миром, т.е. видит психическую природу языка в том, что "чувствительные в мире вещи, действуя купно на ум наш, поощрили человека к скорому и краткому их сообщению посредством слова"¹. Понимание социальной основы языка возникает из его представлений о том, что слово дано человеку "для сообщения с другими своих мыслей", что язык нужен людям для "согласного общих дел течения", без языка общество напоминало бы "машину", все части которой лежат "особливо" и бездействуют, отчего "все бытие их тщет-

¹ Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 6. С. 190—191.

но и бесполезно". Мысль о постоянно происходящих изменениях в живой и неживой природе, о переменчивости всего сущего на земле и подверженности историческому развитию Ломоносов переносил и на язык: "Так-то невдвуг переменяются языки! так-то непостоянно! так-то пропали еврейский, аларбейский, еллинский, латинский! и прочие! Польский и российский язык коль давно разделились! Подумай же, когда курляндский! Подумай же, когда латинский, греч., нем., росс. О глубокая древность!"⁹ Руссо в своем "Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми" формулирует идеи социальности и психологизма в виде парадоксов: "Я предоставляю всем желающим заниматься обсуждением сего трудного вопроса: что было нужнее — общество, уже сложившееся, — для введения языка, либо языки, уже изобретенные, — для установления общества". "Если люди нуждались в речи, чтобы научиться мыслить, то они еще более нуждались в умении мыслить, чтобы изобрести искусство речи".¹⁰ Более отчетливо свойства языка как психически, социально и исторически обусловленного образования отмечены в сочинении Гердера "Трактат о происхождении языка":

— Человек — свободно мыслящее деятельное существо, силы которого непрерывно растут; именно поэтому он говорящее создание.

— Человек по своему назначению есть создание стада, общества; развитие языка поэтому для него естественно, существенно необходимо.

— Так как весь род человеческий не мог оставаться одним стадом, он не мог сохранять один язык; поэтому стало необходимо образование различных национальных языков; национальные языки развиваются в тесной связи друг с другом, взаимно обогащаясь.¹¹

Можно полагать, что представление о системности языка в невысказанном, несформированном виде, в имплицитном своем бытии содержится в основе идеи универсальной грамматики, разработка которой относится к XVII в. В явном же виде о возникновении языка как системы впервые, как считают историки науки, говорит в начале XVIII в. Джамбаттиста Вико в трактате "Основания новой науки об общей природе наций". Кондильяк, развивая идеи универсальной грамматики, в обеих своих работах — "Опыте о происхождении человеческих знаний" и "Трактате об ощущениях", где значительные разделы посвящены языку, — рассматривает не только отмеченные выше три фундаментальные свойства языка, но, добавляя к ним свойство системности, пытается соединить все четыре под знаком "языковой личности". Естественно, что это соединение осуществляется на спекулятивной, умозрительной основе, но таким соединением Кондильяк в обоих своих "мысленных экспериментах" ("После потопа двое детей того и другого пола заблудились в пустыне, прежде чем узнали, как пользоваться знаками..." — в "Опыте"¹²

⁹ Там же. С. 125.

¹⁰ Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 59—62.

¹¹ Гердер И.Г. Избр. сочинения. М.; Л., 1959. С. 133—144.

¹² Кондильяк. Сочинения. В 3-х т. М., 1980. Т. I. С. 182.

и "говорящая статуя" — в "Трактате") разрешает, как кажется, древний, восходящий к античности парадокс между пониманием языка как человеческой способности и языка как совокупности (имен, правил, речений), а затем — как системы (знаков). Разрешает его в пользу системности, отождествляя ее с языковой способностью. Это был принципиальный шаг в развитии лингвистической мысли, поскольку самым распространенным и, как казалось, единственно убедительным представлением о соотношении языка как способности и языка как суммы, совокупности начиная от античности было такое, согласно которому первое (способность) явилось результатом божественного откровения, вложено в человека богом при сотворении, а второе (сумма) — результат изобретения и соглашения (договора) между людьми. Причем последнее (изобретение) вовсе не противоречило, а наоборот, хорошо увязывалось и с идеей историзма, понимаемого как рост и изменение (в худшую или в лучшую сторону) самой совокупности, и с идеей психологизма (развития духовных способностей), и с идеей социальности языка. Естественность шага, сделанного Кондильяком, кажется вполне закономерной: решая вопрос о том, является ли речь реализацией языка как способности или реализацией языка как системы, зачастую и лингвисты наших дней склонны к соединению того и другого и подмене одного другим. Причем такое соединение может проходить осознанно, с опорой на авторитеты и отсылки к предшественникам (Гердеру, Гумбольдту, Кондильяку), как, например, у Хомского, или неосознанно, когда это соединение понимается как само собой разумеющееся положение, которое и ведет к фетишизации, мифологизации и одушевлению языка, как у ряда других современных лингвистов. Независимо от того, на какой основе осуществляется указанное отождествление, понимание языковой способности (лингвистической компетенции) — врожденной ли, т.е. априорной, трансцендентальной, или благоприобретенной — как системы, порождающей, производящей по определенным правилам речевые произведения, заставляет абстрагироваться от говорящего человека, от языковой личности. Образ языка, создаваемый в рамках такой концепции, остается бесчеловечным, а значит утрачивается то преимущество, то завоевание, которое было достигнуто, пусть в чисто умозрительных представлениях Кондильяка. Тем не менее прогресс в эволюционно-гносеологическом плане налицо, и все усиливающаяся по мере развития науки тенденция к включению человеческого фактора в лингвистическую парадигму прослеживается довольно отчетливо.

Второе соображение, обосновывающее естественность и необходимость обращения современной науки к языковой личности, диктуется состоянием конкретно-аналитических изысканий в языкознании. А оно свидетельствует о том, что языкознание незаметно для себя вступило в новую полосу своего развития, полосу подавляющего интереса к языковой личности. В значительном числе публикуемых теперь работ, посвященных традиционным как будто вопросам изучения тех или иных фрагментов языкового строя, эти традиционные вопросы рассматриваются с новых позиций: они включаются в течение речемыслительных процессов, окрашиваются праг-

матическими тонами, приобретают динамическую составляющую под знаком трактовки языка как деятельности, получают функциональное освещение, которое в конечном итоге делается в интересах познания языковой личности. "Незаметность" такого поворота лингвистики, "незаметность" появления нового аспекта в "образе языка" объясняется очень просто: вступив на новый путь, мы продолжаем оперировать привычной, устоявшейся терминологией, связанной со старым "образом языка". Здесь и классическая проблематика соотношения языка и мышления, и вопросы устройства внутренней речи, и функциональная направленность стилистического анализа с повышенным интересом к эмоционально-экспрессивным свойствам языка, и специфика структуры текста, его восприятия, понимания и воздействия. Между тем за всем этим кажущимся разнообразием вырисовывается единое организующее начало, единый стержень — языковая личность, ее структура, становление и функционирование.

Естественно, не исключаются иные интерпретации и оценки указанных явлений. Можно, например, увидеть в попытках протолкнуть языковую личность в круг интересов лингвиста, в лингвистическую парадигму только навязчивое стремление автора этих строк, а приводимые им в подтверждение такой позиции факты трактовать в ином ключе, скажем, в плане необходимости введения "деятельностного аспекта" в изучение языка, в его "образ". Для подобной трактовки есть как будто основания, поскольку в лингвистических сочинениях на фоне деятельности человека вообще мы встречаем теперь, наряду с речевой деятельностью — коммуникативную, словообразовательную, номинативную, тезаурусную, речемыслительную, а также деятельность языка и деятельность мышления. И ничто, как кажется, не препятствовало бы появлению понятий синтаксической, пропозициональной, предикационной, морфологической, падежной, спрягательной, видовой или залоговой (что звучит уже пародийно) деятельности человека.

Новую полосу в развитии языкознания можно характеризовать и другим образом — как расширение комплексного и интердисциплинарного характера лингвистических исследований или как автономизацию психолингвистической отрасли и превращение психолингвистики в равноправную — со всеми прочими — науку о человеке. Из перечисленных альтернативных оценок современного состояния нашей науки две последние тривиальны в силу своей бессодержательности, а гипостазирование деятельностного аспекта языка представляется промежуточным, временным шагом, паллиативом на пути к языковой личности. Тот факт, что все пути современной лингвистики ведут именно в данном направлении, иллюстрируется следующими положениями.

К необходимости изучения языковой личности как целостного феномена, как фактора, интегрирующего разрозненные, далеко расходящиеся интересы и результаты исследовательской практики, вводящего их в русло единой лингвистической парадигмы, приходят специалисты самых разных областей, и особенно, пожалуй, таких, где получены существенные, для какого-то этапа даже итоговые, ре-

зультаты. К этому приходят от изучения системности, констатируя, что "система языка локализована в мозгу говорящих людей"¹³, а следовательно, коль скоро мы хорошо представляем себе устройство самой системы, пора переходить к исследованию предпосылок и условий ее становления, существования и функционирования в указанной "среде", т.е. в конце концов, — в языковой личности. Закономерным становится ориентирование, внутреннее самонастраивание на такую цель и психолингвистических штудий, когда ставится, например, вопрос о том, "к какому этапу или этапам речепроизводства относятся акты номинации, как они соотносятся с другими моментами в порождении речи"¹⁴... При этом традиционное изучение одного частного аспекта семантики — номинации выводится из привычных рамок знаковой игры, манипулирования одной или многими сторонами знака в соотношении со свойствами отражаемой действительности и включается в многофакторный процесс языкового функционирования самого "изобретателя имен", т.е. человека, личности. Движение к языковой личности проявляется в растущем интересе психолингвистов к языку детей, к устройству лексикона человека, в исследовании ряда других психолингвистических объектов. В сфере стилистики это движение шло наиболее интенсивно от анализа языка писателя, итоги которого под влиянием господствующего в парадигме "образа языка" резюмировались всегда лишь некоторым перечнем, гербарием (в лучшем случае систематизированным) разъятых явлений, — к целостному, хотя и оставшемуся загадочным, не доведенным до уровня верифицируемости, образу автора в художественном произведении. Но несмотря на свою загадочность и неоснащенность лингвистической технологией, этот объект вполне однозначно может быть идентифицирован как языковая личность. К концентрированию своих интересов на языковой личности движется лингводидактика, которой мы, собственно говоря, и обязаны появлением на лингвистическом горизонте самого этого понятия¹⁵, которому мы, в свою очередь, хотим придать парадигмальный статус. Обратившись к лингводидактике, мы тем самым покидаем сферу чистой лингвистики и вступаем в прикладное ее царство. Но и здесь мы встречаем ту же неудовлетворенность бесчеловечностью парадигмы и те же тенденции. Даже такая бесстрастная, коллекционно-гербарийная отрасль, как словарное дело, воодушевленная лингводидактическими устремлениями учебной лексикографии, выдвигает задачу создания антропного словаря¹⁶, ориентированного на формирующуюся, становящуюся языковую (билингвальную) личность и противопоставленного словарю, ориентированному только на адекват-

¹³ Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. Воронеж, 1984. С. 13.

¹⁴ Кубрякова Е.С. О номинативном компоненте речевой деятельности // ВЯ, 1984. № 4. С. 14.

¹⁵ Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. АДД. Л., 1984.

¹⁶ Морковкин В.В. Антропоцентрический versus лингвоцентрический подход к лексикографии // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988.

ное отражение языковой системы. Под знаком языковой личности в лексикографии встает принципиально новая проблема — "человек и словарь", словарь в личности и личность в словаре, которая подкрепляется аналогичным аспектом исследований в смежной области¹⁷. Источником антропного духа в лингвистике становится направление, всегда считавшееся жупелом "дегуманизации", направление, связанное с машинной, автоматической обработкой языковых данных. Как показала практика работ в этой области, наибольшая эффективность применения ЭВМ может быть достигнута именно с учетом особенностей ее партнера — человека — в использовании им языка, т.е. человеческий фактор и в машинной лингвистике, а шире — вообще во взаимодействии с ЭВМ, — приобретает решающую роль.

Сказанное в этом разделе, да и сам тон изложения — в известном смысле полемический — вовсе не служат для автора необходимым оправданием, чтобы подвергнуть сомнению или зачеркнуть основную заповедь современной лингвистической парадигмы: "За каждым текстом стоит система языка". Автор считает, что нынешний этап, никоим образом не отменяя этой заповеди, позволяет теперь чуть-чуть ее расширить, сказав, что за каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка.

Завершить же раздел мне хочется словами известного советского историка и философа науки, который в ряде работ обосновывает и развивает понятие неклассической науки: "Неклассичность последней, как позитивное определение, означает почти непрерывный отказ от неподвижных, как бы оторвавшихся от человека логических норм. Неклассическая наука воссоединяет внутренний мир человека с объективной картиной мира. Неклассическая наука гуманизирует познание, отнюдь не субъективизируя его. Далее — уже не только гносеологический, но и общекультурный вывод. Гуманизация познания делает исследование мира неотделимым от его этических идеалов. А с этим связана уже самая главная проблема современной цивилизации — подъем психологического строя науки, ее моральных и эстетических, вообще гуманистических импульсов; того, что хочет наука, — до уровня ее прикладных возможностей, того, что наука может..."¹⁸.

ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ТРУДАХ В.В. ВИНОГРАДОВА

Talis hominibus fuit
oratio, qualis vita.

Обращаясь к трудам Виктора Владимировича Виноградова, мы, его читатели, счастливым образом черпаем каждый раз новое знание, новые мысли, которые всегда оказываются созвучны актуальным проблемам нашей сегодняшней филологии. Такая особенность — живо откликаться на последующее развитие науки с тем, чтобы само это научное развитие опиралось на результаты и перспективные идеи исследований

¹⁷ Мириманова М.С. Проблема тезауруса в психологии. АКД. М., 1984.

¹⁸ Кузнецов Б.Г. Встречи. М., 1984. С. 73—74.

ученого, — присуща только трудам непреходящего значения, тем, что по праву в истории науки называются фундаментальными.

Я хочу рассмотреть одну из идей, одно из понятий современной лингвистики, разработка которого была намечена Виктором Владимировичем Виноградовым и которое для нас, на сегодняшнем этапе развития русистики, представляется тающим значительный потенциал, способный придать новый стимул изучению художественной речи, стилистики, поэтики. Мы, лингвисты, работаем обычно на пространстве от текста до обобщений о языке, т.е. на пространстве между речью и языком. На этом ясно просматриваемся, я бы сказал "эвклидовом", пространстве, составляющем своеобразную, специфическую "глотосферу", где уже не остается места для "языковой личности", и возникла грандиозная совокупность современных представлений и знаний о языке. Где-то на периферии, на далеком горизонте этой "глотосферы" робко и в очень неясных очертаниях возникает иногда "языковая личность", т.е. делаются попытки рассмотрения языка в человеке, человека вместе с его языком.

Приведенное мною вначале в качестве эпиграфа латинское изречение ("каков человек, таковы его речи") имеет двойной смысл. Один из них — нравственно-этический — раскрывается Виктором Владимировичем Виноградовым, когда он рассматривает, например, риторiku Як. Толмачева¹⁹: "Никто не может быть красноречивым, не быв добродетельным. Красноречие есть голос внутреннего совершенства". Второй смысл — исследовательский (исследовательский по отношению к человеку и его речи) формулируется по-разному: от библейского "испытание человека в разговоре" до новейших приемов контент-анализа и психологического тестирования. Этот второй смысл раскрывается Виктором Владимировичем Виноградовым в ряде его работ, о чем я и хочу сказать подробно.

Вообще к языковой личности как задаче исследования, объекту изучения и как исследовательскому приему можно прийти тремя путями, иными словами, есть три возможности попадания языковой личности в "глотосферу", а значит, в поле зрения лингвиста. Прежде всего — от психологии языка и речи, это путь психолингвистический, затем — от закономерностей научения языку, от лингводидактики, наконец, — от изучения языка художественной литературы (понимаемого в широком смысле, включая сюда и ораторскую речь, как делал это Виктор Владимирович Виноградов). По первому пути пошел Бодуэн де Куртенэ и, характеризуя намеченный им аспект представления языковой личности, Виноградов писал: «Бодуэн де Куртенэ, подобно Потембне, устранил из своих исследований литературного языка методы исторического анализа и историзм как мировоззрение. Его интересовала языковая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения разных социально-языковых категорий. Поэтому Бодуэну де Куртенэ проблема индивидуального творчества была чужда, и язык литературного произведения мог интересовать его лишь с точки зрения отражения

¹⁹ Виноградов В. В. О художественной прозе. М.: Л., 1930. С. 82.

в нем социально-групповых навыков и тенденций, "норм языкового сознания" или, как он иногда выражался, "языкового мировоззрения" коллектива»²⁰. Современная психолингвистика, двигаясь по этому пути, сосредоточилась на изучении речевой деятельности в узком смысле, т.е. механизмов порождения и восприятия речи, и поэтому касается проблем целостной языковой личности лишь тогда, когда выходит в смежные области, например, рассматривает закономерности взаимосвязи языка и мышления или решает вопросы языкового онтогенеза.

Лингводидактический аспект разработки понятия языковой личности — самый старый и корнями своими уходящий, очевидно, в глубокую древность. Проследить его истоки здесь мы не будем, сошлюсь только на Ф.И. Буслаева, который методологические принципы своего труда "О преподавании отечественного языка"²¹ строил на представлениях о нерасторжимом единстве родного языка с личностью ученика: "Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе с тем и развивать (личность) духовные способности учащегося".

Современная лингводидактика, как мне представляется, далеко продвинулась в понимании и разработке структуры и содержания "языковой личности". Последняя предстает как многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени сложности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности (имеются в виду говорение, аудирование, письмо и чтение), а с другой стороны — по уровням языка, т.е. фонетике, грамматике и лексике²². Лингводидактическое представление языковой личности отличается двумя особенностями. Во-первых, языковая личность предстает в этом случае как homo loquens вообще, а сама способность пользоваться языком — как родовое свойство человека (вида homo sapiens). Естественно, что структура и содержание языковой личности в таком представлении оказываются безразличными к национальным особенностям языка, которым эта личность пользуется. Во-вторых, лингводидактика, ориентируясь на генезис языковой личности, отдает предпочтение синтезу перед анализом, тогда как изучение языка художественной литературы представляет широкие возможности для анализа языковой личности.

В.В. Виноградов в разработке и прояснении этого понятия шел иным путем, т.е. не психолингвистическим и не лингводидактическим: ставя своей задачей исследование языка художественной литературы во всей его сложности и всем многообразии, он видит элементарный уровень, элементарную клеточку, отправной момент в изучении этого необъятного целого — в индивидуальной речевой

²⁰ Там же. С. 18.

²¹ Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. М., 1897. С. 7.

²² См., например: Богин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека. Калинин, 1975; Он же. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. АДД. Л., 1984.

структуре. В работе 1930 г. "О художественной прозе", которая является программной, он пишет: "...если подниматься от внешних грамматических форм языка к более внутренним ("идеологическим") и к более сложным конструктивным формам слов и их сочетаний; если признать, что не только элементы речи, но и композиционные приемы их сочетаний, связанные с особенностями словесного мышления, являются существенными признаками языковых объединений, то структура литературного языка предстает в гораздо более сложном виде, чем плоскостная система языковых соотношений Соссюра... А личность, включенная в разные из этих "субъектных" сфер и сама включая их в себя, сочетает их в особую структуру. В объектном плане все сказанное можно перенести и на parole, как сферу творческого раскрытия языковой личности. Индивидуальное словесное творчество в своей структуре включает ряды своеобразно слитных или дифференцированных социально-языковых или идеологически-групповых контекстов, которые осложнены и деформированы специфическими личностными формами"²³.

Итак, исходной здесь, как и в "эвклидовом пространстве нашей глотосферы", является как будто parole. Но в ткани художественного произведения это уже не безличная parole, а речь персонифицированная! Если от безличной речи естественен переход к языку, то от речи персонифицированной, от индивидуальной речевой структуры к языку вообще перейти нельзя. А к чему же возможен здесь переход? — К языковой личности, как совершенно определенно показывает В.В. Виноградов. Но именно здесь, в этой точке его рассуждений становится ясно, что далее путь опять раздваивается.

Одна линия принимает историко-литературную направленность и через ёмкую и широкую категорию "образа автора" ведет в историю литературы, захватывая частично и историю литературного языка. Другая, опираясь на анализ и воссоздание индивидуальной речевой структуры, приобретает литературоведческий колорит и приводит к углубленному пониманию и обновленной трактовке художественного образа. Вот как пишет об этом В.В. Виноградов: лингвистика речи «может изучать формы и приемы индивидуальных отклонений от языковой системы коллектива или в их воздействиях на эту систему, или в их своеобразиях, в их принципиальных основах, вскрывающих творческую природу речи (langage). Но здесь этот путь пересекается другим, когда изучение "личностного" говорения отрывается от параллелизма построений и аналогий с социальной лингвистикой и стремится раскрыть структурные формы словесного творчества личности в имманентном плане. В этом случае социальное ищется в личностном через раскрытие структурных оболочек языковой личности. Такое построение linguistique de la parole тесно связывает ее с наукой о языке литературных произведений, но не сливается с ней (как в концепции Фосслера). Ведь в литературном произведении, как особой сфере творчества личности, и субъективно и объективно — языковые формы оказываются осложненными

²³ Виноградов В.В. Указ. соч. С. 62.

контекстом литературы, литературной школы, жанра, своеобразными приемами литературных композиций»²⁴.

Обе эти линии, первую из которых можно назвать линией "образа автора", а вторую — линией художественного образа как языковой личности, получили дальнейшее теоретическое обоснование и практическую разработку в исследованиях В.В. Виноградова по поэтике русской литературы и теории художественной речи.

В работе 1927 г. в связи с исследованием "систем речи" литературных произведений В.В. Виноградов главный упор делает на языковую личность. Он пишет: «Проблемы изучения типов монолога в художественной прозе находятся в тесной связи с вопросом о приемах конструирования "художественно-языкового сознания", образа говорящего или пишущего лица в литературном творчестве. Монолог прикрепляется к лицу, определительный образ которого тускнеет по мере того, как он ставится все в более близкие отношения с всеобъемлющим художественным "я" автора. А чисто (особенно в письменно-монологических или "чисто-условных" конструкциях) образ авторского "я", все же являющийся фокусом притяжения языковой экспрессии, не появляется. Лишь в общей системе словесной организации и в приемах "изображения" художественно-индивидуального мира проступает внешне скрытый лик "писателя"»²⁵.

И далее: "Всякий выход за нормы литературного языка, всякая ориентация на диалектическое говорение и письмо — ставит перед автором и читателем задачу включения собранных форм речи в одно "художественно-языковое сознание". Конечно, от сюжетной роли его носителя зависит, будет ли оно — это сознание — меняющимся, как бы скользящим по линии от образа, вставленного в известные литературно-социальные рамки, к образу авторского "я", к образу "писателя", — или же оно сохранит свою стилистическую однородность в пределах всего художественного целого, на протяжении всей прикрепленной к нему речи»²⁶. В этом обобщении, в этом суждении В.В. Виноградова заложена главная идея о соотношении и взаимодействии в произведении языковой личности, художественного образа и образа автора. И что прежде всего необходимо отметить: при всех, кажущихся логически вполне убедительными, основаниях для разведения, размежевания, схематического противопоставления друг другу языковой личности и образа автора, В.В. Виноградов отказывается от такого упрощенческого взгляда на эти категории как чисто технические и предпринимает блестящие попытки полного, лингволитературоведческого, филологического анализа ряда произведений отечественной и зарубежной классики, опираясь на принципы взаимодействия, переплетения этих категорий в своих работах «О литературной циклизации (по поводу "Невского проспекта" и "Исповеди опнофага" Де Квинси); "Роман-

²⁴ Там же. С. 63.

²⁵ Виноградов В.В. К теории построения поэтического языка: Учение о системах речи литературных произведений // Поэтика: Сборник статей. Временник отдела словесных искусств. Л., 1927. Т. III. С. 17.

²⁶ Там же. С. 18.

тический натурализм (Жюль Жанен и Гоголь)»; «К морфологии натурального стиля (Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы "Двойник")»; «Школа сентиментального натурализма (Роман Достоевского "Бедные люди" на фоне литературной эволюции 40-х годов)» и ряде других. Это, конечно, задача исключительной трудности. В самом деле, критик, литературовед, исследователь языка в своем подходе к анализу литературного произведения как бы ставит себя на место автора, и поэтому решающей категорией такого анализа становится образ автора, отчуждаемый от структуры данного литературного произведения, даже от содержания его индивидуального "художественно-языкового сознания" и включаемый в контекст совокупного его творчества, затем стиля, школы, направления, метода. В иной позиции стоит читатель, который в процессе движения по тексту ставит себя в один ряд с персонажами, совершает подстановки на место разных героев, поскольку сокровенная тайна воздействия художественных образов на читателя как раз и состоит в восприятии их как лиц вполне реальных, как лиц, взятых прямо из жизни. Следовательно, образ автора — категория чисто исследовательская, тогда как художественный образ — категория читательская, хотя для последнего функционирует эта категория лишь на уровне знания, а осознание же ее, именно как категории, опять-таки остается привилегией исследователя. В.В. Виноградов удивительным образом удалось соединить обе позиции — исследовательскую и читательскую в одном и том же анализе. Но такое соединение оказалось тем более результативным, что ученый в конкретном исследовании оперирует крупными категориями, что придает масштабность всей разворачиваемой им панораме. В центре собственно языковедческого анализа стоит проблема организации сказа, где самым сложным и прихотливым образом переплетаются названные категории.

Но все же есть один, я бы сказал, предельно простой, случай, когда В.В. Виноградов анализирует языковую личность, так сказать, в неосложненном, чистом виде. Это известные его "Опыты риторического анализа" с подробным разбором публичных выступлений, речей видных русских адвокатов. Здесь упрощение заключается вот в чем: сложный, многоуровневый, выходящий далеко за пределы одной языковой личности образ автора в этом случае сжимается, свертывается и в очень сильной степени сближается с конкретной языковой личностью. Одновременно многослойная речевая структура произведения (в данном случае — чистый монолог) оказывается тождественной речевой структуре образа, т.е. структуре данной языковой личности, образу оратора, образу риторика. Однако полного отождествления образа риторика с языковой личностью все же не может произойти, поскольку, как пишет В.В. Виноградов, «Оратор — актер, который должен прятать свое "актерство"». Его "актерский" образ не должен противоречить его общественной личности. Тут открывается насилие социального "театра" над индивидуальностью. Социальным осознанием устанавливается на данный период характерологическая схема ораторского образа в его различных

типических воплощениях — проповедника, "защитника", "обвинителя", политического вождя и т.п. В пределах каждой сферы определяются свои различия²⁷. Следовательно, к образу ратора, помимо особенностей его языковой личности, примешивается еще исполнительский момент, который, будучи целиком направленным во вне, несет в себе отраженный образ слушателя (адресата) речи. В известном смысле этим моментом при воссоздании языковой личности ратора можно, вероятно, и пренебречь, поскольку, как подчеркивает В.В. Виноградов в этой же работе, в литературном произведении при анализе его в риторическом аспекте, вычленяются "формы его построения по законам читателя"²⁸, то есть так или иначе присутствует и "образ читателя".

Возвращаясь к анализу В.В. Виноградовым речи адвоката Спасовича²⁹, хочу отметить, что, по сути дела, в сочетании его собственного, исследовательского разбора с рассмотрением того же материала Достоевским и Салтыковым-Щедриным и возникает достаточно полно структурированная и содержательно наполненная языковая личность этого человека. Естественно, что здесь представлена структура высших ярусов, высших языковых способностей личности: тематический и идеологический анализ, используемые символы, цепи словесных ассоциаций, игра синонимами, приемы эфемизации и использования эзопового языка, игра логическими формами и т.п.

Какие же задачи стоят перед нами и на какие возможности дальнейшего развития идей В.В. Виноградова в разработке понятия языковой личности мы могли бы опираться?

Мне представляется, что перспективным было бы продолжить линию "изолированного" изучения языковой личности персонажа и соотнесения ее с целостным художественным образом. Что я имею в виду? Вот, например, в анализе "Двойника" В.В. Виноградов исходил из крупных блоков (речевая структура произведения) и именно на этом фоне им выписан Голядкин.

Естественно, возникает задача вычленения из полной речевой структуры литературного произведения этого дискурса. Тогда и встает вопрос о типах монологов и о том, где образ автора накладывается на художественный образ, оказывает влияние на речевые произведения последнего.

В.В. Виноградов сделал много для вычленения такого типа монолога, и, конечно, мы широко пользуемся этими результатами в наших стилистических изысканиях, но, думается, здесь есть еще простор для дальнейших исследований. Обратившись с такой целью к современному роману и поставив задачей проанализировать дискурс главного героя, сразу сталкиваешься с такими трудностями: типы интериоризованной речи, т.е. способы интериоризации речи персонажа автором, могут оказаться самыми разными. Среди них встречаются не только те, о которых писал В.В. Виноградов,

²⁷ Виноградов В.В. О художественной прозе. С. 109.

²⁸ Там же. С. 100.

²⁹ Там же. С. 106—187.

но и не отмеченные им, потому что он строил свои наблюдения на литературе 40-х годов прошлого века. За время, прошедшее с тех пор, и сама русская литература и индивидуальное писательское мастерство значительно продвинулись вперед. Выделяя эти различные типы, можно построить довольно четкий спектр разновидностей внутренних монологов. Помимо собственно внутреннего монолога сюда войдет и внутренний диалог, в котором логика рассуждения преобладает над логикой изложения. Далее, выделяется условно интериоризованная речь, когда само изображение действительности (явлений, событий, картин) дается как бы через призму восприятия героя. Лексическое наполнение такой интериоризованной речи оказывается весьма характерным, причем в ней обязательно присутствует разговорность интонации. Кроме того, можно наблюдать полностью интериоризованную речь, когда ее введение в речевую структуру всего произведения предваряется четко вычленившимися авторскими конструкциями, в которых всегда содержатся формальные сигналы интериоризации. Как правило, такими сигналами являются глаголы информации типа "знал", "чувствовал", "пришел к мысли", а далее осуществляется переход к внутренней речи самого героя. Это одно направление анализа.

Другое направление, которое мне представляется перспективным, могло бы, очевидно, заключаться в следующем. В.В. Виноградов в реконструкции языковой личности основывался главным образом на говорении. Однако среди приемов построения художественного образа заметную роль играет также и момент аудирования, момент слушания, момент восприятия персонажем речи других героев. Этот момент почти не прояснен в нашей литературе и, очевидно, он заключает в себе определенные возможности для развития приемов анализа художественного образа через его дискурс. "Говорение", как активное поведение языковой личности, включает и письма персонажей. Скажем, письма того же Голядкина, или основной вид дискурса в "Записках сумасшедшего". Включение писем в ткань литературного произведения именно той эпохи, к анализу которой обращался В.В. Виноградов, представляется вполне естественным, потому что недостаточная разработанность приемов внутреннего монолога в самой литературе и приводила к тому, что количество писем в текстах было довольно велико. При дальнейшем развитии литературы письма все более вытесняются внутренним монологом. Конечно, можно было бы взять в качестве объекта анализа роман в письмах, но представить себе роман, где бы определенная языковая личность характеризовалась только аудированием, едва ли возможно, потому что процесс восприятия вовсе не пассивен, предполагает активную позицию воспринимающего.

Что касается других видов речевой деятельности, которые характеризуют языковую личность, собственно письмом и чтение (которые как художественные приемы раскрытия образа практически не используются) мало что могут дать в подобном анализе. При этом имеется в виду не результат, а сам процесс письма, собственно "писание", выбор и использование в письменной речи определенных

конструкций. Задача достаточно сложная, хотя посмотреть на характеристику языковой личности и с этой точки зрения, очевидно, было бы небезынтересно.

Наконец, следует, очевидно, продолжить анализ видов словесности, которыми оперирует языковая личность. В.В. Виноградов сделал здесь много на том материале, которым он располагал. Говоря "виды словесности", я имею в виду различные типы конкретных ("прецедентных" и оригинальных) текстов, которыми оперирует личность в художественном произведении. Это может быть рассказ, притча, передаваемая с определенной целью, анекдот, каламбур, дефиниция — уточнение смысла слов, которыми говорящий пользуется. Кстати, этот прием, прием разъяснения смысла слов, которые употребляет языковая личность, широко комментирует В.В. Виноградов при разборе "Двойника".

Конечно, список видов словесности большой и, наверное, открытый. Никто еще не взял на себя труд составить их полный перечень (а может быть, он и не должен быть исчерпывающим), но располагать некоторым исходным указателем видов словесности для анализа языка художественной литературы было бы неплохо.

Думается, можно выделить и другие аспекты дальнейшего развития обсуждаемого понятия, но мне кажется, что так понимаемая языковая личность, как я пытался здесь изложить, несколько деформирует уже сложившееся наше представление о категории образа автора. Развивая идеи В.В. Виноградова в направлении изучения языковой личности, мы придем и к более глубокому пониманию образа автора. И одним из стимулов дальнейшей разработки категории образа автора было бы изучение структуры и содержания языковой личности в художественном произведении.

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Что же следует понимать под языковой личностью? Каково в самом общем виде содержание этого понятия? В решении этого вопроса надо, очевидно, исходить из понимания современной наукой личности вообще. В психологии личность трактуется как относительно стабильная организация мотивационных предрасположений, которые возникают в процессе деятельности из взаимодействия между биологическими побуждениями и социальным и физическим окружением, условиями. В повседневном понимании, говоря о личности, мы имеем в виду стиль жизни индивида или характерный способ реагирования на жизненные проблемы. В итоге получается, что и по определению, и по сложившейся исследовательской практике при изучении личности и ее описании в психологии в центре внимания исследователей находятся некогнитивные аспекты человека, т.е. его эмоциональные характеристики и воля, а не интеллект и способности³⁰. Последние могут, конечно, быть объектом изучения

³⁰ Ср.: *Платонов К.К.* Структура и развитие личности. М., 1986; *Симонов П.В., Ершов П.М.* Темперамент, характер, личность. М., 1984.

психолога, но как бы сами по себе, в отвлечении от человека, вне личности. Коль скоро объектом анализа становится языковая личность, интеллектуальные ее характеристики выдвигаются на первый план. Интеллект наиболее интенсивно проявляется в языке и исследуется через язык. Но интеллектуальные свойства человека отчетливо наблюдаемы не на всяком уровне владения языком и использования языка. На уровне ординарной языковой семантики, на уровне смысловых связей слов, их сочетаний и лексико-семантических отношений еще нет возможностей для проявления индивидуальности. В крайнем случае на этом уровне мы можем констатировать нестандартность, неповторимость вербальных ассоциаций, которые сами по себе еще не дают сведений о языковой личности, о более сложных уровнях ее организации. Общение на уровне "как пройти", "где достали" и "работает ли почта", так же как умение правильно выбрать вариант — "туристский или туристический" — не относится к компетенции языковой личности. Этот уровень исследования языка — нулевой для личности и в известном смысле бессодержательный, хотя совершенно ясно, что он составляет необходимую предпосылку ее становления и функционирования. Он попадает в поле зрения исследователя личности только в том случае, если речь идет о втором для нее языке. Между тем этот ординарно-семантический уровень, уровень нейтрализации языковой личности составляет главный объект изучения и теории речевых актов, и теории разговорной речи, и трансформационной теории, и многих иных теорий, которые оказываются равнодушными к содержанию анализируемых и синтезируемых в их рамках речевых произведений, содержанию, выходящему за пределы контекстной семантики, содержанию надтекстовому и затекстовому. Следовательно, языковая личность начинается по ту сторону обыденного языка, когда в игру вступают интеллектуальные силы, и первый уровень (после нулевого) ее изучения — выявление, установление иерархии смыслов и ценностей в ее картине мира, в ее тезаурусе.

Подобная задача знакома языкознанию. Попытки воссоздания общезыковой (т.е. безличностной, бесчеловечной) картины мира, которым предавалось языкознание в рамках идеографии и тезаурусостроения, нельзя считать совершенно беспочвенными или бесполезными. (Я оставляю в стороне их безусловную ценность для лексикологии и лексикографии). В таких картинах мира, независимо от того, что бралось за основу — состояние ли научных знаний и представлений соответствующей эпохи или философско-идеологические посылки, — никогда не удавалось свести концы с концами, довести построение до логического завершения, сделать его исчерпывающим и непротиворечивым. Однако определенное ядро, объективно вычленимое, практически бесспорное, т.е. не вызывавшее возражений стоящих на различных позициях исследователей, в этих построениях всегда так или иначе намечалось. Это естественно, так как не может быть единой, совпадающей в деталях иерархии смыслов и духовных ценностей для всех людей, говорящих на данном языке. Завершенная, однозначно воспринимаемая картина

мира возможна лишь на основе установления иерархии смыслов и ценностей для отдельной языковой личности. Тем не менее некоторая доминанта, определяемая национально-культурными традициями и господствующей в обществе идеологией, существует, и она-то обуславливает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее ядерной, общезначимой, инвариантной части. Последняя, вероятно, может расцениваться как аналог или коррелят существующего в социальной психологии (не общепринятого) понятия базовой личности, под которым понимается структура личности (установки, тенденции, чувства), общая для всех членов общества и формирующаяся под воздействием семейной, воспитательной, социальной среды. Таким образом, первый уровень изучения языковой личности, опирающийся, естественно, на достаточно представительную совокупность порожденных ею текстов необыденного содержания, предполагает вычленение и анализ переменной, вариативной части в ее картине мира, части, специфической для данной личности и неповторимой. Этого можно достичь лишь при условии, что базовая, инвариантная часть картины мира, единая и общая для целой эпохи, нам известна. Такое деление на неизменяемую и переменную части картины или модели мира, конечно, условно, поскольку в историческом времени эволюционирует и инвариантная часть и границы между обеими частями расплывчаты, но это деление представляется полезной идеализацией, облегчающей изучение столь сложного феномена, по двум, по крайней мере, соображениям. Во-первых, оно коррелирует с двумя важнейшими для характеристики личности понятиями психологии — жизненной доминантой и ситуационной доминантой. Во-вторых, такое деление оказывается универсальным, поскольку проходит через все уровни организации и изучения языковой личности. До сих пор речь шла о двух уровнях — нулевом (т.е. по сути дела структурно-языковом, отражающем степень владения обыденным языком), названном семантическим, и о первом уровне, который можно назвать лингво-когнитивным и который предполагает отражение в описании языковой модели мира личности. Второй, более высокий по отношению к лингво-когнитивному уровень анализа языковой личности включает выявление и характеристику мотивов и целей, движущих ее развитием, поведением, управляющих ее текстопроизводством и в конечном итоге определяющих иерархию смыслов и ценностей в ее языковой модели мира. И на нулевом, и на мотивационном, целеполагающем уровнях деление на относительно постоянную часть и часть, подверженную изменению, можно проследить довольно отчетливо. На нулевом уровне это будет комплекс структурных черт общенационального — общерусского — языкового типа, тот "неразговоренный" в исторических преобразованиях "остаток" в фонологии, морфологии, синтаксисе, стилистике, лексике, семантике (перечисление аспектов структуры дано в порядке уменьшения их стабильности и нарастания степени подверженности изменениям), который можно выделить за вычетом хорошо изученных исторической грамматикой и исторической лексикологией происшедших в языке перестроек. Исторические дисциплины русистики в

соответствии с самой сутью "историзма" сосредоточивались на изменяющемся, вариабельном, эволюционирующем, и это справедливо. Но не следует забывать, что о самой изменчивости можно говорить лишь на фоне чего-то относительно постоянного. В данном случае этим постоянным будут структурные черты общерусского языкового типа, сохраненные на протяжении достаточно длительного исторического времени, присущие всем носителям русского языка, единые для всей территории его бытования. Эти черты науке еще предстоит выявить, подобно тому, как зодчие-реконструкторы восстанавливают первоначальную архитектуру храма, отделяя результаты многократных его переделок и перестроек на протяжении веков. Эта задача в русистике пока не поставлена, но методологически она вполне оправданна, ибо выявление и изучение общерусского языкового типа содержательным образом снимет парадокс синхронии и диахронии, согласно которому система может быть представлена лишь в синхронном срезе, а диахронический аспект предполагает последовательную смену "остановленных мгновений", и позволит говорить о подлинной истории системы, или системности языка в историческом времени. Для рассматриваемого в данной работе предмета понятие общерусского языкового типа используется как гипотетическая предпосылка наличия инвариантной части в структуре языковой личности на нулевом уровне ее изучения. Эта инвариантная часть обеспечивает как возможность взаимопонимания носителей разных диалектов, так и возможность понимания русской языковой личностью текстов, отстоящих от времени ее жизни и функционирования на значительную глубину. Что касается вычленения аналогичных частей на высшем — мотивационном уровне языковой личности, то здесь дело обстоит несколько сложнее. Инвариантом здесь надо считать представления о смысле бытия, цели жизни человечества и человека как вида homo sapiens, тогда как переменную часть составят индивидуальные мотивы и цели. На этом уровне языковая личность как объект исследования сливается с личностью в самом общем, глобальном социально-психологическом смысле, что закономерно, поскольку по определению языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств.

В связи со сказанным должно быть ясно, что языковая личность не является таким же частно-аспектным коррелятом личности вообще, какими являются, например, правовая, экономическая или этическая личность. Языковая личность — это углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности вообще. Последнее соткано из противоречий между стабильностью и изменчивостью, устойчивостью мотивационных предрасположений и способностью поддаваться внешним воздействиям и самовоздействию, трансформируя их результаты в перестройке отношений элементов на каждом из уровней — семантическом, когнитивном и мотивационном; между своим существованием в реальном времени и "нерелевантностью" временного параметра для идентификации личности. Субъективно

для личности диахронический параметр выключен, нейтрализован, поскольку психологически и прошлое, и будущее свое она переживает как настоящее. То есть, существуя и развиваясь в актуальном времени (изменчивая часть), личность, идентичная сама себе, предстает как вневременная сущность (стабильная ее часть).

Этот парадокс личности вообще своеобразно преломляется в структуре языковой личности, которая на каждом уровне своей организации соответственно имеет и вневременные и временные, изменчивые, развивающиеся образования, и сочетание этих феноменов и создает наполнение соответствующего уровня. К вневременным образованиям, из тех, что подлежат ведению лингвистики и поддаются исследованию лингвистическими методами, следует отнести общенациональный — общерусский — языковой тип и стандартную, устойчивую часть вербально-семантических ассоциаций — для нулевого, семантического уровня организации языковой личности. На следующем, лингво-когнитивном уровне это будет базовая, инвариантная часть картины мира, и на высшем, мотивационном уровне наблюдаемыми и анализируемыми с помощью лингвистических методик оказываются, естественно, не цели и мотивы, а порождаемые ими устойчивые коммуникативные потребности и коммуникативные черты или готовности, способные удовлетворять эти потребности, типологизирующие специфику речевого поведения и в конечном счете — информизирующие о внутренних установках, целях и мотивах личности. Временные, изменчивые феномены на каждом уровне тоже градуируются по степени общности в зависимости от того, распространяются ли они, кроме личности, на все социальное сообщество или на более узкий речевой коллектив, или относятся к определенным этапам становления только данной языковой индивидуальности, и определяются конкретными ролями — психологическими, физиологическими, социальными, латентными и явными, — которые она исполняет. Следует сказать, что так называемая вневременная часть в структуре языковой личности является таковой только в масштабе самой личности, по отношению к ее временным измерениям, оказываясь на деле продуктом достаточно длительного исторического развития. Более того, инвариантный характер этой части также относителен, поскольку сама природа ее — статистическая, и в пределах общерусского языкового типа, например, допустимы довольно существенные колебания, вариантность в фонологическом его оформлении (скажем, диссимилятивное аканье, элементы оканья или "г" фрикативное) и менее существенные колебания в грамматике. Естественны колебания и в базовой части картины мира в связи, например, с сохранением у части населения религиозных верований. Статистически усредненный характер носят и коммуникативные потребности и черты (относящиеся к мотивационному уровню), поскольку мы говорим, например, что жители севера менее многословны, более молчаливы, чем южане и т.п. Таким образом, то, что мы называем вневременной и инвариантной частью в структуре языковой личности, носит отчетливую печать национального колорита.

Все, что обычно связывают с национальным характером и нацио-

нальной спецификой, имеет только один временной промер — исторический, национальное всегда диахронно. Поэтому естественно, что все претендующие на научность рассуждения о национальном характере могут опираться только на историю. Историческое же в структуре языковой личности совпадает с инвариантной ее частью, и тем самым мы ставим знак равенства между понятиями "историческое", "инвариантное" и "национальное" по отношению к языковой личности. Известно, что попытки рассмотрения и трактовки национальных черт в синхроническом аспекте неизбежно приобретают тенденциозный характер, а сама личность предстает в таких случаях в искаженном — либо сусально-приукрашенном, либо гиперболически-гротескном освещении. Обсуждая содержание понятия этноса и этнического самосознания (которые с позиций самой личности, изнутри, т.е. в отраженном виде, и составляют основу национального чувства), этнологи опираются на несколько основных признаков, ведя спор лишь по поводу большей или меньшей релевантности того или другого из них. Признаки эти таковы: общность происхождения; общность исторических судеб; общность культурных ценностей и традиций; общность языка, эмоциональных и символических связей; общность территории. Как видим, вся эта совокупность взаимодополнительных характеристик насквозь диахронна. С другой стороны, для раскрытия понятия этноса оперируют иногда представлением об общности психического склада у индивидов, составляющих данную этническую группу, причем психический склад или национальный характер может рассматриваться как в одном ряду с перечисленными выше признаками, так и над ними — в качестве интегрирующего суперпонятия, напрямую соотносительного с этносом. Однако при любом его рассмотрении трактовка самого существования национального характера остается противоречивой. Он выступает прежде всего как социально-психологическая категория³¹, т.е. синхроническая по самой своей сути. Ср. многочисленные иллюстрации, главным образом из художественной литературы, специфики национального проявления таких черт поведения, как храбрость (Л. Толстой), характер танца (Н. Гоголь), практичность — непрактичность, консервативность, аккуратность и пунктуальность, юмор и т.д. В то же время такие излюбленные публицистами черты национального характера, как талант и трудолюбие, гордость и независимость, безошибочно оказываются приложимы к любому народу. Этнологи осознают решающее значение исторических корней, диахронических основ складывания и бытования национального характера: «Что касается "механизма" воспроизводства типичных для каждого этноса черт характера, то оно обеспечивается в первую очередь особой, присущей только людям системой межпоколенной передачи опыта. Как известно, индивид не рождается с теми или иными сложившимися чертами этнического характера. Он приобретает их в результате прижиз-

³¹ Козлов В. И. О понятии этнической общности // Сов. этнография, 1967, N 2: Кон И. С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971; Джандильдин Н. Природа национальной психологии. Алма-Ата, 1971.

ненного усвоения, так называемой социализации личности. Притом в отличие от животных у людей в качестве основного средства межпоколенной передачи опыта выступает такой социальный инструмент, как язык»³².

Таким образом, синхроническая трактовка приходит в противоречие с историческими принципами складывания и проявления национального характера. Одномоментно, в синхронии существует лишь некий синкретический "образ" этнического психического склада, который при попытках его аналитического, структурного представления рассыпается в целое море разнородных, часто несоизмеримых одна с другой, не согласующихся в завершённую единую целостность, в логически упорядоченную картину психических черт, таких как, скажем, патриотизм и пунктуальность, настойчивость и скредность. Причем сами эти оценочно-характеризующие черты относительны. Инонациональный наблюдатель, носитель других культурных традиций всегда склонен смотреть на чужую культуру, язык, национальные особенности с позиций превосходства, и поэтому одну и ту же черту психического склада, свойственную и своему и чужому этносу, он может расценивать по-разному. Так, маркиз де Кюстин, автор нашедшей в свое время книги о царской России³³, признавая жизнерадостный и веселый нрав характерной чертой французского национального характера, одновременно расценивает склонность русских к разгульно-веселым празднествам и пирушкам как форму протеста против деспотизма царской власти, распространяющего свое влияние на все стороны жизни русского общества. Образ национального характера, воспринимаемый синхронно, да еще предвзято, естественно, оказывается искаженным. Подлинные силовые линии, формирующие этот образ, уходят в историю и только в диахроническом измерении могут быть рассмотрены с научной точностью и строгостью. В этом смысле очевидно, что национальный психический склад не может быть предметом лабораторного изучения и моделирования.

В свете сказанного становятся понятными две вещи. Во-первых, позиция тех ученых, которые начисто отрицают национальный характер, отказывая ему в существовании и расценивая его как миф. В такой оценке они ориентируются на синхроническое его представление, на синкретический его образ, который как всякое подобное символическое образование, как феномен обыденного сознания может быть предметом писательского осмысления, художественного отражения, быть предметом искусства, но не предметом научного структурно-аналитического изучения. Во-вторых, становятся понятными те критические замечания, а подчас и обвинения, которые раздаются иногда в адрес чисто синхронических исследований и описаний (во всяком случае в лингвистике) со стороны историков языка, обвинения в утрате национального чувства, в гиперинтернационализации, в забвении истории и т.п. В самом деле, хотя всякий

³² Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 153. Изд. 3. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2009.

³³ Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия / Пер. с франц. М., 1930.

"синхронист" помнит о диахроническом аспекте языка и прибегает в своих построениях к вполне нормальному приему научной абстракции, искусственного исключения из рассмотрения эволюционной составляющей языковых явлений и отношений, тем не менее он вынужден при таком подходе оперировать именно понятием диахронии, диахронического, противопоставленного синхроническому. А диахроническое и историческое не являются равнозначными понятиями, не являются полными синонимами; диахрония как понятие сугубо логическое начисто лишена национального переживания и тем противостоит собственно истории.

Для языковой личности нельзя провести прямой параллели с национальным характером, но глубинная аналогия между ними существует. Она состоит в том, что носителем национального начала и в том и в другом случае выступает относительно устойчивая во времени, т.е. инвариантная в масштабе самой личности, часть в ее структуре, которая является на деле продуктом длительного исторического развития и объектом межпоколенной передачи опыта. Таким образом, наличие общерусского языкового типа (нулевой уровень структуры), базовой части общей для русских картины мира, или мировидения (1-й уровень), и устойчивого комплекса коммуникативных черт, определяющих национально-культурную мотивированность речевого поведения (2-й уровень), и позволяют говорить о русской языковой личности. Национальное пронизывает все уровни организации языковой личности, на каждом из них приобретая своеобразную форму воплощения, и застывший, статический и инвариантный, характер национального в структуре языковой личности отливается в самом языке в динамическую, историческую его составляющую.

Для "достраивания" языковой личности от базовых, фундаментальных ее составляющих до конкретно-индивидуальной реализации необходимо учесть переменные, статистически вариативные части ее структуры и включить:

— на нулевом уровне — системно-структурные данные о состоянии языка в соответствующий период;

— на первом уровне — социальные и социолингвистические характеристики языковой общности, к которой относится рассматриваемая личность и которая определяет субординативно-иерархические, т.е. идеологические, отношения основных понятий в картине мира;

— наконец, на втором уровне — сведения психологического плана, обусловленные принадлежностью изучаемой личности к более узкой референтной группе или частному речевому коллективу и определяющие те ценностно-установочные критерии, которые и создают уникальный, неповторимый эстетический и эмоционально-риторический колорит ее дискурса (или ее речи, всех текстов, ее "языка"). Таким образом, все четыре парадигмальные составляющие языка взаимодействуют при последовательном и полном воссоздании структуры языковой личности: историческая (равная национальной специфике) выступает как основа, стержень, который оснащается системно-структурной, социальной и психической языковыми доминантами.

Полное описание языковой личности в целях ее анализа или синтеза предполагает: а) характеристику семантико-структурного уровня ее организации (т.е. либо исчерпывающее его описание, либо дифференциальное, фиксирующее лишь индивидуальные отличия и осуществляемое на фоне усредненного представления данного языкового строя); б) реконструкцию языковой модели мира, или тезауруса данной личности (на основе произведенных ею текстов или на основе специального тестирования); в) выявление ее жизненных или ситуативных доминант, установок, мотивов, находящихся отражение в процессах порождения текстов и их содержания, а также в особенностях восприятия чужих текстов. Уровни зависят один от другого, но эта зависимость далеко не прямая и не однозначная: знание об устройстве и особенностях функционирования вербально-семантического уровня данной личности, например полный ее ассоциативный словарь, является необходимой предпосылкой, но еще не дает оснований делать заключение о языковой модели мира, т.е. от лексикона личности нельзя перейти непосредственно к ее тезаурусу³⁴; точно так же, коль скоро нам известен тезаурус личности, мы еще не можем делать выводов о мотивах и целях, управляющих ее текстами и пониманием текстов ее партнеров. Для перехода от одного уровня к другому каждый раз нужна некоторая дополнительная информация. Попытки прямых, не опосредованных дополнительной информацией умозаключений от одного уровня к другому при оценке языковой личности приводят к псевдознанию, псевдопониманию данной личности. С примерами подобного псевдопонимания мы сталкиваемся сплошь и рядом. В повести Георгия Балла "Тетя Шура, старый актер и остальные"³⁵ есть такой эпизод. Во время врачебного обхода в больничную палату, где в числе других лежит актер Николай Николаевич, вместе с лечащим врачом Борисом Сергеевичем приходит профессор. Происходит такой разговор:

— Пока все в порядке. Он, знаете, — улыбнулся Борис Сергеевич, — устраивает актерские выступления с рассказами и шутками.

— Да? А капельница ему не мешает? — Профессор повернулся к Николаю Николаевичу: — Вы что, лежя выступаете?

Николаю Николаевичу захотелось вскочить: он всегда панически боялся начальства, особенно когда к нему неожиданно обращались, даже желудок расстраивался, руки у него сделались потными, сильно заболела нога, и он отрапортовал:

— Лежа, товарищ профессор.

— Психотерапия и самовнушение, одобряем, — кивнул профессор

³⁴ Ср. аналогичный вывод, полученный по результатам экспериментирования со словарными материалами, когда чисто семантическая информация о перечне полей и их внутренней организации оказалась недостаточной для перехода к более высокому уровню обобщения и построения иерархии семантических полей, т.е. языковой картины мира, или тезауруса (см.: *Караулов Ю.Н.* Общая и русская идеография. М., 1976. С. 263. Изд. 2. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2010).

³⁵ Новый мир, 1984. N 10. С. 132.

и уже к остальным, с наизиданием: — Организм сильно изношен, а внутри, оказывается, есть резервы.

И двинулся дальше”.

В “выступлениях” же старого актера, которые при таком о них упоминании можно принять за случайные, разрозненные интермедии, на самом деле последовательно разворачивается бесхитростная на первый взгляд история жизни некоей придуманной им тети Паши, история, имеющая глубокий философский смысл, служащая известным символом, прообразом человеческой жизни вообще и проводящая невысказанную, невыражаемую, не поддающуюся эксплицитной формулировке и почти неуловимую, но неуклонную аналогию с историей жизни самого Николая Николаевича — старого и не слишком удачливого актера. И поэтому мотив, установка личности, определенные профессором как “психотерапия и самовнушение” на основе как бы “понятого” им элемента тезауруса — “актерские выступления”, оказываются совершенно ложными. Утрачивается компенсаторный и философский мотив — смысло-жизненный поиск, причем эта утрата, это невосприятие хорошо подчеркивается в текстовой организации приведенного отрывка, где все речевые произведения “непонимающих”, т.е. выключенных из тезауруса данной личности и психо-социальных условий его проявления, — профессора и Бориса Сергеевича — вводятся не содержательными глаголами речи, а внешними по отношению к ней, сопровождающими речь жестовыми глаголами — *повернулся, улыбнулся, кивнул*. А текст самого Николая Николаевича замыкается подчеркивающим дистанцию взаимонепонимания коммуникантов, казенным — *отрапортовал*. Хотя перед этим эпизодом для всех реплик употреблены нормальные: *начал докладывать, спросил, бросил, ответил, сказал*.

Несколько иная ситуация непонимания возникает в случаях, когда, пытаясь установить мотивы, пересказывают через уровень и на основании знания только “лексикона”, т.е. вербально-семантического уровня организации оцениваемой языковой личности, делают заключение об иерархии ценностей продуцента текста (тезаурусно-идеологический уровень) или о его целях и движущих им мотивах (мотивационный уровень). В повести Юрия Нагибина “Перекур” глубоко и серьезно влюбленный в Марусю лейтенант Климов во время прощального застолья перед отъездом на фронт вдруг решает “прочитать” любимую девушку за, как показалось ему, внимание, проявляемое ею к Феде. И Климов начинает играть “роль”: “Сын машиниста сцены и домашней хозяйки с четырьмя классами гимназии, он воображал себя молодым аристократом, одарившим вниманием простую крестьянскую девушку. Но вот появилось очаровательное существо, принадлежащее его кругу (имеется в виду случайно оказавшаяся соседкой по столу москвичка, как и он, Вика. — Ю.К.), и сельское наваждение развеялось как дым, его чувства вновь обрели должную ориентировку”. Маруся, воспринимающая лишь внешнюю сторону ведения взятой роли и соответствующий ей лексикон, на основании этих данных делает первоначально ложное заключение, интерпретировав их как прямые знаки

ценностной ориентации (тезауруса личности) Климова, его жизненной и ситуативной установок (мотивационный уровень). Объяснение влюбленных снимает возникшее непонимание:

— Ты не сердисься?

— Я сначала злилась. А потом поняла, что ты для меня же старался.

— Правда? — удивился Климов. — Как ты догадалась?

— Я ведь тоже поплакала. А после слез всегда все яснее становится. Я и подумала: неужели он такой плохой, несамостоятельный? Быть не может. Ну, а тогда зачем он так? Выходит, ради меня. То ли проучить хотел, то ли выставиться... Если проучить, то не за что... Вот.

Маруся не до конца разгадала жалкий спектакль, разыгранный Климовым, но ему не хотелось признаваться, что спяну приревновал ее к старшему лейтенанту..."

Из этих примеров становится ясной неправомерность прямых умозаключений от нижележащего уровня к вышележащему. Отсюда понятна необоснованность выводов, например, об идеологических предпосылках автора текста (лингво-когнитивный уровень) на основе употребления им, скажем, иностранных слов (относящихся к семантико-вербальному уровню в структуре языковой личности) или выводов о его мотивах и целях (мотивационный уровень) на основе повышенной частотности в его текстах тех или иных лексических единиц³⁶. Тогда как обратное заключение вполне справедливо: коль скоро известна ценностно-смысловая иерархия понятий в авторской картине мира, известны его цели, то объяснению поддаются и вербально-семантические и структурно-языковые средства, использованные в его текстах.

Если в самом общем виде говорить о том ключе, который необходим для установления связи между уровнями в структуре языковой личности, для перехода с одного уровня на другой, когда исходной является только информация об устройстве нижележащего уровня, то этим ключом должна быть, собственно говоря, экстралингвистическая информация, поставляемая социальной составляющей языка и связанная с "историей" языковой социализации данной личности, "историей" ее приобщения к принятым в данном обществе стереотипам в соотношении жизненно важных понятий, идей, представлений, истории их усвоения и присвоения в процессе социализации. На основе этой информации от вербально-семантического уровня мы можем перейти к лингво-когнитивному и реконструировать тезаурус личности. Для перехода к мотивационно-прагматическому уровню опять нужна дополнительная информация, но уже не о социальной истории, а о социальном функционировании языковой личности, о ее социальных ролях и референтных группах,

³⁶ Заметим попутно, что при решении задач компрессии текста удалению, исключению из него на лексическом уровне (при сохранении информативности текста) подвергаются прежде всего наиболее частотные слова, т.е. частотность не есть прямой показатель ценностно-смысловой ориентации текста (и его автора).

т.е. об "актуальной социализации", создающей ситуативные доминанты и вносящей "искажения" в относительно устойчивую картину мира. Но поскольку личность не только социальна, а и индивидуальна, второй информационной составляющей при переходе к ее "прагматикону", наряду с социальной, должна быть психологическая, а именно, эмоционально-аффективная, характеризующая ее интенциональности в коммуникативно-деятельностной сфере.

Даже это схематичное представление о связи и взаимодействии уровней показывает, насколько тесно само содержание понятия языковая личность переплетается с этно-культурными и национальными чертами индивидуальности. Мы потому вправе говорить о русской (как и о всякой иной национальной) языковой личности, что последняя содержит инвариантные исторические составляющие, которые с необходимостью входят в национальный характер. Как язык, вернее общность языка, составляет неотъемлемый признак этноса, так и инвариантная составляющая языковой личности есть часть национального характера. Иногда говорят, что само понятие национального характера окрашено в романтические тона и, будучи лишено строгих научных критериев, отдано на откуп художественному осмыслению. На это можно вполне резонно возразить, что многие понятия, приобретшие теперь статус научных, в момент своего зарождения носили на себе печать романтичности. Чтобы не ходить далеко, сошлемся на пример "празыка" — понятия, которое при своем появлении было сугубо романтическим, но в результате развития компаративистики за полтора века, претерпев известные трансформации, пришло к такому состоянию, когда никто уже не решится оспаривать его научность. Языковая личность вовсе не идентична национальному характеру, но, отыскивая в ней черты (составляющие, компоненты), соотносимые с этим понятием, мы подводим тем самым и под него определенную научную основу. Д.С. Лихачев отмечает: "Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности значит делать мир народов очень скучным и серым" (*Лихачев Д.С. Заметка о русском. М., 1981. С. 64*).

Другое сомнение, высказываемое по поводу сближения двух рассматриваемых нами понятий, заключается в следующем. Когда мы утверждаем национальное своеобразие языковой личности и говорим именно о русской (или о любой другой национальной) языковой личности, то не происходит ли путаницы: смешения идентичности национальной с идентичностью культурной и идентичностью языковой? Как быть, скажем, с канадцами, говорящими по-французски, и какую языковую личность представляет собой бельгиец, а какую австриец или же швейцарец, говорящий на рето-романском языке? И каков при этом национальный характер каждого из них? Вопросы, конечно, не простые, и сомнение имеет основания быть высказанным. Однако никакой путаницы не происходит, своеобразие языковой личности определяется языком, которым она пользуется, поэтому и квебекские канадцы, и бельгийцы являются "франкофонными" языковыми личностями (можно было бы сказать и "французскими", если помнить, что речь идет не о принадлежности к нации).

Национальный же характер, как подчеркивалось неоднократно, определяется не только и не в первую очередь языком, поскольку наряду с языком одним из важнейших признаков этноса является общность культурных ценностей и традиций. Таким образом, в приведенных примерах мы имеем дело с канадским, бельгийским и т.д. национальным характером. Понятно, что известный — и в каждом случае своеобразный, т.е. не один и тот же — вклад в формирование каждого из них внес французский язык, отложившийся в каждом определенными чертами. Говорить об этом подробнее, в деталях было бы опрометчиво, поскольку для конкретных подтверждений развиваемой здесь точки зрения необходимы специальные исследования по национальному характеру, которые пока не проведены. Что касается соотношения принадлежности национальной с включенностью личности в ту или иную культуру, то сошлюсь опять на Д.С. Лихачева, который пишет: "Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает. Но национальный идеал тем не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры" (Там же, с. 56). Национальный идеал, таким образом, это идеал культуры. Культура всегда национальна, как бы ее ни понимать — в философском ли, обыденном или антропологическом смысле. Это не значит, что нет понятия общечеловеческой культуры, но в нем не содержится ничего, чего не было бы в культурах национальных. Языковую личность вообще можно соотносить с культурой вообще, культурой общечеловеческой, тогда как национальную языковую личность следует соотносить с культурой национальной.

Остается еще один вопрос, ставящий под сомнение корреляцию языковой личности с национальным характером. Как быть в случае двуязычия и многоязычия, с каким "национальным" прилагательным должна сопрягаться многоязычная личность и каков ее национальный характер? Что касается последнего, то ответ на этот вопрос ясен из предыдущего: национальный характер определяется принадлежностью к этносу, включенностью в национальную культуру, проживанием на определенной территории и т.д. Но какое "языково-национальное" прилагательное мы должны использовать для характеристики личности, например, таджика из Душанбе, равно хорошо владеющего таджикским, русским, фарси и узбекским языками? Это зависит от типа двуязычия или многоязычия. В лингводидактике различают два типа многоязычия: доминантный, при котором один из языков является основным, исходным, определяющим, и если в нашем примере доминантным является таджикский (или любой другой), то проблем не возникает, и второй равноправный тип многоязычия, при котором ни один из языков не является предпочтительным. В последнем случае вопрос о квалификации соответствующей языковой личности остается, по всей видимости, открытым.

Тем не менее, изложенные здесь соображения в целом подкрепляют, на наш взгляд, правомерность трактовки языковой личности как глубоко национального феномена и рассмотрения, в связи с русским языком — русской языковой личности.

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СТРУКТУРА

Таким образом, в лингвистике личность не стала пока равноправным с языком объектом изучения, оставаясь скрытым, незаявленным, а иногда и неосознанным предметом исследовательского интереса, например, в стилистике. В более явном виде выход на проблематику языковой личности осуществляется в рамках дисциплин, относящихся к периферии науки о языке, — в лингводидактике и методике преподавания языков. В этом смысле лингвистика отстает от других наук общественно-гуманитарного цикла, которые более решительно обращаются к человеку, более пристально вглядываются в интересы отдельной личности, более существенное значение придают психологическому фактору в развитии различных областей и периодов общественной жизни. В исторической науке взгляд исследователя, направленный от личности, изнутри, позволяет реконструировать "модель мира", картину мира (своеобразный усредненный тезаурус) средневекового, например, человека и тем самым выявить существенные связи между культурой и социально-экономическим строем общества³⁷. В другой работе на материале русской культуры "нового времени" воссоздается характерологическая портретная галерея личностей эпохи реформ: здесь и герои светских повестей второй половины XVII — первой трети XVIII в., и реальные фигуры — исторические и общественные деятели разного ранга (Ордин-Нащокин, Ртищев, Петр I, Посошков, Ломоносов, Прокопович), а также частные лица. Благодаря этому крупные, социально-экономические мотивировки тенденций развития русской культуры обрастают идейно-нравственной, эмоционально-мировоззренческой плотью, и вся картина приобретает живость и большую убедительность³⁸. Довольно давно и успешно исследуется личность в социологии³⁹, этнографии⁴⁰, развернулись исследования философских проблем человека. Над лингвистикой же слишком тяготело сосюрвовское — "язык в самом себе и для себя".

Естественно, что лингводидактика при этом во все времена строилась с учетом последних достижений психологии, видя свою задачу в психологическом "обеспечении" условий усвоения родного или чужого языка и ставя этот процесс в связь со становлением и развитием личности. Однако исходным в лингводидактических

³⁷ Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / 2-е изд. М., 1984.

³⁸ Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII — начала XIX в. М., 1983.

³⁹ Кон И. С. Социология личности. М., 1967; Социальная психология личности. М., 1979; Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1979.

⁴⁰ См., например: Дашдамиров А. Ф. Нация и личность. Баку, 1976; Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление: Психологические очерки. М., 1977.

построениях были данные именно о языке, которые препарировались в соответствии с представлениями о психологических особенностях личности, а вовсе не сама личность и тем более не языковая личность. Лингводидактика и методика преподавания языка всегда опирались прежде всего и главным образом на господствующий в данный период "образ языка" в лингвистике и соответственно строили модели обучения. В этом исключительно "доверии" прикладных и смежных дисциплин к образу языка проявляется общая и вполне естественная закономерность, определяющая нормальные, стереотипные пути "внедрения" результатов фундаментальных, теоретических исследований в практические разработки. Аналогично обстоит дело, например, с машинным переводом: есть соответствующие уровневой структуре языка — синтаксический МП, лексический МП и то, что я называю "прецедентный" (т.е. собственно текстовый), которые различаются известными трансформациями в образе языка, положенного в основу принципов каждого из них. Однако нет пока того, что можно было бы назвать смысловым переводом, поскольку его построение требует выхода за пределы доминирующего сейчас системно-структурного образа языка и должно искать опору в закономерностях оперирования интеллектом системой знаний о мире. Так и модели обучения языку: до тех пор, пока они ограничиваются рамками системного представления самого языка и не вторгаются в структуру личности, языковой личности, они обречены оставаться чем-то внешним, чуждым по отношению к объекту обучения языку. Как невозможно в отрыве от искусственного интеллекта создать вполне удовлетворительный машинный перевод, так невозможно в отрыве от языковой личности, без учета ее многоуровневой организации, без обращения к принципам формирования и структуры, в частности и ее интеллекта, создать эффективную модель обучения языку.

Сама по себе эта мысль, конечно, далеко не новая, в том или ином виде ее можно встретить уже у Буслаева, Ушинского, Пешковского и других наших лингвистов и лингводидактов, в качестве общетеоретического положения она принята и советской лингводидактикой. За время ее развития лингводидактикой найдены и опробованы многие достаточно эффективные и продуктивные приемы влечения языковых умений в процессы становления и духовного развития личности. Но, как представляется, определяющим в выработке и "эксплуатации" таких приемов всегда оставался именно образ языка, навязываемый соответствующей парадигмой, а вовсе не закономерности "присвоения" языка и владения им личностью. Так, анализируя спор "классиков" и "реалистов", Буслаев, оставшийся в этом споре на стороне последних, т.е. утверждавший необходимость более широкого преподавания новых (живых) языков, ничуть не ставил под сомнение главный принцип преподавания — исторический, поскольку доминирующей в научной парадигме того времени была историческая составляющая языка и вся лингвистическая парадигма была исторической. Соответственно трансформациям парадигмы в лингводидактике были и периоды психологических, и периоды

социологических увлечений, а, вероятно, с 50-х годов нашего века решающее влияние приобрела идея системности. Всепроникающий деспотизм системности определил "уровневую" модель обучения, один к одному повторяющую структуру языка и его образ, в котором доминирует структурно-системная его составляющая.

Описание русского языка в учебных целях (независимо от его предназначенности — для носителей ли языка или тех, для кого он не является родным) мыслится как минимизированный слепок с этого его образа. Ср.: "Монолингвальное лингвистическое описание русского языка в учебных целях представляется системным поуровневым описанием синхронно-диахронического характера, которое позволит увидеть языковые факты не только в статике, но и в динамике, фиксировать не только то, что является устойчивым в языке и входит в его ядро, но и то, что (пока или уже) находится на периферии, отражать не только языковую норму, но и существующие варианты и отклонения, дать всем описанным языковым фактам нормативную оценку и лингводидактическую характеристику. По своему содержанию оно включает в себя: а) анализ в учебных целях каждого уровня и его фрагментов; б) лингвистические операции по определению содержания и структуры соответствующего раздела в школьном курсе русского языка; в) языковые заготовки для учебника, учебных пособий и словарей; г) определение и описание в учебных целях минимума теоретических сведений для изучения"⁴¹.

Конечно, подобный результат означает известный прогресс лингводидактики на фоне, скажем, пренебрежения системностью или неполного учета ее закономерностей, но сопутствующий всякому прогрессу крен в одну сторону — системно-уровневую — имеет и отрицательные последствия. Из-за этого возникает прочно укоренившееся заблуждение наших дней, один из фантомов ХХ в.: все, что не укладывается в систему языка, — то не дело лингвиста, это чистая методика, а не наука о языке. Соответственно любой учебник расценивается как произведение главным образом методическое, а не языковедческое. Между тем, если обратиться к допарадигмальному периоду лингвистики, когда о методике преподавания языка еще никто и не слыхивал, то грамматики (учебники) тех времен представляли собой прежде всего описание языка личности (автора), сделанное в интересах другой личности (ученика). Эта прекрасная традиция теперь почти утрачена отчасти из-за все усиливающейся и углубляющейся специализации, отчасти из-за возникающей острой асимметрии в способе научной коммуникации в современном обществе, когда отправителями научной информации все чаще и чаще становятся коллективы, множества ученых, а получателем ее всегда остается личность, что создает у авторов иллюзию анонимности.

Тем не менее, несмотря на эти пессимистические рассуждения,

⁴¹ Шанский Н. М. Методика преподавания русского языка: достижения и проблемы // Рус. яз. в нац. школе. 1982. № 6. С. 6.

в лингводидактике накоплены значительные данные, обобщен обширный опыт преподавания языка и языков, которые позволяют говорить по крайней мере о трех путях, трех способах представления языковой личности, на которую ориентированы лингводидактические описания языка. Один из них исходит из охарактеризованной выше трехуровневой организации (состоящей из вербально-семантического, или структурно-системного, лингвокогнитивного, или тезаурусного, и мотивационного уровней) языковой личности; другой опирается на совокупность умений, или готовностей, языковой личности к осуществлению различных видов речемыслительной деятельности и исполнению разного рода коммуникативных ролей; наконец, третий представляет собой попытку воссоздания языковой личности в трехмерном пространстве а) данных об уровне структуры языка (фонетика, грамматика, лексика), б) типов речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение), в) степеней овладения языком. Перейдем к более детальному рассмотрению этих представлений, отметив попутно, что из трех перечисленных лишь последнее является объектом специальной достаточно последовательной разработки, тогда как два других для целостной своей характеристики требуют реконструкции из рассыпанных в разных работах фрагментов, определенной достройки и синтеза.

Что касается развиваемого в этой работе трехуровневого представления модели языковой личности, то оно поддерживается довольно широко распространенными идеями о трехуровневости процессов восприятия и понимания, которые оказываются тем самым конгруэнтными самому устройству языковой личности. Так, соответственно намечаемым нами мотивационному, тезаурусному и вербально-семантическому уровням языковой личности в схеме смыслового восприятия выделяют побуждающий, формирующий и реализующий уровни. "Побуждающий уровень объединяет ситуативно-контекстуальную сигнальную (стимульную) информацию и мотивационную сферу... Формирующий уровень функциональной схемы смыслового восприятия содержит четыре взаимосвязанные и взаимовключающиеся фазы: 1) фазу смыслового прогнозирования; 2) фазу вербального сличения; 3) фазу установления смысловых связей (а) между словами и (б) между смысловыми звеньями и 4) фазу смыслоформулирования... Реализующий уровень на основе установления этого общего смысла формирует замысел ответного речевого действия"⁴². В структуре процесса понимания различают также а) понимание замысла автора (отправителя) текста (это высший, второй уровень, соответствующий в языковой личности мотивационному уровню), б) понимание концепции текста (следующий по нисходящей, первый уровень в структуре языковой личности, названный тезаурусным) и в) понимание смысла слов и их соединений на низшем — вербально-семантическом уровне. Соответственно в терминах объектов, подлежащих расшифровке и пониманию на каждом уровне, говорят о

⁴² Зимняя И.А. Психологическая схема смыслового восприятия // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976. С. 31—33.

подтексте (II), тексте (I) и словах (0). Ср. также: "Смысловое восприятие текста — это не только и не столько проблемы общего его понимания, как прежде всего проблема ориентации реципиента в том, что является целью или основным мотивом получаемого сообщения (т.е. замысел или подтекст. — Ю.К.), и в этой связи в концептуальной организации текста (тезаурус текста. — Ю.К.) и текстовой комбинаторике"⁴³ (синтактико-семантическое, словесное понимание. — Ю.К.).

Возвращаясь к структуре языковой личности, необходимо отметить, что в нашем представлении на каждом из трех уровней она складывается изоморфно из специфических типовых элементов — а) единиц соответствующего уровня, б) отношений между ними и в) стереотипных их объединений, особых, свойственных каждому уровню комплексов. Так, на нулевом, вербально-семантическом уровне в качестве единиц фигурируют отдельные слова, отношения между ними охватывают все разнообразие их грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических и ассоциативных связей, совокупность которых суммируется единой "вербальной сетью"⁴⁴, а стереотипами являются наиболее ходовые, стандартные словосочетания, простые формульные предложения и фразы типа *ехать на троллейбусе, пойти в кино, купить хлеба, выучить уроки*, которые выступают как своеобразные "паттерны" (patterns) и клише. На лингво-когнитивном (тезаурусном) уровне в качестве единиц следует рассматривать обобщенные (теоретические или обыденно-жизельские) понятия, крупные концепты, идеи, выразителями которых оказываются те же как будто слова нулевого уровня, но облеченные теперь дескрипторным статусом. Отношения между этими единицами — подчинительно-координативного плана — тоже принципиально меняются и выстраиваются в упорядоченную, достаточно строгую иерархическую систему, в какой-то степени (непрямой) отражающую структуру мира, и известный (хотя и отдаленный) аналогом этой системы может служить обыкновенный тезаурус. В качестве стереотипов на этом уровне выступают устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящие выражение в генерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, крылатых выражениях, пословицах и поговорках, из всего богатства и многообразия которых каждая языковая личность выбирает, "присваи-

⁴³ Дридзе Т.М. Интерпретационные характеристики и классификация текстов (с учетом специфики интерпретационных сдвигов) // Смысловое восприятие речевого сообщения. С. 34.

⁴⁴ «Организация в виде сети следов словесных раздражителей имеет приспособительное значение: в результате развития связей между словесными сигналами создается новый уровень обобщения и отвлечения с помощью слова. Появляются слова, значение которых определяется не через связь с непосредственными впечатлениями, а через связь с другими словами... "Вербальная сеть" составляет основу, на которой происходят закономерные изменения состояний. По ходу этих процессов активизируются одни структуры "вербальной сети" и тормозятся другие, образуются различные виды "мозаики" активности, формируются синтезы, дифференцировки» (Ушкова Т.Н. Проблема внутренней речи в психологии и психофизиологии // Психологический журнал. 1980. С. 149. Т. I. N 4).

вает" именно те, что соответствуют устойчивым связям между понятиями в ее тезаурусе и выражают тем самым "вечные", незбылемые для нее истины, в значительной степени отражающие, а значит и определяющие ее жизненное кредо, ее жизненную доминанту. Когда устойчивость, стабильность той или иной связи подвергается сомнению, то возникает "проблема". Из этой, хотя и самой общей характеристики двух низших уровней организации языковой личности становится, очевидно, понятным основание для сделанного ранее утверждения, что собственно языковая личность начинается не с нулевого, а с первого, лингво-когнитивного (тезаурусного) уровня, потому что только начиная с этого уровня оказывается возможным индивидуальный выбор, личностное предпочтение — пусть и в нешироких пределах — одного понятия другому, допустимо придание статуса более важной в субъективной иерархии ценностей, в личностном тезаурусе не той идее, которая статистически наиболее часто претендует на данное место в стандартно-усредненном тезаурусе соответствующего социально-речевого коллектива, тезаурусе социально детерминированном, определяемом в целом господствующей в обществе идеологией. Нулевой же уровень — слова, вербально-грамматическая сеть, стереотипные сочетания (паттерны) — принимается каждой языковой личностью как данность, и любые индивидуально-творческие потенции личности, проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности ассоциаций и нестандартности словосочетаний, не в состоянии изменить эту генетически и статистически обусловленную данность. Индивидуальность, субъективность может проявить себя в способах иерархизации понятий, и то лишь частично, в способах их перестановок и противопоставлений при формулировке проблем, в способах их соединений при построении выводов, т.е. на субъектно-тезаурусном уровне.

Высший, мотивационный уровень устройства языковой личности более подвержен индивидуализации и потому, вероятно, менее ясен по своей структуре. Все же можно полагать, что и этот уровень состоит из тех же трех типов элементов — единиц, отношений и стереотипов. Понятно, что единицами здесь не могут быть семантические, языково-ориентированные элементы — слова, не могут ими быть и гностически-ориентированные строевые элементы тезауруса — концепты, понятия, дескрипторы. Ориентация единиц мотивационного уровня должна быть прагматической и потому здесь следует говорить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности. Было бы неправомерным назвать их только коммуникативными, поскольку в чистом виде таких потребностей не существует: необходимость высказаться, стремление воздействовать на реципиента письменным текстом, потребность в дополнительной аргументации, желание получить информацию (от коммуниканта или из текста) и т.п. личностные, так же как аналогичные и более масштабные общественные потребности, диктуются экстра-, прагматическими причинами. Полного перечня таких коммуникативно-деятельностных потребностей личности пока нет и создать его, видимо, не менее трудно, чем составить словарь основных понятий

(дескрипторов тезауруса) для предыдущего уровня. Тем не менее, не будучи в состоянии их перечислить, мы вправе оперировать ими как единицами рассматриваемого уровня, отношения между которыми задаются условиями сферы общения, особенностями коммуникативной ситуации и исполняемых общающимися коммуникативных ролей. Эти отношения тоже, по-видимому, образуют свою сеть (сеть коммуникаций в обществе), достаточно устойчивую и традиционную, и проследить ее в полном объеме представляется исключительно сложной задачей. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие единого мнения среди социолингвистов и о том, что считать "сферой общения", и соответственно, какие сферы общения следует выделять в речевом коллективе: в предельных случаях эти сферы оказываются коррелятивны, с одной стороны, с общественными функциями языка, а с другой — с коммуникативными ситуациями. Тем не менее не возникает сомнения, что и сферы, и ситуации, и роли поддаются типизации и исчислению, а неосуществленность того и другого говорит просто о том, что до сих пор социолингвистика не испытывала в подобном обобщении той необходимости, которая возникает в связи с изучением языковой личности. Итак, непроясненным на данном (мотивационном) уровне остается характер и содержание относящихся к нему стереотипов. При их определении возникает соблазн провести само собой напрашивающуюся параллель стереотипов трех уровней с тремя разновидностями усложняющихся единиц, выделяемых, например, при структурировании процессов смыслового восприятия или процессов понимания в психолингвистике: слово — высказывание — текст. Однако эта аналогия была бы слишком примитивной и поверхностной: во-первых, потому, что далеко не всякий текст можно отнести к стандарту, шаблону, обладающему свойством повторяемости, чем собственно и должен характеризоваться стереотип; во-вторых же, потому что текст как образование, протяженное во времени, не может быть в полном объеме предметом оперативного манипулирования в речевой деятельности наряду со стереотипами других уровней — словосочетаниями и генерализованными высказываниями. Одновременно стереотип данного уровня должен находиться во взаимодействии с другими его элементами, т.е. отвечать коммуникативным потребностям личности и условиям коммуникации, объединяя первые (единицы) в некоторый устойчивый комплекс (стереотип) с помощью вторых (отношений). Очевидно, всем этим требованиям, которые на первый взгляд могли бы показаться даже взаимоисключающими, отвечает определенный символ, образ, знак повторяющегося, стандартного для данной культуры, прецедентного, т.е. существующего в межпоколенной передаче текста — сказки, мифа или былины, легенды, притчи, анекдота (в изустной традиции) и классических текстов письменной традиции — памятников, произведений классической художественной литературы и других видов искусства (архитектуры, скульптуры, живописи). Причем языковой способ выражения символа прецедентного текста, естественно, совпадает со способами выражения стереотипов других уровней: это может быть цитата,

ставшая крылатым выражением ("Ну как не порадеть родному человечку", "Да зелен виноград"), имя собственное, служащее не только обозначением художественного образа, но актуализирующее у адресата и все коннотации, связанные с соответствующим прецедентным текстом (Базаров, Печорин, протопоп Аввакум, царь Салтан, Алеша Попович) и т.п.

Чтобы нагляднее представить степень использования трехуровневой модели языковой личности в лингводидактике, целесообразно свести результаты наших рассуждений в схему (см. с. 56).

Рассматривая представленные в схеме 1 уровни и соответствующие им элементы, можно констатировать, во-первых, что лингводидактические разработки так или иначе (в основном имплицитно) учитывают большую часть или даже все выделяемые клетки, ориентируя субъект обучения на оптимальное овладение соответствующим материалом. В самом деле, в поле внимания лингводидакта попадает и лексика, или словарный запас обучаемого (А-1), и грамматико-семантические правила и законы (А-2), и развитие автоматических навыков использования типовых конструкций (А-3), и развертывание, продуцирование текста по темам и семантическим полям, а также сжатие, свертывание исходного текста до "проблемы" (Б-2), и соответствия языковых средств коммуникативным условиям их использования (В-2), и т.д. Во-вторых, следует особо отметить по крайней мере три из клеток таблицы — А-3, Б-2 и В-1, которые в разное время становились основой целых лингводидактических концепций. Первая из названных, символизирующая обучение по моделям или речевым образцам (А-3), пережила свой бум в 60-е годы, когда казалось, что основанный на ней "прямой метод" обучения (иностранному языку) способен решить все проблемы преподавания. К настоящему времени этот прием, освобожденный от всяких методологических претензий, занимает достойное место в числе обладающих значительной эффективностью упражнений конструктивного типа и довольно широко используется в практике преподавания и при построении современных учебников⁴⁵. Содержанием клетки Б-2 являются отношения между концептами, схематизирующие идеологически ориентированную модель мира, т.е. иерархию ценностей языковой личности. Связь в каждой паре концептов (или предпочтительность одного другому, отношение "выше-ниже") может быть интерпретирована как проблемная. Например, для персонажей романа Р. Киреева "Победитель": любовь к женщине, толкающая к тому, чтобы оставить семью, маленькую дочь, и противопоставленное этому, граничащее с безнравственностью, по мнению героя, подчинение обстоятельствам, исполнение стандартно понятого долга по отношению к семье, дочери (т.е. классическое "любовь — долг"); или — эмоционально переживаемое сочувствие, эмпатия по отношению к окружающим, близким, но практически

⁴⁵ См., например: Учебник русского языка для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей: Практическая грамматика. М., 1984.

Схема I

Философский аспект	Психологический аспект	Уровни структуры языковой личности	Элементы уровней		
			1 слияния	2 отношения	3 стереотипы
Язык	Семантический уровень	А вербально-семантический	СЛОВА	грамматико-парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные — "вербальная сеть"	модели словосочетаний и предложений; предмет содержит компоненты; предмет состоит из компонентов в предмете выделяют компоненты; предмет расчленен на компоненты
Интеллект	Когнитивный уровень	Б тезаурусный	ПОНЯТИЯ (идеи, концепты) "картина мира"	иерархически-координативные — семантические поля	генерализованные высказывания: кому много дано, тот не может быть счастливым; любовь, работа — вот три кита, на которых держится мир
Действенность	Прагматический уровень	В мотивационный	ДЕЯТЕЛЬНО-КОМУНИКАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ	сферы общения, коммуникативные ситуации, коммуникативные роли — "коммуникативная сеть"	образы (символы) прецедентных текстов культуры: "И какой же русский не любит быстрой езды". "Плюшкин". "А судьи кто?"

не доходящая до действия ("гуманитарная, гуманистическая" позиция — старший брат Андрей), противопоставленная скептически-иронической, всегда только критической оценке людей и событий, но сопряженной с реалистически оправданным полезным действием, помощью, делом, необходимой в данный момент практической поддержкой ("техническая" позиция — младший брат Станислав Рябов), т.е. классическая оппозиция "истина — польза". Проблему формирует любое, даже ситуативно обусловленное противопоставление концептов, не только обозначающих жизненно важные для индивидуума и общества понятия, но и относящихся к узкой предметной области (специальная проблема, научная проблема). Стимулирующее активность речемыслительной деятельности субъекта воздействие проблемы издавна использовалось лингводидактикой в качестве методологической основы так называемого познавательного или проблемного обучения⁴⁶. Апеллирование непосредственно к тезаурусу личности при таком подходе открывает широкие возможности целенаправленного воздействия на тезаурус и позволяет тем самым органически сочетать образовательные и воспитательные функции обучения. Наконец, клетка В-1, фиксирующая коммуникативные потребности личности, символизирует концепцию, энергично развиваемую сейчас в теории и практике преподавания иностранных языков, и прежде всего русского как иностранного, концепцию, строящуюся на принципе "активной коммуникативности"⁴⁷. Во главу угла при таком подходе кладется стимулирование и использование коммуникативных потребностей учащихся, мотивация и развитие этих потребностей, связанные с общественной необходимостью и индивидуальной заинтересованностью в изучаемом языке. Такой принцип означает, на наш взгляд, уже шаг вперед по пути освобождения от "деспотизма системности", в тисках которого находится лингводидактика, шаг по направлению к языковой личности, поскольку акцент делается не на языковой структуре, а на использовании, употреблении языка, т.е. на прагматической его составляющей, что не мешает, а наоборот, позволяет шире использовать все достижения "системной" лингводидактики — обучение по моделям, проблемное обучение, функциональный подход, принцип сознательности усвоения материала и т.п.

Из изложенного можно сделать предварительные выводы о том, что развиваемое в данной работе представление о трехуровневой структуре языковой личности не противоречит ряду лингводидактических идей и концепций и в известном смысле помогает обобщить и систематизировать некоторые лингводидактические подходы. С другой стороны, сам опыт обобщения приемов обучения языку,

⁴⁶ Пассов Е.И., Крамаренко Е.Н. Структура "проблемы" как основа организации материала при коммуникативном обучении говорению // Изв. Воронежского гос. пед. ин-та. Воронеж, 1983. Т. 226. С. 13—21; Шарунова З.Г. Проблемные речемыслительные задания как адекватное средство развития коммуникативного мышления // Там же С. 34—43.

⁴⁷ См., например: Разработка и реализация принципа активной коммуникативности: IV Международной симпозиум русистов: Тезисы докладов и сообщений. Нитра (ЧССР), 1984.

лингводидактических методов естественным образом укладывается в предложенную структурную схему и тем самым подводит нас к развиваемому здесь представлению о языковой личности.

Несколько иная картина получается, если попытаться сформировать представление, так сказать воссоздать, языковую личность не на основе обобщения приемов обучения, разрабатываемых лингводидактикой, а на основе тех результатов, к которым должно приводить успешное применение указанных приемов. Если в первом случае мы имеем "методический" подход к реконструкции языковой личности, то реализуемый во втором случае подход можно назвать "целевым", поскольку исходным, отправным моментом при этом служит конечный, идеальный результат обучения, цель, которой хотя бы достичь, а именно, перечень речевых умений, навыков, готовности объекта научения. Здесь следует сразу же договориться о терминологии: наряду с перечисленными можно было бы назвать также речевые способности, виды языковой компетенции, степени владения языком. Все это, конечно, не синонимы, но близкие друг другу термины. Ясно при этом, что лексический компонент речевой способности, например, и готовность осуществлять адекватный лексический выбор представляют собой не одно и то же, хотя являются соотносимыми понятиями. Конечно, можно было бы, учитывая такое обилие довольно близких терминов, провести специальный анализ их содержания и употребления с целью их спецификации и обоснованного разграничения, примерно таким же образом, как это сделано для "навыка" и "умения"⁴⁸. Но это проблема только логико-терминологического плана и проблема, в конце концов, разрешимая. Главная же трудность заключается в другом — в определении объема этих понятий, установлении связей между их содержанием, содержанием обучения языку и системой языка: скажем, систематизированный перечень умений и навыков должен, с одной стороны, отвечать содержанию обучения, а с другой стороны, должен полностью покрывать систему языка, как в зеркале отражая его грамматический строй, лексику, стилистику. Тогда этот систематизированный перечень и воссоздает структуру языковой личности. Но такого перечня, такой структуры в лингводидактике не существует. Более того, наполнение одних и тех же понятий не регламентировано, колеблется в очень широких пределах — от приравнивания, отождествления умения (или навыка) с общественной функцией языка до сведения его к владению одной определенной орфограммой, что ведет к чисто метафорическому, образному использованию всех названных терминов. Ср. "... Выпускник национальной школы должен научиться:

а) пользоваться русским языком в форме устной речи для общения в быту и на производстве;

⁴⁸ "...Под навыком мы будем понимать произвольное автоматическое действие, производимое в результате повторений, под умением — способность производить в различных условиях произвольные и целенаправленные действия" (Русский язык в национальной школе: Проблемы лингводидактики. М., 1977. С. 62).

б) пользоваться русским языком при составлении необходимой документации;

в) читать научную и научно-техническую, публицистическую литературу на русском языке;

г) читать русскую художественную литературу;

д) самостоятельно развивать и совершенствовать свои умения в области речевой деятельности на русском языке в том направлении, в каком это потребуется⁴⁹. Едва ли кто-нибудь станет возражать против такого перечня, но и служить руководством к действию он тоже не может в силу широты и неопределенности каждого пункта. Могут возразить, указав на то, что конкретизация перечисленных "умений" достигается в программе, учебнике и методических разработках к ним, однако ни один из этих источников не специализируется на самом деле на умениях и навыках ученика, затрагивая их лишь частично, попутно и решая при этом свою собственную, специфическую задачу: программа — отразить строй изучаемого языка, составляющий недифференцированный, недискретный объем знаний; учебник — редуцировать материал программы, соединить его с методикой и препарировать в упражнениях; методические разработки — расчлнить недискретный континуум знаний и соотнести его с сеткой часов и интеллектуально-психическими возможностями ученика.

Тем не менее из такого рода литературы, как и вообще из работ, посвященных преподаванию русского языка, оказывается возможным извлечь значительную по объему совокупность названий для различных умений и навыков. В неупорядоченном, "валовом" перечислении эта совокупность производит впечатление случайного набора несоизмеримых, плохо соотносимых одна с другой речевых способностей. Если на эту трудность наложить еще необходимость различения умения от навыка, то совокупная картина станет еще более запутанной. Чтобы сделать рассматриваемую нами "целевую" модель языковой личности несколько компактнее, упорядоченнее и нагляднее, будем для простоты всякий вид языковой способности называть "готовностью" (например, "готовность к рецепции терминологической лексики в области химии кристаллов"), не проводя дифференциации между умением, навыком или компетенцией. Полученный набор готовностей к речевой деятельности распределим далее по схеме трехуровневой организации языковой личности, приведенной в этой главе. Поскольку при этом мы исходим из той совокупности, которая получена простым извлечением из некоторого числа соответствующих работ, никак не пытаясь дополнить, достроить список, основываясь, скажем, на системных или логико-имплицативных связях между готовностями, его состав может производить впечатление незавершенного и даже чего-то случайного. Творчески настроенный читатель легко продолжит этот ряд, снабдив, например, каждую рецептивную готовность ее продуктивным коррелятом или распространив с одного уровня на другой. В нашу же

⁴⁹ Там же. С. 29.

задачу входила только фиксация и коллекционирование встретившихся готовностей с целью выяснения их аналитической и синтетической ценности и возможностей систематизации для моделирования языковой личности. В приводимом списке распределение по уровням представляется более надежным, чем разграничение внутри уровней по соответствующим клеткам схемы (см. с. 56), которое произведено с известной степенью условности.

ВЕРБАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ (НУЛЕВОЙ) УРОВЕНЬ

А-1 (ЕДИНИЦЫ)

— готовность к номинациям (это по сути дела основа семиотической деятельности, опирающаяся на принципиальную возможность ассоциации слова, звукового комплекса с предметом)

— готовность к рецепции лексики

— готовность осуществлять выбор слов

— владение специальной терминологией определенной области знаний

— готовность использовать инонациональную лексику

А-2 (РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА — ВЕРБАЛЬНАЯ СЕТЬ)

— готовность к рецепции грамматических структур

— готовность к устной речи

— каллиграфические готовности

— владение нормами орфографии

— готовность к письменной речи

— готовность понимать и воспроизводить в речи значительное богатство средств выражения

А-3 (СТЕРЕОТИПЫ — МАНИФЕСТАЦИИ РЕГИСТРИРУЮЩИХ СТРУКТУР)

— качество чтения

— готовность производить и воспринимать тексты повседневного использования (т.е. владение "обыденным языком")

— готовность к монологическому выступлению

— владение темпом спонтанной речи

ТЕЗАУРУСНЫЙ (ПЕРВЫЙ) УРОВЕНЬ

Б-1 (ПОНЯТИЯ)

— готовность дать определение используемым понятиям

— готовность отыскивать, извлекать, понимать и перерабатывать необходимую информацию в текстах (с опорой на ключевые слова, дескрипторы, понятия)

— готовность использовать иностранные понятия — для сопоставления или некритически

Б-2 (РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА — ТЕЗАУРУС)

— готовность придавать высказыванию модальную окрашенность

— готовность к развертыванию аргументации

— готовность к соединению реплик в диалоге при их нетавтологичности

— готовность к импровизации речи

Б-3 (СТЕРЕОТИПЫ — ПРАВИЛА)

- готовность пользоваться внутренней речью
- готовность к информирующей и оценочной передаче содержания чужой речи
- готовность рефлексировать по поводу фактов родного языка (языковое сознание, проявляющееся в оценке плана выражения своей и чужой речи)
- готовность создавать и использовать универсальные (генерализованные) высказывания

МОТИВАЦИОННО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ (ВТОРОЙ) УРОВЕНЬ

В-1 (ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ)

- готовность учитывать в общении "фактор адресата", его пресуппозицию, т.е. степень осведомленности
- готовность производить рациональное размещение элементов высказывания во времени
- готовность управлять общением
- готовность целенаправленно строить высказывания, достигающие заданного эффекта, т.е. обладающие необходимой мерой ответственности

В-2 (РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СТРУКТУРА — КОММУНИКАТИВНАЯ СЕТЬ: СФЕРЫ, СИТУАЦИИ, РОЛИ)

- готовность оперировать подъязыком разговорной речи
- готовность пользоваться различными конкретными подъязыками и регистрами, т.е. умение с каждым говорить на его языке
- готовность использовать стилистические средства того или иного подъязыка — и в рецептивной и в продуктивной деятельности
- готовность различать деловую и художественную прозу при продуцировании письменного текста
- готовность убедительно высказаться на родном языке публично
- готовность соотносить интенции, мотивы, запрограммированные смыслы со способами их объективации в тексте — в рецептивной и продуктивной деятельности

В-3 (СТЕРЕОТИПЫ — ОБРАЗЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ)

- готовность читать медленно, связанная со способностью воспринимать художественные тексты
- готовность эстетического анализа текста
- готовность к прогнозированию сюжетных ходов художественного текста
- готовность оперировать прецедентными текстами художественной культуры
- готовность оперировать видами словесности
- готовность к художественной критике
- готовность отличать художественную литературу от "чтива"
- готовность чувствовать банальность рифмы
- готовность продуктивно пользоваться тропами
- готовность версифицировать
- готовность к использованию "крылатых слов"

— готовность к оперированию национальным (Скалозуб, Ляпкин-Тяпкин, Обломов, г. Глупов) и интернациональным образным ономастиконном (Меценат, Росинант, Ватерлоо и т.п.)

Упорядоченный таким способом перечень речевых навыков и умений (готовностей), давая определенное представление об операционном наполнении понятия языковая личность, о ее "готовностной модели", все же ставит одновременно и много новых вопросов, которые требуют развертывания некоторого дополнительного комментария к списку.

Прежде всего о неравномерности масштабов, объемов выделяемых готовностей, их известной несоизмеримости друг с другом. С одной стороны, мы отмечаем готовность осуществлять адекватный выбор лексических средств, связанный с необходимостью выразить, объективировать в конкретном тексте на данном языке определенные смыслы, с другой стороны, в числе готовностей фигурирует и готовность к номинативной деятельности, относящаяся не к владению средствами конкретного языка, а к родовой способности гомо сапиенс оперировать знаковыми системами. Таким же образом, наряду с готовностью, скажем, к рецепции грамматических структур данного (русского, например) языка, можно, казалось бы, говорить о готовности (предрасположенности, как свойстве вида гомо сапиенс) к усвоению грамматики вообще и оперированию грамматическими структурами⁵⁰. Но здесь мы уже выходим за рамки лингводидактики и вторгаемся в сферы философии, психолингвистики и биологии, ведущие к тайнам происхождения человеческого языка вообще. Но далее совершенно понятно, что такая готовность, например, как "рецепция грамматических структур", складывается из большого ряда частных операционных готовностей типа "рецепция способа выражения результативности действия в русском языке" или "...способов выражения субъекта обладания", "...рецепция сравнительных оборотов" или "...моделей придаточных предложений времени", тогда как "готовность использовать инонациональную лексику", видимо, не является сложной по своему устройству, но опирается в виде предпосылки на контактирование с другим языком. Аналогично соотношение между готовностью владения нормами орфографии, которая включает большое число частных готовностей пользования различными типами проверок, и, казалось бы, элементарной готовностью к оперированию национальным ономастиконном. С другой стороны, пять последних готовностей, перечисленных под "клеткой" В-3, вполне могут быть объединены в одну усложненную — "готовность к эстетизации речевых поступков", т.е. к эстетическому синтезу, коррелирующую с упомянутой в списке под той же клеткой "готовностью к эстетическому анализу текста", хотя последнюю уже трудно назвать собственно "готовностью": речь действительно идет о рецептивном виде деятельности, но он невозможен без креативной способности языковой личности. Таким образом,

⁵⁰ Ср. с этим понятие "универсальной грамматики" у Н. Хомского и ряда его последователей; см., например: *Bierwisch M. Essays in the Psychology of language*. В., 1983.

можно констатировать, что при выделении различного вида готовностей действуют две разнонаправленные тенденции — дифференциальная, приводящая к их максимальному дроблению, измельчению и в крайнем выражении стремящаяся привести каждую из них в соответствие единицам языковой системы, и интегральная, ориентированная на характеристику комплексных, высших умений владения личностью языком. Иными словами, здесь, как и в лексикографии, в теории и практике построения словарей, можно говорить о лингвоцентризме и антропоцентризме (В.В. Морковкин). Но вывод при таком положении дел должен быть неутешителен: в условиях действия этих разнонаправленных тенденций может быть и удастся уточнить демаркационную линию между методикой (лингво-, системоцентризм) и лингводидактикой (антропоцентризм), но заведомо нельзя построить целостную "готовностную" модель языковой личности, поскольку она всегда будет принципиально неполной.

Второй вопрос, который требует обсуждения в связи с предложенным списком, касается системных отношений между самими речевыми готовностями. Интуитивно кажется ясным, что умения связаны друг с другом, образуют отдельные группировки, пучки, объединения, в которых одно может служить предпосылкой для формирования другого или естественным образом имплицировать его. Но какие готовности при этом оказываются ключевыми, так сказать, системообразующими? При рассмотрении этого списка не нужно забывать, что известная упорядоченность внесена в него уже тем, что набор готовностей распределен по клеткам таблицы, символизирующим в нашем представлении структуру языковой личности. Особенность же нашей схемы заключается в ее функциональности, в том, что языковая личность дана в ней сразу вся, целиком, одновременно и одномоментно. А это означает, что в структуре нормальной языковой личности должны быть представлены все клетки без исключения (только степень их заполнения, насыщения может быть разной) и что последовательность клеток не имеет онтогенетического (исторического, эволюционного) смысла. Тем не менее, системные отношения здесь имеют место, но они в данной таблице не эксплицированы (как, впрочем, и ни в каких иных известных автору описаниях готовностей). Скажем, готовность к устной речи (А-2) предполагает наличие сформировавшейся готовности к интериоризации, к пользованию внутренней речью (Б-3, т.е. более "высокий" как будто уровень), но последняя возможна лишь на основе уже сформированного тезауруса (предшествующая клетка Б-2). Орфографическая готовность проверки правильности написания сочетаний согласных внутри слова (*нести*—*нёс*: с мягким знаком или без него?) в качестве предпосылки опирается на владение правилами словоизменения, т.е. готовности более высокого уровня. Казалось бы, далее одно из системных измерений можно проводить по линии "активное — пассивное" владение языком, продукция — рецепция речи. В самом деле, наряду со способностью, например, к восприятию синтаксических моделей предложения, всегда существует способность к их воспроизводству

и т.п. Но и в этом случае мы сталкиваемся с асимметричным распределением готовностей: скажем, рецептивная лексическая компетенция резко превышает продуктивную, готовность к словопроизводительной деятельности менее масштабна, чем готовность к рецепции словообразовательных моделей, "транслятивная компетенция" при переводе на родной язык, как правило, превосходит "транслятивную компетенцию" той же личности при переводе на чужой язык и т.д. Известная асимметрия возникает и при попытке провести системное разграничение по видам речевой деятельности: рецепция устного текста не конгруентна рецепции письменного, а готовность к устной речи достаточно автономна по отношению к готовности продуцировать письменный текст. В итоге наших рассуждений надо констатировать, что системные отношения в наборе речевых готовностей, в "готовностной" модели языковой личности, хотя и имеют место, но остаются невыявленными; готовностная модель обладает потенциальной системностью.

Это свойство модели, являясь как будто негативным, имеет и свои плюсы, так как позволяет использовать ее не только по прямому назначению (т.е. как целевую, как модель синтеза), но и в качестве инструмента анализа. Так, исследуя параметры определенной языковой личности в тексте, мы можем, опираясь на группы зафиксированных в модели готовностей, расширять их состав в пределах данного типа. Например, набор из клетки В-3, названный "готовностями к эстетизации речевых поступков" (чувствовать банальность рифмы, продуктивно пользоваться тропами, версифицировать, использовать "крылатые слова", оперировать образным ономастиконом), дополняется "готовностью к языковой игре", причем последняя может дифференцироваться более тонко, с указанием конкретных приемов и языковых (т.е. "системных") средств достижения комического эффекта, на который, собственно, и нацелена языковая игра. В повести А. Жукова "Повод"⁵¹ комический эффект в речи философа-изобретателя Сени Хромкина достигается за счет гиперхарактеризации (соединения в поясняющем словосочетании близких по смыслу слов, т.е. рода с видом, двух синонимов и т.п., типа климат погоды, портрет лица, текст слов) и гиперноминализации (употребления на месте, например, адекватного словосочетания двух существительных, одно из которых, образованное от прилагательного, благодаря соответствующему суффиксу, обозначает абстрактное качество): Бабы устно говорят, что малых цыплят таскает, утят и еще что-то блудит в бесстыдном беспорядке... Говорят, количественное множество подушил цыплят-то... (с. 5); Красивый уж больно, зверюга, смелый в поступках совершения действий (с. 7), ...каждый раз встречал меня в полугодовой продолжительности периода и всегда приветственно кукарекал (с. 20); Жизнь нашей современности идет по плану прочности созидания (с. 31); За этот продолжительный период времени действия наша

⁵¹ Новый мир. 1984. N 7.

текущая действительность добилась высокой практики сельской недостаточности продукции животноводства и полеводства... И остального земного шара, неровного от географической эллипсности и овражной рельефности ландшафта... (с. 78). Аналитическое применение готовностной модели еще раз подтверждает ее принципиальную незавершенность, прегнантность, способность к умножению составляющих ее готовностей.

Наконец, третья особенность модели, также требующая комментария, обусловлена ее трансформируемостью, вариативностью. Имеется в виду тот факт, что формирование набора готовностей управляется и определяется далеко не субъективными характеристиками и психологическими факторами, а в первую очередь социальными условиями и соответствующими ролями языковой личности. Одно дело готовности среднего носителя языка, и другое дело готовности филолога-русиста или преподавателя русского языка, в число которых входит и умение вести урок на русском языке, и умение корректировать высказывания учеников в устной и письменной форме, и владение техникой "преподавательского чтения". Одно дело готовности русского ученика, и другое дело готовности изучающего русский язык как неродной. В последнем случае может происходить их дробление (скажем, разделение готовностей к восприятию письменного текста и восприятию того же текста на слух), специальное выделение готовностей само собой разумеющихся для носителей языка (репродукция содержания текста, его интерпретация) или вообще ему несвойственных (перевод с родного языка на изучаемый и наоборот) и т.п. Далее, набор речевых готовностей двуязычной личности отличается от готовностей одноязычного человека. Так, умение выступать на родном языке публично вовсе не означает готовности к публичной монологической речи на втором языке. У билингва в большей степени развита готовность к заимствованиям и т.п.

Итак, подводя итоги рассмотрению готовностной модели языковой личности, мы должны констатировать прежде всего негативные ее характеристики: неполноту (или принципиальную незавершенность), т.е. способность к расширению "на случай", невыраженность системных отношений, т.е. потенциальную системность, и нестабильность, варируемость набора составляющих ее речевых готовностей. Может создаться впечатление, что собранные вместе эти характеристики ставят под сомнение вообще целесообразность оперирования такой моделью. Однако этот вывод оказался бы поспешным. Как показывает практика, готовностная модель является полезной идеализацией и в качестве вспомогательного средства, инструмента с успехом используется и в анализе, т.е. при реконструкции языковой личности на базе произведенных ею текстов, и при синтезе, т.е. целенаправленной установке на формирование, конструирование определенных свойств языковой личности. Аналитическое применение модели иллюстрируется материалом следующего раздела, а примерами целевого ее использования могут служить разного рода профессиональные "профили", профессиограммы лиц языковых (фи-

ологических) специальностей: переводчика, преподавателя, редактора, учителя. Например, разработанная в Гаванском университете "Модель специалиста" для характеристики выпускника русского отделения включает несколько разделов: общую характеристику специалиста, области его использования, объем знаний по литературе, философии, политической, экономической, общественной и культурной жизни СССР и Кубы, объем знаний по общему, русскому и испанскому языкознанию и, наконец, перечень его умений или готовностей, в числе которых значительное число готовностей, характеризующих его идеологическую вооруженность, а из языковых — готовность понимать и выражать идеи со всей ясностью, правильностью и точностью на русском языке — устно и письменно, анализировать языковые явления разных уровней в русском и испанском, переводить на испанский язык материал различных областей и жанров, за исключением художественного перевода, редактировать перевод с русского на испанский, переводить на русский материалы общественно-политического и научно-технического характера, осуществлять устный перевод "с листа" материалов такого характера, осуществлять последовательный (пофразный) перевод на один язык бесед и лекций, осуществлять перевод на оба языка разговоров и интервью, составлять рефераты, резюме и аннотации⁵². Аналогичные целевые модели специалиста разрабатываются для всех языковых специальностей, хотя составляющий их набор готовностей может сильно колебаться даже в пределах одной профессии. Вот, например, каков набор требований к студенту выпускнику немецкого отделения Московского университета, который должен обладать следующими "знаниями, умениями и навыками:

уметь анализировать (фонетически, грамматически и лексически правильно), с точки зрения идейного содержания, композиционных и языковых особенностей, художественные произведения писателей из курса немецкой литературы и истории зарубежной литературы; уметь охарактеризовать творческий путь писателя;

реферировать на немецком языке (с соблюдением норм фонетики, грамматики и лексики) немецкие и русские общественно-политические, литературоведческие и лингвистические тексты;

с соблюдением норм соответствующего языка уметь переводить различные немецкие и русские тексты (по специальности, газетные статьи);

вести свободную беседу на бытовые и общественно-политические темы, а также на темы по специальности (языкознание, литературоведение);

знать материал всех теоретических курсов и уметь практически применять сведения, полученные в них"⁵³.

⁵² "Modelo del especialista", откуда взяты эти данные, любезно предоставлена в мое распоряжение профессором русистики Гаванского университета, одним из ее авторов — Мануэлем Борейро.

⁵³ Программа курса "Основной иностранный язык. Немецкий язык. Практический курс". Для государственных университетов. Специальность 2004. Романо-германские языки (М.: Изд. МГУ. 1982. С. 26—27).

Легко заметить, что такого типа умения, формирующие образ специалиста, становятся все более крупномасштабными, незаметно переходя грань, отделяющую "погруженные в язык" собственно речевые готовности (например, готовности использовать префиксально-суффиксально-постфиксальный способ для передачи в русском языке значения "становиться каким" — убыстряться) от аспектов социально-духовной деятельности, связанной с употреблением языка и манипулированием текстами (например, "уметь охарактеризовать творческий путь писателя").

Наряду с рассмотренными "методической" и "готовностной" моделями языковой личности, которые получены здесь на пути, так сказать, обобщения и "рациональной реконструкции" бытующих в языкознании, психолингвистике и лингводидактике идей, в последние годы разработана еще одна модель, самым автором названная "лингводидактической"⁵⁴. Особенность ее заключается в том, что, соединяя данные об устройстве языка, о языковой структуре с видами речевой деятельности (в этой части она совпадает с другими подходами), данная модель представляет языковую личность в ее развитии, становлении, в ее движении от одного уровня владения языком к другому, более высокому. Тем не менее она не может быть охарактеризована как онтогенетическая, поскольку речь идет не только о ребенке, но и о взрослой личности, совершенствующей свое знание языка (а развитие высших умений, согласно автору, продолжается до 40 лет), а также об овладении вторым языком. Принципиально новым в этой модели является введение уровней владения языком.

Таких уровней выделяется пять: уровень правильности, предполагающий знание достаточно большого лексического запаса и основных строевых закономерностей языка и позволяющий тем самым строить высказывания и продуцировать тексты в соответствии с элементарными правилами данного языка; уровень интериоризации, включающий умения реализовать и воспринимать высказывания в соответствии с внутренним планом речевого поступка; уровень насыщенности, выделяемый с точки зрения отраженности в речи всего разнообразия, всего богатства выразительных средств языка в области фонетики, грамматики и лексики; уровень адекватного выбора, оцениваемый с точки зрения соответствия используемых в высказывании языковых средств сфере общения, коммуникативной ситуации и ролям коммуникантов; уровень адекватного синтеза, учитывающий соответствие порожденного личностью текста всему комплексу содержательных и коммуникативных задач, положенных в его основу. Уровни развитости языковой личности составляют "третье измерение", а вся модель предстает как трехмерное образование (своеобразный параллелепипед) на пересечении трех осей — уровней языковой структуры (их три — фонетика, грамматика и лексика, но могло бы быть и больше, поскольку в грамматике можно противопоставить морфологию син-

⁵⁴ Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. АДД. Л., 1984; *Он же*. Современная лингводидактика. Калинин, 1980.

таксису или внутри морфологии выделить в качестве самостоятельных словоизменение и словообразование), пяти охарактеризованных выше уровней владения языком и четырех видов речевой деятельности — говорения, письма, слушания и чтения. В результате модель складывается из 60 ($3 \times 5 \times 4 = 60$) "кирпичиков", каждый из которых обозначает определенный компонент языковой личности, соотносимый с понятием речевой готовности: например, "адекватный выбор фонетического варианта для устного (публичного) выступления" или "восприятие при чтении насыщенности текста разнообразием синонимических средств (лексика) для передачи того или иного понятия".

Лингводидактическая модель языковой личности обладает, на наш взгляд, большей разрешающей диагностической силой, чем методическая модель, а от готовностной модели ее выгодно отличает отчетливо выраженная системность. Однако она и явно уступает последней из-за недискретности, недифференцированности, с какой в ней представлена языковая структура: один "кирпичик" на всю грамматику вообще, один "кирпичик" на всю лексику и т.п. Далее, при несомненной эвристической ценности лингводидактической модели, заключающейся в возможности представить языковую личность компактно, обзорно и в динамике, модель страдает от своей глобальности (она равным образом безразлична к тому, моделирует ли она онтогенез или арогенез личности) и своей универсальности, т.е. применимости к любой языковой личности независимо от национальной специфики языка, независимо от того, первый (родной) это язык или второй.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

I

В одном из своих устных рассказов И.Л. Андронников вспоминает, как после первого прочтения им романа "Война и мир" (а относится этот эпизод ко времени его детства) в ответ на вопрос отца, кто ему больше всего понравился, он сказал: "Курагин". Отец отругал его, объяснив, что Курагин — подлец, и лишь много позже, по словам И.Л. Андронникова, он понял, что понравился ему тогда не сам Курагин, а то, как он написан Толстым. Такое восприятие художественного образа — одновременно как факта (т.е. отражения действительности, пусть весьма специфического, осуществленного в обобщенном, типизированном виде, но именно отражения) и как артефакта, предполагающего опосредование и дополнительное осложнение процесса прямого восприятия образа еще фигурой и миром его создателя-художника, такое восприятие требует от читателя определенной филологической искушенности. Ею в наше время в той или иной степени обладают все без исключения читатели, и это в общем никого не удивляет. Удивительное в другом: мы далеко не всегда отдаем себе отчет в том, что наибольшей силы воздейственности на читателя художественный образ достигает только тогда, когда он воспринимается как факт: и из собственного читательского опыта, и из признаний

коллег-филологов мы-то хорошо знаем, сколь многотруден для нас процесс чтения художественной литературы — именно из-за этих двух линий переработки информации, осложненных к тому же алгоритмами многочисленных дополнительных аспектов анализа и запрограммированными методическими его приемами, — как редко мы бываем поэтому способны "над вымыслом слезами обливаться" и получать от чтения обыкновенное наслаждение. Сам механизм восприятия произведений искусства бесконечно сложен, многоступенчат и исследован совершенно недостаточно. Ясно, конечно, что каждый читатель не просто линейно движется по тексту, а тоже как-то анализирует его в ходе чтения, попеременно и с разной степенью глубины проходя стадию и непосредственного, и опосредованного восприятия порождаемых текстом художественных образов, давая им эмоциональную, этическую и эстетическую оценку, строя опережающие логические догадки об их эволюции, прогнозируя дальнейшие их действия и поступки. Но читательский анализ, естественно, совершается в свернутом, сжатом виде, практически не выходя на вербальный уровень. Последнее есть удел критика и литературоведа, который уже в собственном тексте делает явным, эксплицирует этот скрытый анализ, материализуя в словах содержание художественного образа. Понятие "содержание художественного образа" само по себе исключительно ёмко, многопланово, можно даже сказать, неоднозначно. Оно с замечательной глубиной и всесторонностью исследовано в ряде работ М.Б. Храпченко, особенно в специально посвященной этой проблематике монографии. Предельно обобщая это сложное, не вмещающееся в единое определение явление, М.Б. Храпченко считает "целесообразным выделить прежде всего следующие четыре определяющих "стихии" художественного образа, или, точнее, сферы его раскрытия: а) отражение и обобщение существенных свойств, черт действительности, представлений человека о мире, раскрытие сложности духовной жизни людей; б) выражение эмоционального отношения ко всему тому, что служит объектом творчества; в) воплощение идеала, совершенного, красоты жизни, природы, создание эстетически значимого предметного мира; г) внутренняя установка на восприятие читателя, зрителя, слушателя, присущая образному творчеству и связанная с этой установкой потенциальная сила эстетического воздействия, которое отдельный образ и искусство в целом всегда оказывали и оказывают на его "потребителей"⁵⁵.

Духовный облик личности, мир ее ценностей, идеалов, устремлений, выражающихся в чертах характера и стереотипах поведения, методе мышления, социально-жизненных целях и конкретно избираемых путях их достижения и составляет зерно содержания художественного образа. Раскрывая его смысл, критик, литературовед так или иначе оперируют этими понятиями, дают им ту или иную характеристику. Но духовная жизнь человека предопределяется не только в его производственно-материальной деятельности, не только в социально-значимых действиях, не только во внешних (материали-

⁵⁵ Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. М., 1982. С. 66—67.

зованных) проявлениях его характера (именно эти линии создания и восприятия художественного образа и находятся в центре внимания литературной критики). В такой же мере духовность определяется в речевых поступках человека, языковом его поведении, т.е. в широком смысле — в текстах, им порождаемых. Языковой же анализ художественного произведения, осуществляемый с литературно-критическими целями, зачастую остается в небрежении, отодвигается на второй и третий план, признается чем-то несущественным. Отмечая неправомерность подобной оценки языка художественной литературы и подчеркивая активную, созидательную, воздействующую и органичную роль слова в ней, М.Б. Храпченко отмечает: "При всем несомненном значении художественного слова для создания образных обобщений нередко высказываются суждения, которые отводят ему чисто служебную роль. Ранее уже рассматривалась теория "преобразования" слова в литературно-художественном произведении, преобразования, при котором оно лишается важнейших своих свойств. Взгляды, принижающие значение художественной речи, существуют и в иных вариациях. Так, ... представления о языке художественного произведения как о "речевой оболочке" в искаженном виде характеризуют связи, соотношения языка и образа, процесс его создания. С этой точки зрения оказывается малополезным или даже совсем ненужным тот огромный труд, который затрачивает писатель, отбирая языковые средства для того, чтобы воплотить дорогие ему идеи и образы. ... Достаточно широким признанием пользуется точка зрения, согласно которой слово в литературном творчестве — это своего рода строительный материал. Без него, разумеется, невозможно создать литературное произведение, но тем не менее самостоятельного значения оно не имеет... Согласиться с этой точки зрения никак нельзя"³⁶.

Нас в этой связи будет интересовать один из аспектов изучения языка художественного произведения: какой вклад в структуру и содержание художественного образа вносит речь, тексты, принадлежащие данному персонажу. Естественно, что в такой постановке вопроса пока еще нет ничего нового, поскольку речевые характеристики действующих лиц, будучи одним из эффективных приемов создания образа, всегда привлекали внимание критики. Однако наша задача будет состоять не в том, чтобы выявить те отношения "дополнительности", которые устанавливаются обычно в литературно-критическом анализе между речью персонажа и основными сферами раскрытия художественного образа, а в попытке систематизировать всю совокупность текстов данного лица в художественном произведении таким образом, чтобы они могли составить достаточно целостную характеристику его как индивидуальной языковой личности.

Понятие "языковая личность" (*homo loquens*) употребляется чаще для обозначения родового свойства *homo sapiens* вообще. Оно разрабатывается с заметной эффективностью в лингводидактических целях, и на достигнутом ныне уровне обобщенных научных представлений

³⁶ Храпченко М.Б. Язык художественной литературы // Новый мир. 1983. N 10. С. 243.

о ней "языковая личность" выступат как многослойный, многокомпонентный, структурно упорядоченный набор языковых способностей, умений, готовностей производить и воспринимать речевые произведения⁵⁷.

Вместе с тем ничто не препятствует тому, чтобы имеющуюся трехмерную структурную модель языковой личности, которая строится по пересекающимся осям — "виды речевой деятельности" (говорение, аудирование, письмо, чтение), "уровни языка" (фонетика, грамматика, лексика) и "степень владения соответствующим компонентом данного уровня", — чтобы эту "родовую" модель не применить как эталон-анализатор, диагностирующий состояние языковой развитости конкретного индивидуума. Тогда составляющий указанную структуру набор языковых умений может расцениваться как определенный (лингвистический) коррелят черт духовного облика целостной личности, отражающий в специфической, языковой форме ее социальные, этические, психологические, эстетические составляющие, т.е. определяющий в речевых поступках основные стихии художественного образа. Следовательно, вопрос, который мы хотим рассмотреть, формулируется таким образом: возможно ли, а если возможно, то как, воссоздав из текстов, принадлежащих данному персонажу в данном литературном произведении, характеристику его языковой личности, прийти в итоге к раскрытию и пониманию всего многообразного художественного образа, в основе которого лежит духовный мир этой личности? Итак, если говорить совсем коротко, наша цель — в выяснении возможностей перехода от содержания "языковой личности" к содержанию "художественного образа".

II

В качестве материала для рассмотрения таких возможностей обратимся к роману А. Приставкина "Городок"⁵⁸. В центре повествования — наш современник, строитель по специальности Григорий Шох, характеристике и эволюции духовного облика которого и посвящен роман. Естественно, что большая часть из всех произносимых действующими лицами (вслух и мысленно) текстов принадлежит центральному персонажу, представляет собой то, что можно обозначить как "дискурс Шохова". Прежде чем перейти к структурированию этого дискурса для воссоздания содержания "языковой личности" героя, следует оговорить несколько условностей, о которых необходимо помнить в процессе нашего анализа. Первая из них частично затрагивалась выше и касается известной вольности в самом акте переноса родового свойства *homo loquens* на единственный объект и приложения его к конкретному индивидууму. Другая условность состоит в том, что нам придется на время отвлечься от личности

⁵⁷См., например: *Богин Г.И. Уровни и компоненты речевой способности человека.* Калинин, 1975; *Он же. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов.* АДД. Л., 1984.

⁵⁸Новый мир, 1983. N 1—2.

самого писателя, "забыть" автора, действительного "отправителя" всего текста, в том числе и "дискурса Шохова", а значит, подходить к последнему как к реальному лицу, т.е. как к "факту". Наконец, из всей совокупности видов речевой деятельности, входящих в структуру языковой личности, для упрощения нашего предварительного (проблемно-постановочного) анализа сосредоточимся пока на одном, основном из них — "говорении". Такое ограничение имеет определенные основания: "письмо" и "чтение", как правило, в очень незначительной степени бывают представлены в качестве конкретных "речевых действий" героев художественных произведений⁵⁹; что же касается "аудирования", то хотя его роль в характеристике речевого поведения персонажей по важности почти соизмерима с ролью "говорения", от его широкого использования придется в данном случае тоже отказаться, чтобы не усложнять, сделать по возможности прозрачным общий ход наших рассуждений.

Поскольку не существует такого описания, такого перечня речевых умений, речевых готовностей языковой личности, на который можно было бы безоговорочно опереться, предложим здесь ту их классификацию, которая подсказывается самим материалом. Первое крупное разделение дискурса Шохова следует, очевидно, провести по линии: интериоризованная речь — внешняя речь. Хотя повествование ведется не от первого лица, но построено оно таким образом, что большая часть текста представляет собой несобственно-прямую речь Шохова и прочих персонажей. Однако сама эта разновидность изложения варьируется в очень широких пределах. Здесь представлен и внутренний монолог в чистом виде: "Ах ты милая-милая, глупая-глупая, наивная девочка! Где же тебе в двадцать-то лет понять чудаков, которые ищут своего места на земле?! И селятся на реке, среди тайги, в поле... И никак не признают города. А может, истина-то, выходит, обратная, и все шиворот-навыворот в мире, и чокнутые да ненормальные в городе живут? Кто это доказал, что мы чокнутые, а вы нет? Но ничего такого, конечно, Шохов не произнес..." (N 1, с. 79). И то, что можно назвать внутренним "диалогом": "Шохов подумал, что напрасно считается, будто людям, ну вот хоть таким, как эта девушка, не удастся жизнь. Вот мол, судьба заставила пойти в продавщицы. Да ничего подобного, это прежде от нужды шли, а эти идут от лени. Предложи ей на выбор что-нибудь — она сама выберет дело, где не надо работать. Как там поется в песенке: "Включать и выключать, сто целковых получать и ни за что не отвечать!" (N 1, с. 80).

Наиболее широко используемой в романе формой несобственно-прямой речи являются относительно законченные отрезки текста (абзацы), где вводные фразы принадлежат как бы наблюдателю со стороны (автору, писателю), а все последующие дословно передают ход мыслей персонажа: "Сейчас он вспомнил пройдошного коменданта и ухмыльнулся. Коечку-то тот сделает, раз обещал. Но больно ему приглянулась шоховская шапка. Она и до него многим

⁵⁹Имеется в виду, что такая форма, как письма персонажей (например, в случае "романа в письмах"), должна рассматриваться как разновидность внутреннего монолога.

приглядывалась, на многих производила впечатление. Шохов на ходу размышлял, так ли просто упоминал комендант про шапку или намекал на подарок. Так ли, сяк ли, но принять к сведению надо. В борьбе за жизненное пространство все могло сгодиться, даже шапка" (N 1, с. 76). Писатель здесь перевоплощается, вживается в своего героя, уже самой вводной фразой настраивая читателя на восприятие мыслей именно действующего лица (ср. во вводной фразе прилагательное "пройдошного" типично "шоховского" стиля и языка). Вводная фраза каждого такого отрезка выступает как своеобразный способ переключения с авторского текста на речь персонажа и легко опознается по наличию в ней своеобразного слова—сигнала. Этот как правило глагол или глагольное сочетание информационной семантики — вспомнил, подумал, размышлял, знал (наиболее частотный сигнал, как и вообще наиболее частотное слово в романе): Шохов знал, что говорят обычно... (N 1, с. 73); Он знал по опыту... (N 1, с. 73); Шохов знал твердо, что... (N 1, с. 74); Но только сейчас, здесь он наверняка знал... (N 1, с. 74); Он знал, например... (N 1, с. 76); Шохов не считал себя стариком, но знал... (N 1, с. 76); ... почему он выбрал это слово, он и сам не мог ответить. Но знал... (N 1, с. 77); Когда приступят к работе, этим заниматься будет некогда. Уж он-то знал (N 2, с. 180); Но недавно я узнал, что... (N 2, с. 181); Хотя никто не знал... (N 2, с. 181); И вы об этом тоже знали... (N 2, с. 181); Все вы знаете... (N 2, с. 181); Откуда ему, мальчишке, сосунку, знать... (N 2, с. 181); А ты откуда знаешь? (N 2, с. 182); ... что жена ничего не знала о записке... (N 2, с. 182); и т.д., практически на каждой странице), решил, понял, удивился, усомнился, раздумывал, чувствовал, мелькнула мысль; мысленно усмехнулся; мог бы наперед рассказать ей; кажись, чего уж хуже; подумалось; отменил решение; мысли выстраивались; пришел Шохов в своих мыслях; и т.п. Сигнальные фразы, переключающие авторское изложение на шоховский дискурс, могут создавать своеобразное обрамление, не только вводя, но и завершая отрезок несобственно-прямой речи: "Ну а перекрыв письмом этот канал, местных руководителей ставят в чрезвычайно сложную ситуацию. Или придется гореть с планом, или, что сподручнее, закрывать глаза на самострой. Как оно везде и выходило! Вот и договор на случай припасли, и запрос в министерство сделали. И ведь куда не уйдут от проблемы, решать-то придется, и скоро притом. Так раздумывал Шохов" (N 1, с. 78). Реже это обрамление из фраз переключения бывает полным, т.е. они появляются и в начале, и в конце отрезка дискурса с соответствующими словами-сигналами; иногда же сигнальная фраза вклинивается внутрь дискурса, как бы разрывая его: "Парень посмотрел на него и засмеялся, хотя ничего смешного в их беседе пока не было. Так решил Шохов. Наверное, легкий характер у человека" (N 1, с. 74). Наконец, возможны случаи, когда вторым грамматичным сигналом интериоризованной речи служит переход ее во внешнюю, обычную прямую речь персонажа: "И Шохов понял, что и сам парень приехал из-за жилья. Может, он и не кадровик вовсе, разве это профессия для крепкого и молодого человека, а мастер или механик, так часто бывает. — Тоже в общежитии? — спросил Шохов кадровика..." (N 1, с. 74—75).

Четвертую разновидность интериоризованной речи, наряду с внутренним монологом, внутренним диалогом и переключенной несобственно-прямой речью, можно видеть в своеобразном авторском пересказе, не непосредственной, а опосредованной передаче мыслей своего героя, когда восприятие и переработка внешней информации, идеи, образы, ассоциации, ею порожаемые, принадлежат Шохову, а оформление в слова и фразы осуществляется за него автор. На деле это эпическое отражение той наиболее экономной формы работы человеческого сознания, которая не доходит до вербального уровня и протекает на так называемом "языке интеллекта", т.е. в сцеплении и движении определенных символов, фигур, образов, обрывков слов, схем, формул, типовых ситуаций и т.п. Таким образом, здесь "план речевого поступка" (собственно и составляющий онтологический смысл самого процесса интериоризации) намечает Шохов, а реализует этот план — автор. Поэтому речь такого типа назовем "условно интериоризованной". Отливая движение мысли героя в связный текст, автор как бы подделывается под манеру и стиль Шохова, но уже только лексически. Поэтому для характеристики анализируемой языковой личности в таких фрагментах текста, в этом типе условно интериоризованной речи могут быть использованы лишь крупные блоки, соотносимые с единицами "языка интеллекта", — образы, ключевые слова, слова-темы. Синтаксис этих отрезков дискурса, как правило, лишен черт разговорности, а поскольку их содержание всегда связано с прямым или отсроченным отражением в сознании героя некоторой обстановки (картины окружающей природы, городской пейзаж, воспоминания о разных жизненных эпизодах, рефлектирующие переживания и др.), то они, вообще говоря, могут быть квалифицированы как элементы изображения "сквозь призму восприятия героя"⁶⁰. Формальным же основанием для отнесения подобных текстов к интериоризованной речи служат определенные индексирующие, маркирующие конструкции внутри этих отрезков, так или иначе дающие понять читателю, что речь идет об описании ситуации или ее трактовке именно Шоховым (в приводимых ниже примерах "условно интериоризованной речи" эти конструкции подчеркнуты):

"Дождь перестал, но серые клубковатые тучи стелились над самой землей. Место здесь было равнинное, просторное, в непогоду мрачное, тучи забили все небо до горизонта. Дома стояли еще реденько, *хотя опытным глазом можно было определить*, что строительство ведется на высшем уровне, планировка просторная, улицы широкие, с бульварами..." (N 1, с. 74);

"Оказалось не очень далеко. В новорожденном городе, где существует пока несколько улиц, всегда все недалеко. Это лишь одно из достоинств. *Есть и другие, как понимал Шохов...*" (N 1, с. 76);

"Сколько видел Шохов рек, сколько жил на них, но никогда не мог привыкнуть так, как привыкают к своему лесу, полю, вообще к земле. Река всегда необычность... Все-таки озеро ли, море — это водоем,

⁶⁰Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. С. 218—243. ("Сквозь призму восприятия").

наполненный водой. А река — это движение, безостановочное, никем не направляемое, потому что возникло по воле природы в давние времена, и уже по одному этому загадка и тайна... Вот и сейчас, *насладившись легким свободным ощущением большой воды*, особенно прекрасной в сумерках, ртутно мерцающей, Шохов подумал о своей работе..." (N 1, с. 81).

Интериоризация речевых поступков — одна из важнейших характеристик языковой личности. На основании анализа только интериоризованной речи (в частном случае — внутреннего монолога) можно, очевидно, воссоздать, например, духовный облик Андрея Болконского; такой анализ, на мой взгляд, даст правдоподобное приближение к пониманию даже образа Чичикова, хотя объем интериоризованной речи (включая проговаривание наедине с собой) этого героя не идет ни в какое сравнение с первым. Оно и понятно: время написания "Мертвых душ" — период в развитии русской литературы, когда "внутренний монолог" как форма повествования, форма развертывания сказа еще проходил стадию своего становления.

Интериоризованная речь (точнее, условно интериоризованная) возможна не только в романе, но и в драматическом искусстве. Выполняя здесь несколько иную функцию, она служит в то же время задаче более полного раскрытия внутреннего мира действующего лица⁶¹, причем может использоваться как чисто постановочный, режиссерский прием, не будучи предусмотренной текстом пьесы. Здесь имеется в виду постановка В.Н. Плучеком "Доходного места" А.Н. Островского в Московском театре сатиры, когда в соответствии с режиссерским замыслом актер после произнесения некоторых, особо значимых своих реплик, обращенных к собеседнику, затем повторял их вновь, но уже как бы "про себя", несколько сглаживая, трансформируя при этом интонационный рисунок фразы и внося незначительные изменения в мизансцену. Воздействующая сила такой своеобразной "реинтериоризации" оказалась весьма эффективной.

Объем всех разновидностей интериоризованной речи в дискурсе Шохова по приблизительной оценке занимает более 50%, что само по себе (даже с учетом того, что он главное лицо среди действующих) может квалифицировать данного индивида как человека, ведущего интенсивную внутреннюю духовную жизнь, насыщенную интеллектуальной и эмоциональной рефлексией, заполненную нравственными переживаниями. Иное дело, каково содержание этой рефлексии, какова иерархия ценностей в "картине мира" героя. Об этом будет сказано ниже. Пока же еще несколько слов о других параметрах интериоризованного дискурса Шохова.

Если обратиться к приведенным выше примерам его разновидностей — внутреннего монолога, внутреннего диалога, переключенной несобственно-прямой речи и речи условно интериоризованной, то можно увидеть, что в каждом из отрезков текста преобладающим является не плавный тон свободного эпического сказа (даже в пос-

⁶¹См. об этом: *Храпченко М.Б.* Горизонты художественного образа. С. 252—260. («Драматургические реплики "в сторону"»).

леднем их типе, проникнутом созерцательной тональностью и потому тяготеющем скорее к логической структуре неторопливого и как бы незаинтересованного изложения), а динамичная логика направленного, ориентированного развертывания цепочки запрограммированных суждений. Подобное превалирование в интериоризованной речи логики рассуждения над логикой изложения может быть свойственно только целеполагающей и целеориентированной личности, которая четко знает, чего хочет, и какой на деле является "все знающий про себя Шохов" (N 1, с. 74). Недаром поэтому самым частотным в его дискурсе оказывается глагол "знать".

Далее, для интериоризованного дискурса Шохова, особенно для внутреннего диалога, показательным является прием аргументирования за противника, т.е. прорисовывание, очерчивание образа оппонента; ср. его рассуждения по поводу документов горисполкома о самостоятельной застройке в городе в первой части романа (N 1, с. 78-79) или внутреннее продолжение спора с Макаром Ивановичем по поводу его дома, по сути дела спора, касающегося способа иерархизации жизненных ценностей каждого из собеседников (N 1, с. 146—147).

Одной из особенностей интериоризованной речи Шохова является наличие самооценок действий и речевых поступков: "— А сюда надолго? Или дальше побежите? Вопрос был чисто риторический, оба — и спрашивающий и отвечающий понимали это. Шохов знал, что говорят обычно в таких случаях и какого ответа от него ждут. Но показалось более уважительным для себя промолчать. Ведь все равно никаким заверениям не поверят. А молчание даже могут счесть за серьезность характера" (N 1, с. 73);

"Шохов отвечал предельно коротко, не стараясь перекрыть шум в комнате, он и голосом своим и коротким ответом старался представить себя с лучшей стороны — этаким милый парняга, умеющий выслушать и не произносить лишних слов. Болтливых на стройке не любят" (там же).

Иногда самооценка, вклиниваясь в диалог, практически совпадает с упомянутой выше "репликой в сторону" (в приводимом ниже примере, как и во многих других случаях, эта реплика дана в скобках), а затем переходит в обычную интериоризованную речь (в данном случае тоже с самооценкой):

"— Риточка, — тотчас же сказал Шохов проникновенно, — у меня мало времени. И в то же время мне чрезвычайно важно выяснить ваш государственный взгляд на такие проблемы, как индивидуальная застройка в нашем городе, и все аспекты (вот выкопал словцо, сам удивился!), касающиеся решения этого вопроса.

Произнеся подобную белиберду, Шохов и сам усомнился, не переборщил ли, наводя тень на плетень, вместо того, чтобы спросить прямо, где тут застраиваются люди и каким путем получают на это разрешение" (N 1, с. 77).

Самооценка собственных речевых произведений, соседствуя, а в ряде случаев переплетаясь, с оценкой текста или поведения собеседника, чаще проявляется в диалоге, т.е. во взаимодействии интериоризо-

ванной речи с внешней речью персонажа. В качестве одной из форм косвенной самооценки (а отчасти и оценки партнера по диалогу) следует признать использование говорящим дефиниций, разъяснение смысла употребляемых им слов там, где он ощущает такую необходимость. В романе около полутора десятков дефиниций, и добрая половина их относится к текстам Мурашки, что в общем соответствует его роли "учителя жизни" в судьбе и формировании личности Шохова. Однако дефиниции встречаются и в дискурсе самого Шохова, сигнализируя не только о самооценке, но и служа также способом самоутверждения личности, подкрепления, обоснования каких-то моментов ее жизненной позиции:

"— Откуда?

— Отовсюду. Надо тормознуться, то есть, говоря флотским языком, закинуть якоря до пенсии. Хочу свои двести получать. А когда эдшишь, все теряешь" (N 1, с. 83);

«Коменданту же, хоть воротило от него, от его сытой, нахальной морды, он, как было обещано, поставил "прописку", то есть бутылку коньяка, но пить с ним не стал, не мог себя пересилить» (N 1, с. 84);

"... потому что поверил в свою идею и понял, что если сам до нее допер, то не последний он, Шохов, человек на земле, может кое-чем еще блеснуть. Хотя на вид пока лезный, как называли таких в деревне, то есть одинокий и безземельный бобыль" (N 1, с. 121);

"Но пофартить может раз или два. Ну, от силы три раза. А вот когда везло непрерывно, когда все, чего бы он ни касался, превращается в непрерывную удачу, иначе как фортуной не назовешь" (N 1, с. 150).

Другим показателем самооценки, или стремления к самооценке, но уже не речевого своего поведения, а социально-жизненных установок и идеалов становится употребление персонажем в интериоризованной речи собственного имени в 3-м лице, когда, думая о себе, он называет себя "Шохов". Это, очевидно, тоже один из приемов самоотстранения и объективации индивидуума, приема, который характеризует достаточно высокую степень рефлексивности данной языковой личности.

До сих пор речь шла скорее о формальных характеристиках интериоризованной речи Шохова, но уже их беглое рассмотрение свидетельствует о широком диапазоне языковых готовностей самых высоких уровней, которыми располагает данная личность. Этот предварительный вывод подтверждается аналогичным анализом других аспектов языковой личности Шохова, в частности, характеристикой его внешней речи и тех "видов словесности" (видов текстов), которыми он оперирует.

III

В заключение, коротко коснувшись упомянутых параметров дискурса Шохова, сопоставим их с результатами содержательного анализа принадлежащих ему текстов, чтобы сделать выводы о соотносительности, взаимосвязанности "языковой личности" и "художественного образа" данного персонажа.

Участие анализируемой языковой личности в диалогах интересно прежде всего возможностью оценить степень владения ею высшими уровнями аудирования, предполагающими адекватное понимание текста партнера по диалогу, соответствующее восприятие всей ситуации, умение на этой основе прогнозировать дальнейшее речевое (и шире — вообще всякое) поведение собеседника и т.п. Приводимыми ниже отрывками иллюстрируются не только названные языковые готовности Шохова, но выявляется и известная его риторическая искусственность, умело проводимая им в разговоре установка на ответственность своих реплик, что не может показаться странным для этого человека как руководителя рабочего коллектива (вспомним хотя бы бегло обрисованные в первой части романа сцены разговоров с рабочими и подбора им людей на строительство водозабора).

“Кстати, у тебя избушка-то застрахована? — поинтересовался Шохов. Намеренно безразличным тоном спросил, чтобы услышать голос Петрухи и убедиться, что он уже не таит обиды.

— Чего тут страховать? — удивился тот.

И Шохов с облегчением услышал именно те интонации, которые хотел услышать. Но, может, лишь чуть-чуть натянутым был голос Петрухи.

— А когда изба в деревне горит, знаешь, что мужики делают, а? — произнес Шохов, вовсе не рассчитывая на какое-то любопытство дружка. — Во время пожара мужики печь ломают. Вот чего они делают.

— Почему? — удивился Петруха.

Ах, какой он был все-таки беззащитный, он и обижаться не мог долго, все в нем наружу. Надо с ним поосторожнее в будущем, так решил Шохов.

— А потому что печка в избе самая ценность. Это по стоимости, значит, страховки. Если изба сгорела, а печь стоит, так мужику копейки могут выплатить. Вот и происходит дикость: пожар, надо избу тушить, а мужики ломаями орудуют, кирпичи крушат. Я однажды увидел, страшно стало” (N 1, с. 125).

Как эта, нарисованная им сценка, так и последующий рассказ Шохова риторически запрограммированы им в этом диалоге, ориентированы на определенную цель, на то, чтобы вызвать адекватную реакцию слушателя, смягчить, а в итоге изменить его отношение к поступку Шохова, послужившему причиной первой трещины в их отношениях с Петрухой. Здесь Шохов явно занимает активную, ведущую в разговоре позицию. Зато в сценах столкновения с другой языковой личностью — Макаром Ивановичем — читатель явно ощущает неадекватность шоховского анализа реплик собеседника, недостаточность шоховского аудирования, неразвитость языковых готовностей, связанных с восприятием и пониманием, так сказать, макроситуации и тех “идеологем”, которые являются доминирующими в “картине мира” деда Макара.

“— А чего ж? — опять спросил старик вежливо и почти сочувственно. — В доме-то небось мебель красивую поставите, да? Ковры заведете?

— И мебель и ковры будут, — подтвердил Шохов. И, будто по-

чуяв неуловимый подвох, подозрительно посмотрел на старика. К чему все-таки он спрашивает и не пора ли оборвать его да и начать работать? Как говаривали в деревне, от шаты и баты не будем богаты. Говорителей много в наше время развелось, а дома-то они точно не построят, одни идеи у них, как за твой счет позабавиться да прожить. Он уже не о старике, он вообще подумал" (N 1, с. 146);

"... Я хотел бы с вами еще встретиться, если не возражаете.

— Не возражаю, — сухо произнес Шохов, засомневавшись в чем-то.

Старик явно наводил тень на плетень. Над этим стоило поразмыслить. А вот тогда действительно можно и встретиться и уже со своей стороны пощупать старикашку, чего он сам-то хочет, что ищет и почему так настойчиво лезет в душу со своим зоологическим делением всех на виды" (N 1, с. 146).

Одной из важных характеристик языковой личности является способность использовать разные подъязыки и свободно переключаться в диалоге — в соответствии с изменением ситуации, цели и участника коммуникации — с одного подъязыка на другой. Однако специфика построения романа такова, что развитие его сюжета и соответственно диалоги действующих лиц протекают в основном на уровне бытовых взаимодействий людей, тогда как все другие сферы общественных отношений находят в повествовании лишь косвенное отражение. Поэтому нет нужды в отчетливом выделении и дифференциации подъязыков, обслуживающих разные сферы. Тем не менее, в дискурсе Шохова можно отметить определенные регистры употребления языка, свидетельствующие о его способности учитывать в своей речи образ слушателя и переключаться на разные подъязыки в зависимости от темы, цели общения, социального и психологического облика собеседника: например, в разговорах с секретарем Ритой в горисполкоме, с продавщицей в магазине, с Петрухой на темы строительства дома, с Наташей и др.

Кроме названных параметров внешнюю речь можно было бы охарактеризовать по отношению к внутренней также с точки зрения различий в синтаксических конструкциях, используемых стилистических средствах, словаре. Но на этом мы здесь останавливаться не будем, посвятив лексику языковой личности специальный раздел.

Второе крупное деление дискурса Шохова (наряду с вычленением в нем интериоризованной и внешней речи) накладывается на первое, пересекается с ним и связано с анализом и оценкой тех "видов словесности", т.е. тех типов целостных текстов (субдискурсов), которыми на протяжении романа оперирует этот персонаж. Способность использовать как автономные единицы большие и разнообразные тексты, сама форма в которых до известной степени обусловлена их содержанием и целью говорящего, представляет собой одно из высших языковых умений, владение которым позволяло бы строить относительно данной языковой личности самые высокие ожидания: по поводу рассуждающей и рефлектирующей силы его интеллекта, работы воображения, глубины и значимости этических переживаний, степени эстетизации речевых поступков и т.д. Однако дискурс Шохова оказывается очень беден "видами словесности": по сути дела

здесь представлены лишь связный рассказ-описание разного объема (причем, как в интериоризованной речи, например, воображаемая картина безрадостного будущего продавщицы обувного магазина, так и во внешней речи), два письма Тамаре Ивановне и клишированные тексты притчи и притчи-загадки. Естественно, что есть монологическая внутренняя речь, но нет публичных речей — выступлений. Что касается менее крупных текстов, т.е. малых видов словесности, занимающих промежуточное положение между собственно текстом и словом, то их в дискурсе Шохова тоже оказывается немного: очень мало, как отмечалось выше, дефиниций, практически нет сентенций и собственных афоризмов (единственный афоризм трижды повторяемый Шоховым: "без дома человек пуст"), полностью отсутствует анекдот, нет языковой игры, шуток, тостов, не используются лозунги, нет стихов. Лишь дважды Шохов вспоминает строчки из песен: "Ах ты речка Ангара, ты зачем течешь туда, где Ледовый окян и студный ураган? Поверни на юг под Сочи, мы довольны будем очень, ГЭС в палатках мы построим, обойдемся без жилстроев..." (N 1, с. 75, см. также N 1, с. 212). Зато поражает обилие в интериоризованной и внешней речи "воспроизводимых" видов словесности — пословиц, поговорок, фразеологизмов, речевых штампов: была бы шея, хомут найдется; за семь тысяч верст киселя хлебать; наводя тень на плетень; мой дом — моя крепость; на чужой лавке мягче спится; береженого бог бережет; хочешь сам жить — дай жить другому; жаль кулаков, да бьют дураков; судьба — это характер; от судьбы не уйдешь; лучше там, где меня нет; живым — живое; дом хозяином хорош и не дом хозяина красит, а хозяин свой дом; печь нам мать родная; не печь кормит, а руки; кабы не клин да мох, так бы и плотник издох; своя избушка — свой простор; мы сами с усами; гладко было на бумаге, да забыли про овраги; информация — мать интуиции (лучшая интуиция — это информация); начин — половина дела; что знаешь, в кармане не носишь; запас, он вниз не тянет; купи хоромину житую, а шубу шитую; палец ему в рот не клади; от добра добра не ищут; деньги к деньгам, а удача, она полосой ходит; мир на слухах стоит; нос держать по ветру; ничего нет постоянного временных сооружений; посеял ветер — пожал бурю; поселенец, как младенец, что видит, то к себе и тащит; неудобно штаны через голову надевать; в лесу человек лесеет, а в людях людеет; печка — венец работе; не хвались печью в нетопленной избе; ешь с голоду, а лоби смолоду; женский ум быстрее мужских дум; много знать — мало жить.

Таких паремиологических высказываний и готовых формул в дискурсе Шохова в несколько раз больше, чем в текстах других действующих лиц. Столь обильное насыщение речи шаблонами, стандартными выражениями и автоматически воспроизводимыми фразами свидетельствует об известной консервативности, стабильности, однолинейности и "однопрограммности" данной языковой личности, а косвенно также о слабо выраженном творческом начале в ее структуре. Последний вывод подтверждается почти полным отсутствием у Шохова того, что мы называем чувством юмора, отсутствием комических столкновений и сближений "несоединимого" (что и лежит в основе

юмористического восприятия) в его дискурсе, неумении адекватно реагировать на подобное сближение. Ср. значимое отсутствие у него реакции на объявление: «У входа в общежитие висело объявление. Шохов остановился и прочел его: "Товарищи, становитесь в ряды участников соревнования за город высокой культуры и быта!" Внизу было дописано: "Внимание! На вахте есть уют, чтобы его получить, нужно сдать вахтеру паспорт!"» (N 1, с. 75). В том, что у читающего это объявление действительно нет комической реакции, убеждает отсутствие обычного для Шохова в других ситуациях рефлектирующего переживания, отраженного в интериоризованной речи.

Эта черта анализируемой языковой личности — слабая творческая активность, — так же как неразвитость готовности к публичной ораторской речи, публичному выступлению, объясняют несостоятельность Шохова в роли лидера населения Вор-городка, роли, на которую он в определенный момент выдвигается силою обстоятельств.

Далее можно было бы проанализировать способность и стремление к эстетизации речевых поступков, но они в очень небольшой степени свойственны Шохову и выражаются, помимо использования пословиц, поговорок и идиоматических выражений, также в употреблении им нескольких готовых метафор и сравнений ("на ней и вызревал, как бурьян на тощей земле", "отрыжка от войны"). Эта эстетическая бедность речи тоже вполне объяснима, так как наш герой (как, впрочем, большинство героев современных романов) не читает художественной литературы, а ведь она-то и является основным источником удовлетворения языковых эстетических потребностей личности.

Вероятно, наиболее поучителен и интересен был бы детальный анализ словаря языковой личности по многим и самым различным характеристикам: количественный и качественный состав лексикона Шохова, тематическая классификация составляющих его единиц, соотношение литературной и диалектной, иностранной и русской лексики, степень использования значений полисемантических слов, синонимическое богатство словаря, взаимодействие и игра значений, интерес к этимологизированию и использование его в риторических или иных целях, собственная неологизация и номинация, деидиоматизация, распределение лексики по стилистическим сферам и др. Рассмотрение одного только лексикона языковой личности с этих позиций могло бы составить тему самостоятельного исследования, поэтому здесь мы ограничимся несколькими качественными оценками.

Наблюдения над словоупотреблением в дискурсе Шохова позволяют выделить ключевые слова-темы по двум, по крайней мере, критериям: частоте употребления и разворачиванию вокруг них в тексте наиболее крупных семанτικο-тематических групп лексики. По этим признакам в дискурсе Шохова на первое место следует поставить ДОМ. Это слово, это понятие, эта тема появляется уже на первых страницах романа и именно в дискурсе Шохова, а затем обростает в его текстах ореолом синонимов, метафорических и метонимических обозна-

чений (домик, дворец, крепость, жилье, изба, избышка, жилище, берлога, избенка, хоромина, избышечка, хата, стены, крыша, кельенка, хоромы), контекстуальных антонимов (общежитие, казенная койка, квартира, комнатенка с подселением, казарма), тематически развивающих идею "дома" слов (печка, запечек, прилавок, сенцы, окошки, чердак, мансарда, крыльцо, двор, сарай, огород, колодец, садик, банька, посуда, кут, пятystenка, вход, дверь, фундамент, срубик, гараж, красный угол, погреб, мебель, стропила, прожилыны, обрешетка, потолок, забор, усадьба) и даже приобретает собственную символику — "Тадж-Махал". Аналогичным образом разворачиваются ключевые для Шоховского дискурса темы — ПЕЧЬ (см. особенно с. 122, 196, 197, 211) и МАСТЕРСТВО (я мастер и ты мастер, мы все можем, все умеем и т.д.). Несколько более ослабленно (с точки зрения полноты развития и лексического наполнения) звучат темы СЕМЬИ и ТОВАРИЩЕСТВА. Все эти понятия (за исключением специфически шоховского ПЕЧЬ) являются сквозными для романа и в большей или меньшей степени разрабатываются в дискурсах основных персонажей — Мурашки, деда Макара, Петрухи, Тамары Ивановны, Галины Андреевны. Они представляют собой по сути дела "идеологемы" — семантико-тематическое обозначение духовных ценностей действующих лиц, и главные коллизии разворачиваются в связи со столкновением разных пониманий героями этих ценностей и их взаимоотношений. В "картине мира" Шохова иерархия идеологем именно такова, как приведено выше, причем доминирующей среди них является "дом", который подчиняет себе все, в том числе "мастерство". Оно становится вспомогательным, начинает играть служебную роль (становится, в частности, для Шохова источником дополнительного, "левого" заработка, чем никогда не станет для Петрухи) по мере того, как "дом" из мечты, из духовной ценности превращается в действительность, приобретает материально-осязаемую вещьность, определяется в реальном доме и усадьбе с забором. Обе эти "идеологемы" — "дом" и "мастерство" характеризуют также духовный мир и Мурашки, и деда Макара, и Петрухи. Но их иерархия оказывается у них (у каждого несколько по-иному) другой. Ведущим у Мурашки всегда остается понятие мастерства ("гордый профессионализм"), которое служит основой "самоуважения" человека. Для деда Макара не чужда идея "дома" (ведь он тоже "приобретает", правда, на совсем иной — коллективной основе — себе дом в Вор-городе), однако определяющим в его картине мира является понятие "внутренней устойчивости" (ср. "самоуважение" Мурашки), противопоставленной внешней, ненадежной, "призрачной защите", какой является "дом" для человека. Понятие "внутренней устойчивости", как доминирующее, оказывается у деда Макара общим с Петрухой. Недаром в сценах "диспута" Шохова с Макаром Ивановичем (с. 144—147), когда начинается уже явное развенчивание шоховской иерархии духовных ценностей, в репликах Макара Ивановича проскальзывают буквальные совпадения с элементами интериоризованной речи Петрухи, относящимися к сцене их первой встречи с Шоховым (с. 83. Ср. также с. 91, где несколько косноязычный Петруха пытается сам сфор-

мулировать свое жизненное кредо, близкое по сути к тому, о чем позже говорит Макар Иванович).

Понимание Шоховым мастерства не как основы самоуважения (Мурашка), внутренней устойчивости (дед Макар), счастья ("... главное — это каждый из нас должен на совесть работать. Здесь мы и приносим людям счастье..." — Петруха), а как источника дополнительного дохода (эволюция языковой личности Шохова в данном направлении иллюстрируется его рассуждениями на с. 91, 119, 145), превращение мастерства в подчиненное понятие в системе его духовных ценностей, естественно, деформирует содержание других "идеологем" героя, накладывает налет сомнения на устойчивость и надежность "семьи", объясняет читателю появляющееся у него чувство неудовлетворенности, недоверия, ненадежности по отношению к Шохову как "товарищу" (неактивная позиция его в деле Мурашки, забытое в кармане письмо с просьбой о помощи от Кучеренко).

Таким образом, как можно заключить из этого довольно беглого рассмотрения языковой личности одного персонажа литературного произведения, переход от описания ее содержания к содержанию и восприятию читателем соответствующего художественного образа представляется не только возможным, но и вполне закономерным.

О МЕСТЕ ЛЕКСИКОНА В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

I

Когда исследователь работает над описанием грамматического строя языка, им движет пафос полноты воссоздаваемой картины, он стремится к тому, чтобы ни одно из поддающихся объяснению явлений не осталось за рамками его работы. И тогда естественно встает вопрос о необходимом и достаточном охвате источников такого описания. Можно ли, например, надеяться достичь полноты представления древнерусской грамматики на основании дошедших до нас памятников письменности XIV в.? Совершенно очевидно, что многие закономерности и явления, характерные для русского языка того периода, не нашли отражения в сохранившихся текстах. Другое дело, что часть особенностей может быть реконструирована с помощью приемов внутренней и внешней типологии, но полноты на чисто описательном уровне мы не достигнем. Иначе обстоит дело с грамматикой синхронного исследователю состояния языка, когда возможности выбора источников безграничны и дополняются его собственными знаниями носителя этого языка. В подобном случае речь должна идти уже об ограничении источников и представительности жанров, стилей и сфер использования языка. Однако по поводу результатов такого достаточно полного или даже исчерпывающе полного описания кажется естественным задать вопрос — с чем мы имеем дело в итоге, действительно ли с системой или же с конгломератом разносистемных, т.е. взаимодополняющих, а не взаимоисключающих, отношений? Аналогично складывается ситуация с описанием лексики языка и ее фиксацией в словарях: имеем ли мы основания предполагать, что на материале достаточно большого по объему дискурса одной индивидуальности мы в состоянии воссоздать лексическую картину соответствующей эпохи, например первой трети XIX в. — на материале пушкинских текстов и его словаря?

Таким образом, первый парадокс наших языковых описаний, парадокс, порождаемый собственно исследовательской позицией, заключается в противоречии между полнотой и системностью. Мы единодушно разрешаем его в пользу полноты, оставляя системность "в уме" как одну из наших лингвистических интенциональностей, в тех случаях, когда создаются целостные описания словаря языка и его грамматики, и наоборот, разрешаем парадокс в пользу системности, числа полноту по ведомству несуществующей потенциальности.

в тех случаях, когда объектом изучения становится какой-то фрагмент словаря или грамматического строя.

Другой парадокс лингвистических представлений об объекте нашей науки также общеизвестен, носит онтологический характер и в разных формулировках высказывался многими исследователями. Всем нам памятна мысль А.А. Шахматова о том, что реальностью обладает только речь индивида, а уже представления о говоре села или некоторой местности оказываются фикцией, научной абстракцией. Суть этого парадокса — в фундаментальном противоречии между отдельностью, дискретностью носителя и актуализованных им фактов языка, с одной стороны, и непрерывностью, континуальностью языкового описания, с другой. В различных отделах языкознания этот парадокс принимает разные обличья, выступая в лингвогеографии, например, в виде антиномии между дискретностью наблюдаемых фактов и соответствующим им точкам в двухмерном пространстве и непрерывностью изоглосс; в психолингвистике парадокс выливается в противоречие между массовидным анкетированием в ассоциативных экспериментах и индивидуальным присвоением их результатов, т.е. их приложимостью к трактовке закономерностей индивидуального ассоциативного поля и лексикона в целом; в грамматических описаниях он обнаруживает себя в противоречии между сбором единичных фактов по разным источникам, их обобщением и постулированием онтологического статуса этих обобщений, их бытия в особом образовании, именуемом литературным языком.

Казалось бы, оба парадокса — парадокс методический, обусловленный позицией исследователя, и парадокс онтологический, связанный с особенностями материала и наблюдений над ним, могут быть сняты, коль скоро объектом изучения становится не "язык в самом себе и для себя", а носитель языка, языковая личность с присвоенной ею языковой системой. При этом мы сосредоточиваемся на объекте, имеющем действительно реальное существование, непрерывность описания не противоречит дискретности источника, поскольку источник-носитель един и непрерывен во времени и пространстве, полнота принципиально может быть гарантирована, если обеспечить условия для фиксации всех текстов, произведенных личностью от момента начала говорения до смерти, а системность, по определению, заложена в самой природе владения человека языком. Однако несмотря на эти предпосылки, несмотря на осознание лингвистикой себя с давних пор как гуманитарной науки, т.е. науки о человеке, описания языка индивида, как и описания языковой личности вообще, создать до сих пор не удалось.

Наиболее продвинутым в этом отношении следует считать, видимо, исследования по языку писателей, в которых автор художественных и публицистических произведений мог бы расцениваться как анализируемая и описываемая языковая личность. Как правило, возможности исследований такого рода исчерпываются решением следующих задач:

— либо это словарь языка писателя (Пушкина, Горького, отдельных произведений Толстого или Мамина-Сибиряка), сделанный по

образцу словаря языка в целом, в лучшем случае с указанием отклонений в семантике и особенностях употребления ряда слов от общелитературного стандарта;

— либо это анализ лексико-стилистических средств, используемых автором для передачи и раскрытия ряда важных общечеловеческих тем, некоторых универсальных идей и конкретных людских характеристик — любви и ненависти, войны и труда, гражданской смелости индивида, противопоставления им себя обществу, коллективу и приспособленчества, подчинения коллективному мнению, конформизма и т.п.;

— либо, наконец, это анализ лексических и грамматических средств в текстах с точки зрения их адекватности художественным задачам автора и с точки зрения их воздейственности на читателя.

Однако это направление изучения не идет полностью в русле развития исследований по языковой личности, не покрывает всего комплекса связанных с ее изучением задач по двум причинам. Во-первых, потому, что писатель выступает в своих произведениях не как единая, целостная языковая личность, а как множество говорящих и понимающих личностей; во-вторых же, потому, что три охарактеризованные линии в изучении языка писателя, при внешней их схожести, соотносимости с соответствующими уровнями организации языковой личности, не направлены на полное их раскрытие, не охватывают всего богатства особенностей и различных сторон языковой личности, описание которой в идеале должно вмещать в себя также и системное представление данного языкового строя целиком, без остатка. Пояним подробнее смысл обеих причин.

По поводу первой из них надо сказать, что мы сталкиваемся здесь с антиномией индивидуального и социального: писатель, воплощая в своих произведениях множественность разных индивидуальностей, заставляет их говорить соответственно общественно-историческим условиям их формирования и воспитания как личностей, соответственно их статусу и занимаемым ими социально-психологическим позициям, приспособляя речевое поведение героев к контекстам их социально-психологического поведения. В этом отношении писатель, когда он говорит через своих героев, уподобляется актеру, разучивающему разные роли и произносящему чужие речи. Вспомним А.Н. Островского, который в самой технике сочинения звучащих текстов персонажей своих пьес как бы материализовал эту одновременную многоликость автора: создавая монологи и диалоги, он расхаживал по кабинету, произнося реплики действующих лиц вслух, стараясь имитировать интонацию и манеру говорения соответствующей личности. На это мое рассуждение о необходимости для автора мультиплицировать в своем творчестве собственную личность, могут, естественно, возразить, что все в таком случае зависит от талантливости писателя и что в невыразительных, серых по языку произведениях речевые портреты персонажей бывают неразличимы. Это возражение в самом деле справедливо, но оно распространяется только на один уровень организации языковой личности, а именно, уровень ассоциативно-семантический, или лек-

сикон, включающий фонд лексических и грамматических средств, использованных личностью при порождении ею достаточно представительного массива текстов, т.е. в дискурсе языковой личности, моделью которого может стать, например, совокупность текстов, продуцированных одним персонажем в художественном произведении. Но помимо этого уровня, воплощенного в лексиконе, в структуре языковой личности различаются еще два — когнитивный, характеризующий свойственную ей картину мира и воплощенный в ее тезаурусе, и мотивационный, охватывающий коммуникативно-деятельностные потребности личности, движущие ею мотивы, установки и цели и резюмирующийся в наборе или сетке связанных с конкретными речевыми актами интенциональностей: надежд, желаний, страхов, любви, ненависти, симпатий и антипатий, сомнений, радостей, досады, раздражения, смущения, благодарности, враждебности, восхищения, уважения, стыда, удовольствия, удивления, веселости, разочарования. И теперь, возвращаясь к аргументу о необходимости для писателя быть талантливым, надо сказать, что даже при всей бездарности последнего его персонажи, не различаясь на уровне лексикона и выражаясь стандартными, взаимозаменяемыми в рамках одного произведения или даже между однотипными произведениями фразами, все же всегда отличимы друг от друга на высших уровнях языковой личности, поскольку у каждого есть собственный взгляд на мир и свое место в нем ("знания о мире") и каждый ведом определенными мотивами и преследует свои личные цели (прагматика). Другое дело, что техника лингвистического анализа слабо пока разработана для решения задачи реконструкции тезауруса личности и ее мотивационной сферы на основании ее дискурса. Но резко возросший интерес лингвистов к проблеме соотношения языковой семантики с знаниями о мире, так же как широкий выход в область прагматики дают серьезные основания для надежды, что этот прорыв в лингвистической технологии будет ликвидирован.

Что касается второй причины, из-за которой традиционное изучение языка писателя не отвечает задачам описания языковой личности, то суть ее сводится к следующему. При сопоставлении трех циклов исследований по языку писателя с тремя уровнями организации языковой личности выявляется принципиальное несовпадение их друг с другом. Так, словарь писателя не соответствует лексикону личности ни по структуре, ни по объему. Если лексикон организован по сетевому принципу, представляет собой ассоциативно-семантическую сеть с включенной в нее и в значительной мере лексикализованной грамматикой, то словарь языка писателя описывается обычно в виде набора использованных в его произведениях упорядоченных по алфавиту слов с иллюстрациями контекстов их употребления и отличается от словаря языка в целом лишь в тех случаях, когда составителям удалось зафиксировать момент индивидуального варьирования автором значения, т.е. выявить элементы субъективного смысла. По объему словарь писателя, естественно превосходит лексикон среднего носителя языка, поскольку, как было показано выше, составляется из множества лексиконов, хотя и имеющих

значительную общую, пересекающуюся часть. Тематически-идейный и образно-изобразительный анализ текста, который в идеале должен воспроизводить картину мира художника (или его тезаурус) в большей степени остается сферой интересов литературоведа, чем лингвиста, и в рамках литературоведческого подхода реализуется лишь частично. Наконец, мотивационный уровень личности, или ее "прагматикон", в его воплощении в текстах, т.е. уровень, соотносящий мотивы, установки, цели, "интенциональности" (перечислены в порядке нисходящей иерархии) личности с речевым поведением и его содержанием, почти совсем выпадает из поля зрения исследователя-лингвиста, распределяясь частично по литературоведческим и литературно-критическим работам (в том, что касается мотивировок), находя отражение в психолингвистических и психологических штудиях (в связи с анализом установок и целей говорящего — слушающего), разрываясь в изучении интенций, связанных с отдельными речевыми актами, и проявляясь частично в анализе коммуникативных ролей и регистров речи в социолингвистике. О воссоздании же в собственно языковедческих описаниях целостного представления "прагматикона" языковой личности говорить, таким образом, пока не приходится.

Подводя итог рассмотрению исследований типа "язык писателя" с точки зрения воспроизведения в них лексикона индивидуальности, мы должны констатировать, что эти исследования не дают представления о лексиконе как таковом. В них, как правило, находят частичное отражение все слои и уровни структуры языковой личности, но, будучи отнесены к писательскому языку, они выступают как характеристики множественных личностей, и поэтому в исследованиях рассматриваемого типа мы имеем дело с моделью языка вообще, языка соответствующей эпохи, но не языка отдельной индивидуальности.

II

Вероятно, лучше всего в такого рода работах изучены лексический и грамматический фонд писателя. Грамматическая часть, которая по аналогии с лексиконом может быть названа грамматиконом, находит отражение в исследованиях типа "синтаксис Толстого", "словотворчество Маяковского" и охватывает набор некоторых шаблонов и стереотипов словосочетаний, излюбленных синтаксических конструкций, приемы словотворчества, новообразования для передачи субъективных смыслов и неожиданных ассоциативных сближений, необычное использование грамматических категорий и т.п. Ср., например, у Ю. Нагибина своеобразный прием оживления, как бы вторичной грамматизации уже давно лексикализованных и окостеневших форм страдательных причастий настоящего времени: "Оттуда двенадцать с небольшим километров пешим ходом до разезда, и рукой подать — Ручьевка, зримая крышами с железнодорожной насыпи..."; "И пока поезд тащился на север по прекрасной среднерусской земле, убранный последним октябрьским золотом, причаливал к ветхим вокзалам старинных русских городов, к пахнущим свежим деревом платформам новых поселений, к печальным полустанкам, обитаемым,

казалось, одним-единственным *человеком* в железнодорожной фуражке, Климов..."¹.

Или мена категории рода в строчке А. Вознесенского из "Кабаньей охоты": "... на блюде *ледяной, саксонской*"; или новообразования *кабарышни, кабабушки* (от ка-баны — там же), продиктованные ситуацией — перевертышем, когда после удачной охоты на охотника кабаны собираются на пиршество.

Грамматикон тесно связан с лексиконом и до известной степени расставлен в нем в силу лексикализации определенной части грамматических явлений, которая на деле распространена, оказывается, значительно шире, чем это принято обычно думать. На это впервые обратил внимание В.В. Виноградов, уделивший большое внимание лексикализации при описании грамматического строя русского языка². Однако идеи В.В. Виноградова не получили должного развития, и, в соответствии со сложившейся впоследствии традицией, лексикализации стало отводиться место некоего экзотического явления, релевантного для отдельных категорий (например, числа и падежа), словообразовательных формантов или застывших фонетических явлений.

В связи с изучением структуры индивидуального лексикона на материале ассоциативных полей русского языка мною было выдвинуто предположение о полной или почти полной лексикализации грамматики в лексиконе. Гипотеза получила частичное подтверждение в приведенном Н.Л. Чулкиной анализе лексикализованных явлений в "Словаре ассоциативных норм русского языка"³. Для верификации гипотезы в сильном ее варианте необходим более обширный материал, который может быть получен по завершении работы над "Ассоциативным тезаурусом русского языка", моделирующим всю ассоциативно-вербальную сеть среднего носителя языка.

Теперь пришло время сделать отступление от обсуждения вопросов структуры собственно лексикона и поговорить о правомерности и целесообразности введения новых и непривычных терминов, таких, как грамматикон и прагматикон. Думается, что использование их может быть оправданным по следующим соображениям. С точки зрения представлений о поуровневой структуре языковой личности (см. схему I), термин прагматикон полностью покрывает высший уровень этой структуры — мотивационный, и одновременно, благодаря своей внутренней форме, включает представление о системной организации составляющих его единиц, отношений и стереотипов (т.е. образцов соединения единиц с помощью типовых отношений). Кроме того, по своей морфемной структуре оба термина хорошо согласуются с термином "лексикон", выполняющим аналогичную роль для первого — ассоциативно-семантического или лексико-грамматического уровня. По аналогии с лексиконом, грамматиконом и прагматиконом сле-

¹ Нагибин Ю. Перекур // Современник. М., 1984. С. 3.

² Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1972.

³ Чулкина Н.Л. Модель лексикона носителя рус.ского языка как способ представления лексической системы. КД. М., 1986.

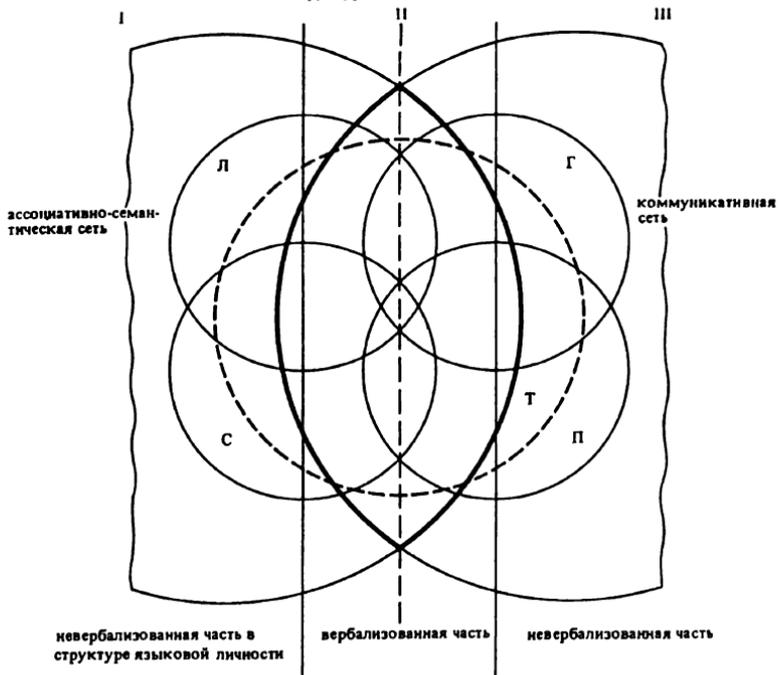
довало бы ввести специальный термин для когнитивного, или тезаурусного, уровня. Естественным здесь казалось бы употреблять термин "семантикон", имея в виду, что тезаурусное представление семантики является наиболее полным и согласующимся с системой знаний о мире. Но это простое решение вызывает сразу же массу вопросов и возражений: ведь семантика, обусловленная и определенным образом ориентированная имеющейся у индивида системой знаний о мире, представлена и в лексиконе, а по мнению некоторых исследователей⁴, семантика в лексиконе как раз и воплощает сам тезаурус личности, т.е. полностью тождественна знаниям о мире. А значит "лексикон" полностью совпадает с "тезаурусом" и предлагаемое в нашей классификации разделение первого и второго уровней в структуре языковой личности (см. схема 1) оказывается нерелевантным. Кроме того, в лексиконе, как сказано выше, "разлита", распределена грамматика, которая по самой своей сути тесным образом связана со знаниями о мире, и тогда говорить о грамматическом фонде, или о "грамматиконе", личности, тоже как будто не имеет смысла. Тем не менее, можно попытаться в самом первом приближении показать схематически взаимоотношения и взаимопроникновение уровней языковой личности, рассмотренных ранее по-разному, как самостоятельные, отдавая себе отчет в том, что подобная схема еще не отражает подлинного взаимодействия уровней, но показывает сложность их отношений и невозможность отражения их в двухмерном (а вероятно, и в трехмерном) пространстве. Для читателя же такая схема прояснит авторское понимание исследуемой ситуации и уточнит объект описания в данном разделе. Начальными буквами Л, Г, С, П обозначены на схеме малые круги, символизирующие соответственно лексикон, грамматикон, семантикон и прагматикон языковой личности. С учетом гипотезы о лексикализации грамматики в лексиконе их пересечение (в частности, кругов Л и Г, но видимо, это в равной мере касается также и взаимопроникновения семантики и прагматики, а значит, и пересечения кругов С и П) должно быть больше, глубже, чем это можно изобразить на схеме без ущерба для наглядности рисунка. Пунктиром (и буквой Т) отмечена сфера знаний о мире, или тезаурус личности. Если схема 1 структуры языковой личности представляет собой ее поуровневый "профиль", то приводимая ниже схема 2 может трактоваться (продолжая использовать термины планиметрии) как "вид сверху" или "план" организации языковой личности.

Ассоциативно-семантическая сеть (большой круг на схеме), которая строится из единиц лексикона (а его составляют не только слова), естественным образом включает его целиком в свою сферу, так же как, впрочем, и семантикон, с ним неразрывно связанный. Коммуникативная же сеть (правый большой круг), узлами которой должны быть единицы прагматикона, охватывает помимо него и грамматикон,

⁴См., например: *Залевская А.А.* Информационный тезаурус человека как база речемыслительной деятельности // *Исследования речевого мышления в психолингвистике.* М., 1985. С. 150—171.

Схема 2

Структура языковой личности



коммуникативно ориентированный по самой своей природе. Тезаурус объемлет значительную часть 4-х основных сфер (т.е. Л, Г, С и П), входящих в структуру языковой личности, тогда как ядро последней образуется пересечением всех без исключения ее составляющих и помечено на схеме жирными линиями.

Сомнительным должно казаться деление структуры на вербализованную и невербализованные части, проходящее по границам ядра языковой личности. В том, что касается прагматикона и грамматикона, скепсис может быть меньше, поскольку тезис о неосознанности индивидуумом ряда собственных мотивов, установок, целей и интенциональностей, точно так же как значительного числа грамматических законов, правил и структур, является бесспорным. Коль скоро они не проходят через сферу индивидуального сознания, они могут оставаться и невербализованными в структуре данной языковой личности. Вербализованная часть тем самым относится к сфере языкового сознания, и представление о нем, его масштабах, способах проявления и распределении по разным сферам и уровням можно получить, изучая именно вербальные его манифестации (ср., например, работы школы О.И. Блиновой на диалектном материале, или оценки речи, вкусовые предпочтения в выборе средств выражения и нормативные рекомендации кодификаторов литературного языка). Что касается вербализованной части прагматикона, то его составляют

стереотипы текстовых преобразований, или способы представления и оперирования прецедентными текстами данной культуры (см. ниже). Но совсем парадоксальной, вероятно, выглядит невербализованная часть собственно лексикона. Тем не менее, здесь нет никакого нон-сенса: в лексиконе говорящего невербализованную часть образуют его пассивный словарь, а также лакуны и "пустые клеточки", которые выявляются в речевых ошибках и оговорках. Единицы пассивного словаря могут активизироваться и выходить в сферу сознания, "вербализоваться" в определенных условиях. Ср.: «То, что творилось у алтаря, появление, входы и уходы одетых в белое прислужников, дьякон, помахивающий кадиллом, шествие молодых священников в парчовых ризах, было ему откуда-то известно, он вспомнил ощущение жесткой золотой нити шитья и вспомнил слово "стихарь" — так называлась какая-то часть их одежды. Еще вспомнилось — клирос... неизвестно откуда всплывали слова, которых он никогда не употреблял, казалось не знал и не мог знать...»⁵

Подобные явления неожиданного "вспоминания" никогда не употребляемого ранее слова известны каждому из собственного опыта. В этом отношении состав лексикона похож на бассейн, в котором происходит постоянное движение слоев воды — одни восходят и перемещаются на поверхность, другие опускаются вниз. Подобная семантическая "конвекция" характеризует, очевидно, и нормальное состояние лексикона личности, в котором одни слова переходят из потенциального словаря — в активный, другие, наоборот, отодвигаются в пассивный запас и могут быть вообще вытеснены из памяти.

Но в общем случае, если мы ставим задачу реконструкции лексикона языковой личности из ее дискурса, мы должны отдавать себе отчет в том, что писатель не может создать полноценный речевой портрет, а значит и художественный образ в целом, опираясь лишь на вербализованную часть лексикона своего персонажа, лишь на те слова, которые он вкладывает в уста своего героя. Писатель с неизбежностью должен использовать и невербализованную часть лексикона, которая в силу особенностей и условностей словесного искусства воспроизводится уже не в речи данного персонажа, а либо в ситуациях слушания и понимания им высказываний собеседников, либо в авторской речи, и может вычлениваться с помощью приема установления так называемых "речевых центров" и "точек зрения" при анализе текста⁶. В качестве примера подобного анализа можно сослаться на предпринятый нами опыт реконструкции языковой личности Шохова в романе А. Приставкина "Городок" (см. выше), когда дискурс действующего лица (а значит, вербализованная часть его лексикона) был существенно расширен за счет авторской речи. Последняя, таким образом, выступает как способ манифестации невербализованных представлений героя, и, изучая только отрезки речи, продуцированной языковой личностью, т.е. непосредственно наблю-

⁵ Гранин Д. Картина. Л.: Сов. писатель. 1981. С. 215.

⁶ Гоготшивили Л.А. Опыт построения теории употребления языка. АКД. М., 1984.

даемую часть ее дискурса и лексикона, оставляя без внимания воспринимаемое и понимаемое ею в ситуациях общения, мы сильно обедняем представление о ней.

Возвращаясь к нашей схеме, надо сказать, что невербализованная часть тезауруса интерпретируется довольно просто, и к ней надо отнести те единицы "промежуточного языка" (см. ниже), которые воплощаются в чувственных образах, двигательных представлениях и схемах действий, сопровождающих речевые акты и весь дискурс говорящего — слушающего.

По поводу свободной, т.е. ни с чем не пересекающейся, и невербализованной части сферы "коммуникативная сеть", можно предположить, что в нее войдут типовые ситуации общения и (неосознаваемые средним носителем) коммуникативные роли личности, число которых, вероятно, соотносимо с числом выполняемых ею социальных ролей и по подсчетам социологов колеблется от 10 до 20. Сложнее интерпретировать свободную, т.е. выходящую за пределы лексикона и семантикона, и тоже невербализованную часть ассоциативно-семантической сети. В нее надо включить, очевидно, эмоционально-эстетические и креативные моменты речемыслительного процесса, как и собственно невербальные, жестово-мимические средства коммуникации.

III

Если продолжить осмысление и интерпретацию схемы 2, возникает сильный соблазн соотнести три зоны — I, II, III, — выделяемые слева направо вертикальными линиями, ограничивающими вербализованную часть, — а) с подсознательной сферой в структуре личности (I), б) ее сознанием (II) и в) сверхсознанием (III)⁷. Не развивая дальше эту аналогию, чтобы не оторваться от предмета наших рассуждений, но приняв возможность такого соотнесения, мы можем интерпретировать незавершенность (на схеме это выглядит как обрыв сфер) ассоциативно-семантической и коммуникативной сетей как "входы" языковой личности, через которые на нее оказывают воздействие ее внутренний, интериоризованный ею языковой опыт и накопленные языковые впечатления, с одной стороны, и внешнее речевое окружение в процессах взаимодействия с ним, с другой.

Что касается досознательного языкового опыта, локализованного на схеме в свободной от пересечений с другими части ассоциативно-семантической сети, он становится обычно объектом изучения при описании поэтического идиолекта, — не всякого идиолекта, а именно поэтического. Попутно хотелось бы отметить, что исследования идиолекта вообще могли бы претендовать на роль таких работ, в которых воссоздается прототип языковой личности. Однако помимо неполноты имеющихся описаний такого рода (неполноты представленности уровней языка и уровней языковой личности), они

⁷Ср.: *Симонов П. В., Ершов П. М.* Темперамент, характер, личность. М., 1984. С. 65—80.

строятся всегда только на материале текстов, где личность выступает продуцентом, но не реципиентом речи, а кроме того, в этих описаниях совершенно не учитывается невербализованная часть дискурса. Таким образом, описание идиолекта еще не есть описание языковой личности. Тем не менее, отдельные сферы ее общей структуры рельефнее выглядят именно при описании идиолекта. Так, ассоциативно-семантическая сеть, которая задает принципы организации и лексикона, и семантикона личности, но по своему объему превосходит и тот, и другой, в отдельных своих чертах и фрагментах проступает довольно отчетливо, например, в анализе поэтического языка А. Вознесенского¹. Автор статьи обращает внимание на то, что основой ассоциаций, прихотливо, как узор, вяжущихся поэтом и навязываемых читателю, часто служат "словозвучия", которые обретают смысл, или вынуждены его обрести, в читательском восприятии именно потому, что они попали в сконструированный поэтом, новый для них ассоциативный ряд: Гойя—горе—голос—голод—горло—грозди—гвозди. «Попробуем еще раз вслушаться в "Строки". Ведь они буквально пронизаны тревожным звучанием — Чу! Не будет преувеличением сказать, что все стихотворение выросло из строки "чую Кучума"; и поэт разрабатывает вариации этого первичного словозвучия, ассоциативно осмысливая все попутные отпочкования (сочетание "чело — число" — одно из таких отпочкований, не более, но и не менее). Поэтому, например, бесполезно указывать на слишком вольное обращение автора с известными фактами... Не скажу, что к этому и сводится поэзия Вознесенского. Но, пожалуй, структура зарождающейся вещи и природа тяги к ее воплощению в слове действительно таковы... Обостренное звуковое восприятие всего, что трогает поэта: первичное зерно словозвучия или образа на скрещении путей окружающего мира и поисков настроенной души, искра, высекаемая находкой еще на "доразумном" уровне, и импульсивное, ассоциативное осмысление этого уже прорастающего зерна, — в погоне за проносающимися созвучиями и образами. И, по-видимому, почти никакой потребности в предвосхищении общего смысла нарождающейся вещи»².

Исследователь воспроизводит креативные моменты в процессе порождения текста и обнажает фрагменты ассоциативной сети, составляющей "скелет" того или иного стихотворения. Правда, не будучи психолингвистом, В. Барлас подчеркивает только прихотливость и случайность ассоциативных сцеплений слов и образов, относя их на счет творческой индивидуальности поэта, хотя на самом деле, не имея эти сцепления универсальной основы, они не могли бы быть восприняты читателем. Они индивидуальны в своей конкретности, но универсальны как принцип организации самой сети, в основе которой в норме, в усредненном ее варианте лежат не только смысловые сближения, но звуковое подобие и сходство, образность, связанная с отражением определенных (типовых или предпочитаемых, излюб-

¹ Барлас В. Ассоциативный поиск // Новый мир. 1986. № 7.

² Там же. С. 231, 232.

ленных) ситуаций, и даже грамматические связи и закономерности. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в ассоциативных экспериментах примерно в 25% анкет встречается звуковое уподобление реакции стимулу, простейшим из которых является рифма. И то, что зарождение звуковых и зрительных образов, служащих той куколкой, из которой вырастает бабочка стихотворения, автор статьи относит к "доразумному" уровню, на наш взгляд, хорошо согласуется с выделением трех зон на схеме и отнесением большей части ассоциативно-семантической сети к зоне подсознательного. «В сущности, — пишет исследователь, — он (поэт — Ю.К.) в чем-то возвращает нас к той изначальной, не обремененной условностями природе искусства, когда оно еще представляло непосредственную импровизацию и выражало правду некоторого мгновенного эмоционального состояния, настойчиво требующего выхода... "Доразумная" стихия глубинных импульсов и звучаний не только непосредственно впечатлена здесь в слове, но и как-то соотнесена с общественно значимым восприятием окружающего мира. А самоотдача потоку случайных ассоциаций — скорее всего не просто внутренняя потребность поэта, но и единственная возможность чего-то достичь в этом направлении»¹⁰. Здесь В. Барласу в его осмыслении и анализе идиолекта А. Вознесенского удается по сути дела показать как творческий момент, характеризующий создание поэтической вещи (а с точки зрения лингвиста — просто некоторого текста), подобно вспышке "высвечивает" тот или иной участок ассоциативно-семантической сети, обнажая глубинные, "доразумные", или подсознательные, основы взаимоотношений языка и мира. Но если в поэзии мы можем наблюдать проявления этой сети в свете мгновенного озарения, вспышки, глубинного импульса, то выявление отдельных ее участков в прозе, прозаических художественных текстах достигается как бы благодаря постоянно льющему свету прожектору, луч которого направляется идеей художника, значимым переживанием, внушаемым его картиной мира, его тезаурусом, который значительной своей частью относится к сфере осознаваемого, сфере сознания. Это фактически подтверждается соответствующими исследованиями творчества Толстого¹¹ и Достоевского¹², где, например, в последнем из них автор противопоставляет один и тот же участок ассоциативно-семантической сети, связанный с пониманием идеи "красоты", разными "лагерями" действующих лиц: для одних красота — это *смирение, откровение, гармония, бог*, тогда как для других — *загадка, секрет, сладострастие, черт*.

Сами по себе подобные группировки слов, эти концентрированные переплетения ассоциативно-семантической сети никакой особой роли в произведении не играют. Их назначение состоит в том, чтобы

¹⁰ Там же. С. 233, 234.

¹¹ Савранский И.Л. Роль ассоциативности в словесном искусстве. АКД. М.: изд. МГУ, 1970.

¹² Эноев Н.И. Семантические поля и семантическая многоплановость (на материале поздних произведений Ф.М. Достоевского). АКД. Алма-Ата, 1980.

подвести читателя к пониманию взаимосвязи, иерархии понятий в тезаурусе героя, а также уяснить его цели и мотивировки действий. Тезаурус и прагматикон — это то, что в конечном счете интересует читателя, а субъективное "ощущение", конденсация смыслов в пределах ассоциативно-семантической сети как раз и очерчивает определенные узловые точки системы, актуализируемые в данном тезаурусе и прагматиконе. Причем в силу особенностей положения того и другого в структуре языковой личности, тезаурус выявляется главным образом в процессах восприятия и понимания ею текстов других персонажей, а прагматикон — в процессах говорения, т.е. в ее дискурсе (в узком смысле слова). Цель писателя, таким образом, заключается в том, чтобы воссоздать тезаурус и прагматикон персонажа, используя для этого лексикон, семантикон и грамматикон действующего лица. Конечно, мы не должны забывать при этом, что прагматикон складывается не только из вербализованных явлений, т.е. речевых поступков героя, но и из его реальных действий, что его формируют и слово, и дело. Однако при анализе функционирования языковой личности на первый план выдвигается вербализованная часть прагматикона. Последний составляет глубокий слой в организации языковой личности (ср. схемы 1 и 2, где прагматикон занимает самый нижележащий уровень), тогда как поверхностный принадлежит лексикону.

Из этих рассуждений следуют по меньшей мере два вывода. Во-первых, лексикон сам по себе играет вспомогательную роль в воссоздании особенностей той или иной языковой личности. Представленный в виде инвентаря использованных персонажем единиц, он мало что дает для ее характеристики, хотя кое-что безусловно позволяет прояснить. Например, с большой долей уверенности можно предположить, что один и тот же лексикон принципиально не может обслуживать разные тезаурусы. Проверка этого предположения сделана ниже. Поэтому более эффективным представляется исследование лексикона в его функционировании, т.е. рассмотрение его в связи со всем дискурсом данной языковой личности (см. след. раздел). Во-вторых, становится совершенно очевидной условность вычленения отдельно лексикона как такового, в отрыве от других составляющих структуры языковой личности. Плоскостное изображение лексикона и его взаимоотношений с другими компонентами структуры языковой личности не должно оставлять впечатления, будто пересечениями окружностей эта связь исчерпывается. Схема имеет третье измерение — "в глубину", а изображенные в плане в виде окружностей компоненты располагаются на самом деле один под другим и пересекаются также в третьем измерении. То, что лексикон в сильной степени пересекается с тезаурусом, не вызывает сомнений, и центрами субъективных конденсатов смысла, указывающих на соответствующие узлы в тезаурусе, служат и концептуальные категории, семантические и тематические зоны, также как и многие грамматические явления. Это легко показать даже на отдельно взятой анкете из материалов массового психолингвистического эксперимента, ориентированного на построение ассо-

циативного тезауруса русского языка¹³; тем более отчетливо выделяются аналогичные зоны при анализе более обширных данных из "Словаря ассоциативных норм русского языка" под редакцией А.Н. Леонтьева¹⁴. Возьмем в качестве примера случайным образом выбранную анкету N 1183. Слева напечатан стимул, справа — реакция; нумерация пар, которая в анкете отсутствует, дана здесь для удобства комментирования; большими буквами обозначена зона на схеме 2, к которой относится связь в соответствующей паре: С — семантикон, Г — грамматикон, Т — тематическая область, или типовая ситуация (тезаурус), П — прагматикон; если символов несколько, то первым стоит символ, обозначающий наиболее сильную, наиболее вероятную связь в паре.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. тащить — тянуть С | 34. квадрат — куб С |
| 2. прошу — отдал Т | 35. жизнь — смерть С |
| 3. литература — прокуратура Г | 36. обольстить — отнять С |
| 4. обыденный — большой С | 37. смотрела — на него Г (Т) |
| 5. двигать — стул Г (Т) | 38. финальный — матч Г (Т) |
| 6. попросил — отдать Т | 39. надо — нужно С |
| 7. решите — спешите Г | 40. ногу — руку С |
| 8. ездить — сидеть С | 41. хлеб — соль Г (Т) |
| 9. носами — сами Г | 42. попросим — спросим Г |
| 10. прививка — отлив Г | 43. стена — пол С (Т) |
| 11. привозить — отвозить С (Г) | 44. смотрите — видите С |
| 12. взять — отнять С | 45. полка — стол С (Т) |
| 13. и — да С (Г) | 46. цветок — лепесток С (Г) |
| 14. жажда — дождь Г (С) | 47. песню — петь Г |
| 15. кровь — пить Г (Т) | 48. вы — мы С (Г) |
| 16. положить — отложить Г | 49. ноге — руке С |
| 17. изменить — переключить С | 50. семя — племя Г |
| 18. женщинам — мужчинам С | 51. промах — отмашка Г |
| 19. магазинов — универмагов С | 52. везти — снести С (Г) |
| 20. важнейший — сильнейший Г (С) | 53. зеленый — желтый С (Т) |
| 21. глубокий — далекий С | 54. враки — драки Г |
| 22. товарищ — друг С | 55. делаем — крутим С (Т) |
| 23. неправда — ложь С | 56. охота — ружье С (Т) |
| 24. но — все-таки С (Г) | 57. колхозами — машины Т |
| 25. заменить — переменить Г (С) | 58. воздухом — дышать Г |
| 26. думаете — мечтаете С | 59. длиннее — короче С |
| 27. гость — кость Г | 60. шероховатый — гладкий С |
| 28. ложь — рожь Г | 61. пауки — сеть С (Т) |
| 29. воздух — душистый Г (С) | 62. близко — далеко С |
| 30. воздуху — плывет Г | 63. о девушках — о них Г |
| 31. бездельник — сидельник Г | 64. мальчикам — девочкам С |
| 32. сплетни — бабки Т | 65. балбес — бывалый П |
| 33. о человеке — петь Г | 66. сказать — рассказать Г |

¹³ Работа над этим тезаурусом ведется Институтом русского языка совместно с Институтом языкознания АН СССР.

¹⁴ Чулкина Н.Л. Указ. соч.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 67. вешний — вода П (Т) | 84. нравиться — всем Г |
| 68. видим — смотрим С | 85. лицо — гладкое Г (П) |
| 69. скорлупа — сердцевина С | 86. покупать — все Г |
| 70. мужьями — женами С | 87. человеку — и гражданину Г (Т, П) |
| 71. успеете — не успеете Г | 88. член — общества Г |
| 72. чаю — с сахаром Т (Г) | 89. интереснее — чем раньше Т |
| 73. их — нам Г | 90. показывать — фильм Г |
| 74. стояли — сидели С | 91. появимся — приведение Т |
| 75. о науках — об искусстве С | 92. культура — Востока Г (П) |
| 76. выбор — дар П (?), Г (?), Т (?) | 93. родной — дом Г |
| 77. больной — седой Т (Г) | 94. сыр — плавленный Г (Т) |
| 78. метелица — закрутила Г (С) | 95. думал — пройдет Т |
| 79. волос — нет Г (Т) | 96. удовольствие — полное Г |
| 80. стоила — дорого Г | 97. небо — голубое Г |
| 81. ждать — пождать Г | 98. свой — твой С |
| 82. транспорт — не ходит Г (Т) | 99. пальцу — на ноге Г (Т) |
| 83. чувствовать — видеть С | 100. встретить — ее Г |

Таким образом, если считать, что в анкете представлен вербализованный фрагмент лексикона (а у нас, согласно развиваемым здесь идеям, есть все основания так считать), то отнесение каждой из пар к определенной сфере в структуре языковой личности как раз и показывает пересечение лексикона с этой сферой или сферами. В силу индивидуальных особенностей данного испытуемого (муж., 21 год, биолог) почти все его реакции равномерно распределяются между семантиконом (41) и грамматиконом (48), хотя такое распределение, может быть, и не вполне типично. А если учесть, что во всех без исключения случаях единичная помета С в приведенной анкете с неизбежностью предполагает и наличие в данной паре, кроме семантического, еще и грамматического отношения, т.е. требует включения ее также и в грамматикон¹⁵, то характеристика заполнявшего анкету будет вполне определенной: в его лексиконе преобладают не семантико-парадигматические (тезаурусные) связи, а грамматико-синтаксические и ситуативно-тематические связи, основанные на апеллировании к прецедентам, стереотипам употребления, а не к системе. Таким образом, тезаурус данного испытуемого (см. схему 2) не вполне сформирован и слабо выражен в его лексиконе, а последний — в сильной степени грамматикализован. Тезаурусные отношения выявляются здесь отчасти в семантической сфере, особенно в случаях отражения гиперо-гипонимических (19. магазинов — универмагов), видео-видовых (34. квадрат — куб) связей, синонимии (23. неправда — ложь), квазисинонимии (17. изменить — переключить), антонимии (35. жизнь — смерть), квазиантонимии (69. скорлупа — сердцевина, 74. стояли — сидели), связи части и целого

¹⁵Это проявляется, в частности, в оформлении испытуемым семантической реакции той же частью речи, что и стимул (ср. 1. тащить — тянуть, 22. товарищ — друг, 60. шероховатый — гладкий, 98. свой — твой), той же грамматической категорией (59. короче — длиннее, 20. важнейший — сильнейший), той же грамматической формой (19. магазинов — универмагов, 75. о науках — об искусстве, 44. смотрите — видите, 49. ноге — руке).

(46. цветок — лепесток, 99. палец — на ноге), а также в тематико-ситуативной сфере (56. охота — ружье, 61. пауки — сеть и т.п.). Этим в принципе не исчерпывается представленность тезаурусных связей в ассоциативном поле или шире — в ассоциативно-семантической сети. Как показывает, в частности, прочтение других анкет, у некоторых испытуемых могут быть усилены тематико-ситуативные связи, у других преобладающими оказываются вербально-фиксированные образы — зрительные, слуховые, двигательные. Все это элементы тезауруса, проступающие на "поверхности" лексикона и структурно организованные в виде ассоциативно-семантической сети.

Что касается собственно грамматикона, то он представлен в рассматриваемом фрагменте лексикона довольно разнообразно и, как было сказано, весьма широко. Прежде всего он выявляется в "модели двух слов" (Н.И. Жинкин), демонстрируя разнообразные синтактико-морфологические связи единиц:

- согласование (29. воздух — душистый, 78. метелица — закрутила),
- управление (30. воздуху — плывет, 33. о человеке — петь, 37. смотря — на него. 84 нравиться — всем, 100. встретить — ее).
- примыкание (72. чаю — с сахаром, 80. стоила — дорого),
- переходность (5. двигать — стул, 86. покупать — все),
- атрибуция (88. член — общества, 94. сыр — плавленый, 97. небо — голубое),
- предикация (15. кровь — пить, 47. песню — петь, 58. воздухом — дышать),
- отрицание (71. успеете — не успеете),
- построение определительных словосочетаний (93. родной — дом),
- ядерные структуры (78. метелица — закрутила, 82. транспорт — не ходит, 79. волос — нет),
- катафорика (63. о девушках — о них),
- следы пропозиции (57. колхозами — машины, т.е. либо получены, либо покупаются и т.п.),
- компрессированный гипотаксис (95. думал — пройдет),
- сжатое (оценочное) суждение (89. интереснее — чем раньше).

Кроме "модели двух слов" в рассматриваемом лексиконе представлены так или иначе грамматические отношения всех строевых уровней:

- фонетические созвучия (14. жажда — дождь),
- фонетико-морфологические совпадения концов слов, т.е. рифма (3. литература — прокуратура, 7. решите — спешите, 9. носами — сами, 27. гость — кость, 28. ложь — рожь, 31. бездельник — сидельник, 54. враки — драки),
- морфолого-словообразовательное варьирование начала слова с помощью приставок (10. прививка — отлив, 11. привозить — отвозить, 25. заменить — переменить, 42. попросим — спросим, 66. сказать — расказать),
- префиксально-суффиксальные словообразовательные отношения (51. промах — отмашка),
- парадигматика морфологических классов (48. вы — мы, 73. их — нам, 98. свой — твой),

— объединение слов по общности словоизменительной парадигмы (50. семья — племя),

— вариативное выражение модальности (39. надо — нужно),

— союзы (13. и — да).

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие прагматического аспекта среди всего многообразия связей слов в анализируемом фрагменте лексикона, хотя определенные следы его пересечения с прагматиком испытуемого все же можно заметить. Отнесем к прагматикону все случаи текстовых преобразований, т.е. оперирования целыми текстами как знаками с целью усиления аргументации собственных мотивировок и интенций, придания большей убедительности и ответственности своим оценкам, как и вынесение самих эмоционально-окрашенных оценок, наконец, с целью расширения собственной референтной группы, апеллирование к которой, по мнению данной личности, увеличивает авторитетность ее высказываний. Естественно, что все эти цели обнаруживаются лишь в дискурсе и не могут быть выявлены в ассоциативном эксперименте. Тем не менее, следы обращения к прецедентным текстам как одного из способов текстовых преобразований и попыток субъективных оценок тех или иных явлений в анкете можно наблюдать. Так, в паре 65. балбес — бывалый отражается адресация к известным комическим фильмам, где действующими лицами являются стереотипные маски, созданные популярными киноактерами Никулиным и Моргуновым. Пара 67. вешний — вода может трактоваться как отсылка к известному произведению Тургенева, а в паре 85. лицо — гладкое можно увидеть проявление личностного эмоционально-негативного отношения к обладателю физиономии, оцениваемой таким эпитетом. Пара 87. человеку — и гражданину прочитывается как реминисценция надписи на памятнике или посвящения в стихотворении, а пара 92. культура — Востока соответствует названию книги или музея в Москве, обозначая одновременно крупный философско-эстетический феномен. Этими случаями в данной анкете исчерпывается непосредственная апелляция к прагматикону, которая в других анкетах может быть представлена также цитацией, ономастикомом и пр.

Наконец, здесь встречаются две реакции, интерпретация которых может показаться спорной и которые обычно квалифицируются как относящиеся к зоне субъективных смыслов испытуемых: это пары 4. обиденный — большой и 76. выбор — дар. Что касается первой, то подсказку для ее понимания мы находим в другой анкете той же группы испытуемых: обиденный — стол. Дело в том, что возраст 21 год — это возраст неполного формирования языковой личности, когда она еще не достигает лексического и грамматического "многознания" (Г.И. Богин), и поэтому слово "обиденный" было воспринято испытуемым как ошибочное, как слово с опечаткой, что и вызвало стандартную реакцию "стол". Соответствующим, очевидно, было восприятие и нашего испытуемого, для которого естественным показалось характеризовать "обеденный стол" как большой. Сложнее объяснить второй случай — выбор — дар. Его можно трактовать либо как противопоставление названий двух романов — Бондарева

и Набокова, и тогда относить к прагматикону данной языковой личности; либо видеть здесь тривиальное противопоставление по созвучию концовок двух имен существительных, и тогда связывать их отношение с грамматиконем; либо, наконец, квалифицировать как отражение типовой ситуации "дать нечто на выбор", и тогда локализовать эту связь в тезаурусе испытуемого. Любая из этих интерпретаций представляется равно обоснованной.

Итак, рассмотрение небольшого фрагмента лексикона индивидуальности, представленного в случайно выбранной анкете массового ассоциативного эксперимента, позволило показать исключительную сложность пересечений и глубинных переплетений всех составляющих в структуре языковой личности. Фактически можно утверждать, что ни одна из единиц, традиционно относимых к лексическому фонду (языка ли, личности ли — это все равно), не имеет однозначной приписки, скажем, только к тезаурусу, или только к семантикону и т.д. Каждая единица оказывается маркированной как минимум тремя индексами, а в максимуме — всеми пятью, т.е. Л, Г, С, П и Т. Эта множественность оснований ассоциирования открывается и при анализе отдельной анкеты, и при анализе поля в ассоциативном словаре, и при подобном рассмотрении фрагмента ассоциативного тезауруса. Она проявляется, в частности, также в мельчайшей "клеточке" классификационной структуры, и ее можно обнаружить в любом пункте как будто бы до конца доведенной классификации. Ср., например, классификацию "прочих" грамматических отношений, не вошедших в "модели двух слов" (стр. 100). К любому из выделенных здесь оснований можно добавить как минимум еще одно, как правило, семантическое, будь то пара жажда — дождь, бездельник — сидельник или семя — племя.

Эта особенность в организации лексикона позволяет говорить о специфической закономерности, свойственной всей ассоциативно-семантической сети, — о законе избыточности связей двух любых коррелирующих в ней единиц: если связь имеет место, если она реальна, то она не единична, не однопризнакова, а поддерживается несколькими другими признаками, или основаниями. Эта закономерность, безусловно, связана с избыточностью языка, избыточностью текста, являясь либо следствием последней, либо, наоборот, ее первопричиной.

СПОСОБЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНА И ГРАММАТИКОНА

Computo ergo cogito

I

После проведенных рассуждений о месте лексикона в структуре языковой личности становится ясно, что для его характеристики существенны оба параметра — и состав, и структура. Оказывается, воссоздание того и другого одновременно представляет собой довольно сложную задачу. Принципиально можно считать установлен-

ным, что лексикон организован по сетевому принципу, т.е. основа его структуры задается ассоциативно-семантической сетью. Практика исследований в этой области показывает, что последнюю можно строить двумя способами: либо на основе прямого ассоциативного эксперимента, либо по итогам анализа представительного массива произведенных личностью текстов. На первом пути мы имеем, с одной стороны, тонкие наблюдения над особенностями взаимосвязей субъективных смыслов в ограниченном пространстве какого-то небольшого фрагмента индивидуальной ассоциативно-семантической сети. Это безусловно интересное и полезное направление, которое можно назвать дифференциальным, поскольку в его реализации исследователь исходит из того, что основная часть ассоциативно-семантической сети известна, как бы заранее задана, а цель состоит в выявлении отклонений от нее, в описании дифференцирующих индивидуальных признаков и "возмущений", вносимых аффективно-волевыми факторами и ситуативной установкой момента¹⁶. Таким образом, ценность этого подхода для нас — чисто методическая, поскольку известным здесь полагается как раз то, что в нашем случае является искомым — конкретный состав всего лексикона и характер организации именно данного состава. С другой стороны, на пути прямого эксперимента мы имеем и иные результаты: когда эксперимент становится массовым, то он позволяет воссоздать как бы само тело ассоциативно-семантической сети, т.е. уже не дифференциальную, а интегральную ее часть. Результаты подобных экспериментов резюмируются ассоциативными словарями¹⁷, или же значительными фрагментами¹⁸, или же, в более полном виде, могут быть объединены в ассоциативном тезаурусе. Однако получение этих преимуществ, т.е. полноты, достигается статистически, а значит, за счет утраты индивидуальности: мы получаем усредненную по структуре и сильно расширенную по составу ассоциативно-семантическую сеть, которая с большой долей условности может быть "интраполирована" (если можно так выразиться), т.е. пересажена в голову индивидуума, отнесена к отдельной личности, и которая являет собой скорее потенциальное поле возможностей, предоставляемых языком среднему носителю и никогда в продуктивной деятельности им полностью не реализуемых.

Естественный ход рассуждений подсказывает далее простой как будто выход из этих противоречий, а именно, соединение дифференциального подхода с интегральным, что могло бы выразиться, например, в построении ассоциативно-семантической сети индивидуальности, или "идиосети", т.е. в прямом воссоздании лексикона отдельно взятой личности. Подобный эксперимент мог бы вылиться в плано-

¹⁶См., например: *Петренко В.Ф.* Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.

¹⁷Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Изд. МГУ, 1977.

¹⁸См., например: *Залевская А.А.* Проблемы организации внутреннего лексикона человека. Калинин, 1977; *Клименко А.П.* Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение. Минск, 1974.

мерное и уже не распределенное в пространстве, а протяженное во времени постоянное и исчерпывающее ассоциирование одной индивидуальностью, причем суммарное число стимулов, используемых в таком эксперименте, необходимо было бы увеличить по сравнению, скажем, с исходной тысячей, положенной в основу упоминавшегося ассоциативного тезауруса русского языка. Однако подобное решение вопроса едва ли может привести к желаемому результату в силу способности человека к обучению: в процессе такого "лонгитюдного" исследования сам испытуемый неизбежно приобретает специфический профессионализм и постепенно его ассоциации начинают утрачивать необходимый в этих случаях спонтанный характер, что приведет к искажению истинной картины — и по составу, и по структуре воссоздаваемой таким образом ассоциативно-семантической сети. Возмущающее влияние условий ассоциативного эксперимента на его результат проявляется даже в стандартных ситуациях классического одноразового анкетирования, когда задача испытуемого состоит в том, чтобы дать ответы лишь на 100 слов-стимулов. Индивидуальная ситуативная установка, особенность эмоционального состояния в момент эксперимента, а также случайное соседство или необычная концентрация слов-стимулов, которые комплектуются в анкету по закону случайных чисел, могут навязывать испытуемому модель поведения при ассоциировании, которая искажает характер отражаемого в эксперименте фрагмента ассоциативно-семантической сети. Все эти искажения, вносимые условиями эксперимента, статистически нейтрализуются за счет его массового масштаба, но на примере отдельных анкет их можно наблюдать довольно отчетливо. Так, из знакомства с первыми партиями анкет по ассоциативному тезаурусу русского языка следует, что, например, слова-стимулы в косвенных формах часто вызывают реакцию в виде клише или же знаков, отражающих типовые ситуации (о товарищах — не спорят, об отцах — не спорят; из анкеты N 832); что косвенные формы одного и того же слова стимулируют очень похожие реакции (просит — вернуть, просить — отдать, просят — вернуть, просила — зайти, попросим — не уходить; из анкеты N 563); что на весь процесс ассоциирования может оказывать влияние какое-то доминирующее в момент заполнения анкеты слово (смотрим — вижу, смотря — видят, кончат — видеть, попросят — увидят, смотреть — видеть, знать — видеть; из анкеты N 832) и т.п.

Короче говоря, надеяться на то, что в прямом эксперименте удастся адекватным образом реконструировать идиосеть и вывести на уровень наблюдения ту вербальную часть ассоциативно-семантической сети, которая совпадает с индивидуальным лексиконом, едва ли возможно. Остается второй путь — выявление лексикона на материале текстов. Опыт работы в этой области показывает, что таким путем надежно восстанавливается только состав идиолексикона, но не его структура. При этом "словарь языка писателя", как было показано выше, не может расцениваться как конструкция, тождественная идиолексикону, поскольку словарь писателя слагается из многоголосья, из множества идиолексиконов. Словарь писа-

теля, безусловно, обладает индивидуальным колоритом, но последний определяется характером отображаемой автором действительности, особенностями избираемой тематики, специфическими чертами персонажей. Художественное открытие в литературе связывается, в частности, с вербализацией писателем таких сфер духовной и материальной жизни, которые до него не были объектом словесного искусства. И в этом смысле словарь Ч. Айтматова, когда он пишет о сборщиках сырья для анаши и о поставщиках наркотиков¹⁹, совершенно не сопоставим со словарем В. Маканина, рассказывающего об экстрасенсе²⁰, или со словарем С. Есина, подвергающего художественному анализу социально-психологическое явление "имитаторства", приспособленчества в искусстве²¹.

Более однородным в этом отношении и в большей степени приближенным к идиолексикону представлялся бы словарь лирической поэзии какого-либо автора, которая как будто должна быть лишена полифонии, присущей прозаическим и драматическим текстам. Однако такой словарь оказывается деформированным спецификой жанра, спецификой самого поэтического языка, а кроме того, он лишен элементов обыденности, обиходного, повседневного речеупотребления, составляющих в идиолексиконе среднего носителя языка заметную часть. Если художественная проза и драматургия даже при отражении повседневных ситуаций и тем не может ограничиться обыденным языком и неизбежно выходит за его рамки — в специальные подъязыки различных отраслей знания и профессиональных сфер деятельности, то поэзия с такой же неизбежностью сторонится обыденного языка, стремясь остаться в рамках особого поэтического мира, обслуживаемого своим особым языком. Эти идеи подтверждаются и соответствующими исследованиями поэтического языка, противопоставленного кодифицированному литературному языку в его письменной и устной формах, разговорной речи и профессиональным подъязыкам²².

Если отвлечься от того колорита, который накладывает на поэтический идиолексикон специфика жанра, то надо признать, что в исследованиях поэтического языка мы довольно близко подошли к реконструкции состава и структуры интересующего нас объекта. Состав индивидуального лексикона поэта представлен обычно словарем-указателем к его произведениям, и формальный анализ словаря может быть проведен по многим и разнообразным параметрам. Так, алфавитно-частотный указатель к произведениям М.Ю. Лермонтова²³, например, дает представление об объеме лексического фонда (он содержит около 15000 разных слов) и об употребительности слова в языке поэта, а также позволяет определить стилистическую окраску любого слова. В сопоставлении с таким же словарем поэзии Пушкина он дает возможность судить "о" "тематических пристраст-

¹⁹ Айтматов Ч. Плаха // Новый мир. 1986. № 6, 8, 9.

²⁰ Маканин В. Предтеча. М.: Сов. писатель, 1983

²¹ Есин С. Имитатор: Записки честолюбивого человека // Новый мир. 1985. № 2.

²² Григорьев В.П. Поэтика слова. М., 1979.

²³ Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 717—762.

тиях эпохи” и личных особенностях того и другого автора. Анализ частотного индекса к словарю²⁴ показывает соотношение стилистических пластов, выявляет ключевые слова, определяющие характерные только для его творчества группы слов и т.п. Распределение лексики поэзии Лермонтова по периодам творчества²⁵ позволяет проследить эволюцию его идиолексикона, выразившуюся в тенденции к сокращению частоты некоторых характерных семантических групп слов. Установив статистическую структуру лексики Лермонтова²⁶, мы можем определить степень лексического разнообразия дискурса поэта, которая оказывается, кстати сказать, не слишком большой: 100 самых частых слов составляют почти половину всех словоупотреблений, а 1000 самых частых слов покрывает более 75% текстов. Здесь перечислены самые общие измерения состава идиолексикона, которые в конкретном анализе, коль скоро такая задача будет поставлена, могут быть значительно расширены. Но даже эти скупые замечания свидетельствуют о возможных путях умозаключений от состава идиолексикона к его структуре, хотя полное представление о последней может быть получено лишь в результате анализа конкорданса к произведениям поэта. При отсутствии конкорданса первое приближение к реконструкции сети ассоциативно-семантических связей в идиолексиконе поэта дает словарь рифм²⁷. По сравнению с обычным лексиконом среднего носителя языка (см. выше анализ анкеты ассоциативного эксперимента) доля рифм-ассоциатов здесь, естественно, во много раз выше, что несколько меняет сам характер ассоциативно-семантической сети. Так, у Лермонтова, по нашим подсчетам, более 17 тыс. рифм (около 35 тыс. стихотворных строк), что при объеме лексикона в 15 тыс. слов на 342 тыс. словоупотреблений говорит о том, что рифмованным является каждое пятое словоупотребление²⁸. Вместе с тем из сопоставления числа рифмованных пар с общим объемом лексики и на основе предварительных подсчетов по словарю рифм можно сделать вывод, что более половины рифмованных пар составляют слова не в нулевой, исходной, а в той или иной косвенной грамматической форме (*батареи — труднее, бастионам — шпионам, алтаря — говоря* и т.п.). С точки зрения отражения грамматикона личности в ее идиолексиконе было бы поучительно проанализировать объем и характер

²⁴Там же. С. 762—763.

²⁵Там же. С. 765—773.

²⁶Там же. С. 773.

²⁷Там же. С. 666—716.

²⁸Встречающиеся в ассоциативном эксперименте анкеты с такой долей (20—25%) рифмованных пар “стимул-реакция”, как правило, считаются “испорченными”, т.е. заполненными с нарушением условий эксперимента, поскольку испытуемый реагирует на стимул как бы уже не спонтанно, а реализуя сознательную установку на рифму. Но вот вопрос, а что если эта установка испытуемого является неосознанной и принципиально доминирующей в его речевом поведении, т.е. присущей ему всегда в силу поэтической склонности, а не оказывается принятой им сиюминутно с целью навязать свою игру и поменяться с экспериментатором ролями, превратив его в испытуемого? Тогда вопрос о выбраковке подобных анкет становится весьма проблематичным.

грамматических данных в словаре рифм, дав одновременно семантический анализ этой части ассоциативной сети в сопоставлении с рифмованными парами в прямой, словарной форме. Но все эти, как и ряд других наблюдений и обобщений на основе перечисленных словарей поэтического идиолексикона, дают возможность восстановить и дать качественную и количественную характеристику структуры лишь незначительной части ассоциативно-семантической идисети. Реконструкция же полной структурной картины требует обращения к конкордансу.

При наличии конкорданса к поэтическим текстам исследователь восстанавливает все синтаксические и парадигматические связи слов-центров семантического притяжения, своеобразных сгустков ассоциативной энергии, образующих узлы идисети. Образец такого анализа находим уже у А.Белого: "Три поэта трояко дробят нам природу; три природы друг с другом враждуют в их творчествах; три картины, три мира, три солнца, три месяца; три воды; троякое представленье о воздухе; и — троякое небо.

Ночное светило у Пушкина — женщина, она, *луна*, враждебно-тревожная *царица ночи* (Геката); мужественно отношение к ней поэта, она тревожит, — он действие ее обращает нам в шутку и называет "*глупой*" луну, заставляет ее сменять "тусклые фонари"; в 85 случаях 70 раз у него светило — *луна*, и 15 раз всего — *месяц* (не правда ли, характерный для тонкого критика штрих?).

Наоборот, Тютчев знает лишь "*месяц*" (почти не знает "*луны*"); он — "*бог*", и он — "*гений*", льющий в душу покой, не тревожащий и усыпляющий душу; женственно отношение к "*месяцу*" души Тютчева; и она миротворно влечется за ним в "*царство теней*".

Пушкинская "*луна*" — в облаках (статистика нам ее рисует такую); то она "*невидимка*", а — то "*отуманена*"; "*бледное пятно*" ее "*струистого круга*" тревожит нас своими "*мутными играми*" (все слова Пушкина!), ее движенья — коварны, летучи, стремительны: "*пробегает*", "*перебегаем*", "*играет*", "*дрожит*", "*скользит*", "*ходит*" (небо "*обходит*") она переменчивым ликом ("*полумесяц*", "*двурогая*", "*серп*", "*полный месяц*").

Нет у Тютчева "*полумесяца*", "*серпа*", есть его дневной лик, "*облак тощий*"; месяц Тютчева неподвижен на небе (и чаще всего на безоблачном), он — "*магический*", "*светозарный*", "*блистающий*"; полный; никогда не бывает "*сребристым*" (частый цвет "*луны*" Пушкина); выдает "*янтарным*": не желтым, не красным; луна Пушкина временами — желта, временами — красна, и — никогда не бела; днем у Тютчева "*месяц*" — "*туманисто-белый*", почти не скрывается с неба; менее он всего — "*невидимка*", он — "*гений*" неба.

Два индивидуальных светила: успокоенно блистающий *гений-месяц*; и бегающая по небу *луна*.

Зрительный образ месяца в поэзии Баратынского и замен, и бледен ("*серебрянен*", как у Пушкина, и, как у Тютчева, "*сладостен*"); индивидуализм его действия — в впечатленьях поэта ("*подлунные впечатленья*"), заставляющих его уверять: месяц "*манит за край земли*". Баратынского месяц — призрачный и "*летейский*": более

всего он — в душе, там он действен; а по небу ходит его слово пустое: *луна, месяц*, разве что "*ясные*".

Три образа: три луны»²⁹.

Отчасти сетевая ассоциативно-семантическая структура восстанавливается и при другом представлении материалов поэтической речи, как это сделано, например, в словаре, подготовленном под руководством В.П. Григорьева³⁰. Но построение сети, т.е. поиски ассоциатов по этим материалам ручным, не автоматическим способом было бы очень трудоемким делом, а кроме того, в результате работы мы получили бы ассоциативную структуру, ориентированную на поэтическое словоупотребление определенной эпохи, т.е. практически на поэтический язык вообще, а не на идиолексикон. Что касается грамматикона поэтической личности, то можно указать только одно исследование, прямым образом нацеленное на этот объект³¹, в других же случаях изучение грамматической стороны поэтического языка связывается с последним как специфическим феноменом, противопоставленным другим разновидностям языка вообще, осуществляется безотносительно к личности и имеет своей задачей выяснение роли грамматики для выполнения специфически поэтической функции³².

Подводя итог рассмотрению двух путей реконструкции лексикона — прямого, т.е. на основе ассоциативного эксперимента, и непрямого, в результате анализа произведенных личностью текстов, т.е. на основе ее дискурса, можно сделать два вывода. Во-первых, оба рассмотренных способа находятся в отношении взаимодополнительности друг другу: путем прямого эксперимента выявляется принципиальная структура ассоциативно-семантической сети, тогда как состав лексикона предстает в этом случае как усредненный, деиндивидуализированный; путем анализа дискурса мы с большей степенью точности восстанавливаем состав лексикона, получая минимальные сведения о его устройстве, его конкретной структуре. Во-вторых, признав неадекватным для нашей задачи — реконструкции идиолексикона — путь прямого ассоциативного эксперимента и приняв в качестве исходной позиции для ее решения альтернативную возможность — анализ дискурса личности, мы сталкиваемся с необходимостью дополнить этот анализ приемами построения ассоциативно-семантической сети непосредственно из текста. Но прежде — о подходах к изучению состава лексикона и его оценкам.

II

Объектом анализа избран дискурс главного действующего лица в романе Д. Гранина "Картина" — С.С. Лосева, председателя горисполкома г. Лыкова. О трудностях, связанных с выделением

²⁹ *Белый А.* Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы // Семиотика. М., 1983. С. 552—553.

³⁰ *Поэт и слово. Опыт словаря.* М., 1973.

³¹ *Григорьев В.П.* Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983.

³² См., например: *Ковтунова И.И.* Поэтический синтаксис. М., 1986.

полного дискурса одного персонажа из текста художественного произведения, речь уже шла выше, когда мы рассматривали возможность моделирования языковой личности на материале произведенных ею текстов. Помимо бесспорных случаев отнесения к дискурсу прямой речи и интериоризованной, или внутренней, речи персонажа, было выделено еще три переходных ступени от дискурса персонажа к дискурсу самого автора: это несобственно-прямая речь, внутренний диалог и условно интериоризованная речь героя. Последняя имеет место, когда автор — в целях достижения большего изобразительного эффекта — вербализует зрительные представления действующего лица, но делает это, используя типичный лексикон и грамматикон своего героя. Конечно, далеко не всякий автор опирается на подобную пятиступенчатую схему при построении художественного текста, и способы воплощения дискурса определяются индивидуальным стилем и манерой писателя, теми литературно-художественными приемами, которые он использует в своем произведении. Если вещь написана от первого лица, например, казалось бы, ничто не мешает исследователю весь текст рассматривать как дискурс героя. Однако подобная прямолинейность была бы неверна: мы можем принять такое решение по отношению к роману Р. Киреева "Победитель", и не имеем права так поступить с повестью С. Есина "Имитатор". Хотя последняя и имеет подзаголовок "Записки честолюбивого человека" и тоже написана от первого лица, но голос автора, придающий повести заметные черты публицистичности, здесь настолько силен, что не позволяет отнести весь текст к дискурсу главного персонажа повести. Иногда индивидуальная авторская манера такова, что дискурсы действующих лиц настолько размываются, сливаясь друг с другом и с голосом самого автора, что безоговорочно в них можно включить только прямую речь героев. Таковы, например, особенности индивидуального стиля А. Ананьева: "Он сидел беспокойно, но, куда бы ни поворачивал голову, через минуту опять видел перед собой старую женщину, лицо которой как бы притягивало его; он не знал, что так же, как она в молодости завидовала пышным свадьбам, какой не было у нее самой, завидовала теперь столь же пышным, как ей представлялось, похоронам, каких, она понимала, не будет у нее, но Сергей Иванович чувствовал эти ее восхищение и зависть; он не знал, что главное впечатление производила на нее зятая черной марлей люстра, но, чувствуя передававшееся волнение, обращал внимание именно на темное свечение, которое было необычным и для него и создавало как раз всю атмосферу торжества и значимости похорон; он не знал, что женщина попросилась у Никитишны остаться на ночь, и ждал, когда она встанет и, как и все другие, поклонившись, выйдет за дверь, но она не вставала и не уходила, и Сергей Иванович, помимо всех и без, того тяготивших его мыслей, все время находился в каком-то тревожном возбуждении"³³. В этом отрывке, который, кстати сказать, очень показателен для стиля всего романа,

³³ Ананьев А. Годы без войны. М.: Сов. писатель. М., 1982. С. 68.

пересекаются, на первый взгляд, три дискурса — Сергея Ивановича, старой женщины и автора. И казалось бы, опираясь на методику установления в тексте "точек зрения" (в данном случае трех названных лиц) и выделения соответствующих "речевых центров"⁴, исследователь мог бы "развести" этот отрывок по указанным дискурсам. Однако при более внимательном прочтении становится ясно, что здесь нельзя ограничиться тремя дискурсами: помимо точки зрения автора и точек зрения действующих лиц рядом с этим и как бы над всем этим здесь присутствует еще точка зрения кого-то (наблюдателя, "перехватчика"), который "знает" то, о чем "не знал" Сергей Иванович, "понимает" то, в чем не отдавала себе отчета старая женщина, и соответственно — объясняет все это и автору и читателю. Ср. далее: "Уезжали Коростелевы с Казанского вокзала, вечером. Никто не провожал их. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и Сергей Иванович, жалко и принужденно улыбаясь, говорил по этому поводу, что уезжать в дождь — хорошая примета" (с. 80). В этом отрывке, помимо слов автора-повествователя и несобственно-прямой речи героя, выделяется оценка постороннего как бы лица (в цитате подчеркнуто), наблюдающего сцену ожидания на вокзале со стороны. Конечно, эту оценку можно приписать и автору, но тогда полифоничным становится собственно авторский текст.

Момент публицистичности, перехода на очерковый стиль органически присущ любому художественному произведению, порождается спецификой самого литературного текста и является одним из средств воздействия произведения на адресата. Есть он и в романе Д. Гранина, и это, естественно, затрудняет выделение полного дискурса выбранного нами персонажа. Ср. следующий отрывок:

"Нет, так нельзя! — вдруг сказал Лосев, поднял голову и еще смелее повторил: — Нельзя!

Неважно, пусть все решится, напоследок он выдаст без всякого стеснения. самого-то главного он еще не сказал. Ему не на что рассчитывать, так это и лучше, свободнее.

То, что он не позволял себе в разговорах у Поливанова, и в горисполкоме, и с Анисимовым, все, что скопилось, — все вдруг безудержно хлынуло, понеслось без всякого порядка, и его самого закрутило, повлекло так, что он не слышал себя, только чувствовал, как дрожало в глубине горла. Никогда еще он не произносил таких слов, совершенно непривычных слов для него и для этого кабинета. Когда-то от Тучковой он слышал, что бесполезно передавать картину словами, невозможно было рассказать про то рассветное утро, туман над Плясвой, босые ноги мальчишки-удильщика... Но ему было наплевать, что невозможно, он рассказывал, он видел, как на одутловатом лице Уварова поднялись брови, и не обратил на это внимания, ни на какие движения его лица,

⁴ Гоготшвили Л.А. Опыт построения теории употребления языка. АКД. М., 1984.

он не боялся Уварова, он ничего сейчас не боялся, он взмыл, освобождаясь от своих расчетов и уловок"³⁵.

В этом описании, где присутствует образ автора и потому неизбежен дух "публицистичности", есть сильный элемент кинематографичности и, если бы стояла задача воплотить мизансцену на экране, то она могла бы идти "бессловесно", на одной игре актеров, где пламенно произносимая Лосевым речь (недаром — "никогда еще он не произносил таких слов...") шла бы беззвучно.

Вместе с тем надо сразу сказать, что публицистичность публицистичности рознь, и подлинная художественность требует соединения публицистичности с изобразительностью и образностью, что мы всегда и обнаруживаем у подлинного мастера. Ср. далее как у Гранина получает развитие этот отрывок: "Резиновый моторчик раскручивался, пропеллер вертелся быстрее, быстрее, наступил миг, когда модель надо было отпустить, она оставалась одна в воздухе и летела, летела, а они бежали за ней, подняв головы. Так и у него — слова срывались, и он бежал за ними, поэтому он сравнил талант художника с самолетом; живопись помогает увидеть природу иначе, открывает красоту, как открывается земля с самолета в совершенно иной, беззащитной красоте" и т.д. (с. 187—188).

Если попытаться распределить первый из приведенных отрывков по индивидуальным дискурсам, то мы с легкостью выделим прямую речь и отнесем ее к дискурсу Лосева, а сопровождающие ее слова — к дискурсу автора. Второй абзац, может быть с некоторой натяжкой, квалифицируется как внутренняя речь героя или во всяком случае как условно интериоризованная его речь. А вот что касается последнего абзаца, то в нем настолько тесно переплетены повествовательно-изобразительная с элементами оценки происходящего речь автора, условно интериоризованная речь, а также частично вербализованные автором зрительные образы и другие элементы "промежуточного языка" (о нем см. ниже) Лосева, что отделить одно от другого и от третьего на каких-то объективных основаниях представляется невозможным. То же следует сказать и о втором отрывке, непосредственно примыкающем в тексте к первому, хотя он и совершенно отчетливо заканчивается несобственно-прямой речью персонажа.

В силу этих трудностей для решения нашей задачи мы остановились на самом простом варианте определения границ дискурса: в него были включены лишь те тексты, которые без всякого сомнения принадлежат указанному лицу, а значит, — только прямая речь и внутренняя речь героя. Это решение удобно также и для последующего сравнения дискурсов и лексиконов двух разных персонажей, поскольку ставит их в равные условия: дискурс художника Астахова представлен в романе двумя его письмами Лизе Кислых. Астахов не участвует непосредственно в действии, являясь как бы "заочным", но тем не менее очень важным, действующим лицом — автором

³⁵Гранин Д. Картина. Л.: Сов. писатель. 1981. С. 187 (в дальнейшем ссылки даны на это издание).

"Картины". У него нет внутренних диалогов и нет условно интериоризованной речи, автор не вербализует за него его зрительные, двигательные, слуховые и другие представления, все это он делает "сам". (Естественно, это утверждение надо принимать с оговоркой об условности самого литературно-художественного приема и условности отождествления персонажа произведения с реальной языковой личностью). С учетом этих условностей интимные письма, исполненные в литературно-разговорном жанре, могут быть приравнены к монологу или к внутренней речи героя.

Для оценки идиолексикона была проведена следующая работа. Весь текст так понимаемого дискурса Лосева был введен в ЭВМ и затем преобразован в две формы — сплошного представления (с указанием адреса каждого высказывания в виде номера главы и страницы) и форматного представления, образец которого приводится ниже³⁶.

ФАЙЛ GRAN2

(0):24

(1):

*НУ КОНЕЧНО СМОТРЕТЬ, ВОТ Я И ЗАСМОТРЕЛСЯ. Я ПЛОХО РАЗБИРАЮСЬ М

(2):

ОЖЕТ ВЫ ПОЯСНИТЕ. (1,6) *ТУТ НАПИСАНО "У РЕКИ". А ЧТО ЭТО ЗА РЕКА

(3):

? КАК ЕЕ НАЗВАНИЕ? (1,6) НЕТ УЖ, ВЫ ПОЗВОЛЬТЕ. ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИМЕЕТ.

(4):

МАЛО ЛИ РЕК. ЭТО ЖЕ КОНКРЕТНО СРИСОВАНО. (1,7) *КАК ТАК ПРОСТО.

(5):

ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИЗМЕНИТСЯ. КАК ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ! (1,7) ЗДОРОВО ВЫ РАЗБ

(6):

ИРАЕТЕСЬ. ВСЕ ЖЕ ХОРОШО БЫ ВЫЯСНИТЬ НАЗВАНИЕ. ОБРАЗ ХОТЬ И ОБОБ

(7):

ЩЕННЫЙ, А МЕСТНОСТЬ-ТО МОЖНО ВЕДЬ УТОЧНИТЬ, КАК ПО-ВАШЕМУ? (1,7)*

(8):

КОНЦОВ НЕ НАЙДЕШЬ. БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ НАРОД ЭТИ ХУДОЖНИКИ. (1,7)

(9):

*В ТОМ, ЧТО НЕЗАЧЕМ ЗАШИФРОВЫВАТЬ. (1,7) *НАДО ТОЧНО УКАЗЫВАТЬ В НА

(10):

ЗВАНИИ. (1,7) *И ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ ХОЧУ, РАЗВЕ НАМ РАЗМЕСТИТЬСЯ В ГОС-

(11):

ТИНОМ ДВОРЕ! ПОЛИВАНОВУ ЛЕГКО ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕМУ ЧТО, ЕМУ ЛЮБО-

(12):

ВАТЬСЯ, А ЛЮДЯМ ЖИТЬ НАДО. КУДА МНЕ ИХ ИЗ ДОМОВ УГРОЗЫ РАССЕ-

(13):

ЛЯТЬ? (2,10) *ПОЧЕМУ БЫЛ? (2,11) *ПОНРАВИЛАСЬ ЛИ МНЕ? (2,12) *НЕЗНАЮ. МЕ-

(14):

НЯ ЛИЧНО ТУТ ПРИВЛЕКАЕТ, ЧТО НАШЕ ЗАХОЛУСТЬЕ ОТРАЗИЛИ. (2,12) *НИ-

(15):

ЧЕГО, НИЧЕГО, ПОЖАЛУЙСТА ВЫСКАЗЫВАЙСЯ, МНЕ ИНТЕРЕСНО. (2,12)

(16):

*Я ВЕДЬ, ЛЕША, НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ЗНАЮ, ДА И НЕ ПОНИМАЮ В ЖИВОПИСИ.

(17):

³⁶Программы представления текста и его статистической обработки написаны и реализованы на ЭВМ СМ-4 В.М. Андрущенко.

(2,12) *КОНЕЧНО, Я МОГУ РАЗЛИЧИТЬ, ЕСЛИ ОБОБЩЕННЫЙ ОБРАЗ ИЛИ ФО-
 (18):
 ТОГРАФИЧНОСТЬ. НО ДАЛЬШЕ НЕ БЕРУСЬ, МЫ ЛЮДИ ТЕМНЫЕ, ПРОВИНЦИЯ,
 (19):
 МЫ НА ПЛАКАТАХ ВОСПИТАНЫ, (2,12) *ТЫ, ЛЕША, НАПРАСНО ДЕДА ОСУЖ-
 (20):
 ДАЕШЬ. А ЕСЛИ ЕМУ ПО ДУШЕ ТАКИЕ КАРТИНЫ? НЕЛЬЗЯ ТОЛЬКО СВОЙ ВКУС
 (21):
 ПРИЗНАВАТЬ. ТЫ МНЕ ЛУЧШЕ ОБЪЯСНИ. КАК В АСТАХОВСКОЙ КАРТИНЕ В
 (22):
 СМЫСЛЕ СООТВЕТСТВИЯ НАТУРЕ, ЧТО ЭТО — РЕАЛИЗМ ИЛИ НЕТ? (2,13) *КА-
 (23):
 КНИЕ ЖЕ ВЫ ПАТРИОТЫ, ВНУКУ ДО СИХ ПОР РОДНЫХ МЕСТ НЕ ПОКАЗАЛИ. ДА
 (24):
 И САМИ-ТО, СКОЛЬКО ЛЕТ ПРИГЛАШАЮ ВАС... (2,13)

Отличие последнего в том, что текст формально разбитый на последовательно пронумерованные строки с одинаковым количеством символов, записан в несколько файлов с присвоенными каждому файлу индексом и с разным числом строк в каждом. Такое представление служит целям статистической обработки и облегчает нахождение контекстов каждой словоформы с помощью последующих четырех разных словоуказателей.

Это прежде всего текстоориентированный словоуказатель, играющий вспомогательно-методическую роль в машинном анализе текста:

НУ	DK2:GRAN2/1,1/	НАЗВАНИЕ	DK2:GRAN2/3,10/
КОНЕЧНО	DK2:GRAN2/1,5/	НЕТ	DK2:GRAN2/3,20/
СМОТРЕТЬ	DK2:GRAN2/1,13/	УЖ	DK2:GRAN2/3,30/
ВОТ	DK2:GRAN2/1,23/	ВЫ	DK2:GRAN2/3,34/
Я	DK2:GRAN2/1,27/	ПОЗВОЛЬТЕ	DK2:GRAN2/3,37/
И	DK2:GRAN2/1,29/	ОЧЕНЬ	DK2:GRAN2/3,48/
ЗАСМОТРЕЛ-	DK2:GRAN2/1,31/	ДАЖЕ	DK2:GRAN2/3,54/
СЯ		ИМЕЕТ	DK2:GRAN2/4,1/
Я	DK2:GRAN2/1,44/	МАЛО	DK2:GRAN2/4,2/
ПЛОХО	DK2:GRAN2/1,46/	ЛИ	DK2:GRAN2/4,7/
РАЗБИРАЮСЬ	DK2:GRAN2/1,52/	РЕК	DK2:GRAN2/4,10/
МОЖЕТ	DK2:GRAN2/2,1/	ЭТО	DK2:GRAN2/4,15/
ВЫ	DK2:GRAN2/2,6/	ЖЕ	DK2:GRAN2/4,19/
ПОЯСНИТЕ	DK2:GRAN2/2,9/	КОНКРЕТНО	DK2:GRAN2/4,22/
ТУТ	DK2:GRAN2/2,19/	СРИСОВАНО	DK2:CRAN2/4,32/
НАПИСАНО	DK2:GRAN2/2,29/	КАК	DK2:GRAN2/4,43/
У	DK2:GRAN2/2,38/	ТАК	DK2:GRAN2/4,53/
РЕКИ	DK2:GRAN2/2,41/	ПРОСТО	DK2:GRAN2/4,57/
А	DK2:GRAN2/2,48/	ОЧЕНЬ	DK2:GRAN2/5,1/
ЧТО	DK2:GRAN2/2,50/	ДАЖЕ	DK2:GRAN2/5,7/
ЭТО	DK2:GRAN2/2,54/	ИЗМЕНИТСЯ	DK2:GRAN2/5,12/
ЗА	DK2:GRAN2/2,58/	КАК	DK2:GRAN2/5,23/
РЕКА	DK2:GRAN2/3,1/	ВЫ	DK2:GRAN2/5,27/
КАК	DK2:GRAN2/3,3/	НЕ	DK2:GRAN2/5,30/
ЕЕ	DK2:GRAN2/3,7/	ПОНИМАЕТЕ	DK2:GRAN2/5,33/

Далее был составлен алфавитно-частотный указатель, который содержит сведения об индексе файла, в котором встречается эта словоформа в форматном представлении дискурса и адресе ее в тексте романа (например, GRAN5/3, 37/); об абсолютной частоте словоформы F и коэффициенте ее употребительности D, подсчитанном по формуле $D=1-V/V_{\max}$, где V — коэффициент вариации, колебания частоты.

ОБРАЗЕЦ АЛФАВИТНО-ЧАСТОТНОГО УКАЗАТЕЛЯ СЛОВОФОРМ

КАК-ТО	GRANS/21,39/
CRAN61/24, 24/; GRAN81/1,44/	F=7 D=.5782
F=2 D=.2929	КАКОЙ-НИБУДЬ
КАКАЯ	GRAN81/2,14/
GRAN5/3,37/; GRANX3/11,1/;	F=1 D=.0
GRANX3/60,38/; GRANS/8,25/	КАКОМ
F=4 D=.5046	GRAN7/13,31/; GRAN7/52,28/
КАКИЕ	F=2 D=.2929
GRAN2/22,46/; GRAN81/13,41/;	КАКОМУ
GRANX3/1,17/; GRANS/34,1/	GRAN7/70,1/
F=4 D=.5046	F=1 D=.0
КАКИХ	КАКУЮ
GRANS /57,36/	GRANS4/4,12/
F=1 D=.0	F=1
КАКОВ	КАЛИНИНУ
GRANX3/18,26/	GRAN7/50,36/
F=1 D=.0	F=1 D=.0
КАКОГО	КАМЕНЕВ
GRANX1/56,8/; GRANS/39,11/	GRANX3/38,8/; GRANX8/35,6/
F=2 D=.2929	F=2 D=.2929
КАКОЕ	КАМЕНЕВА
GRAN31/13,34/; GRAN7/10,38/;	GRAN7/25,22/
GRANXO/6,16/; GRANXO/9,1/;	F=1 D=.0
GRANXO/21,9/	КАМЕНЕВЫМ
F=5 D=.4747	GRAN81/19,4/
КАКОЙ	F=1 D=.0
GRAN31/39,11/; GRANXO/2,37/;	КАМНЕМ
GRANX1/66,59/; GRANX3/10,39/;	GRANXO/12,10/
GRANX3/11,14/; GRANX8/9,17/;	F=1 D=.0

КАРМАНЕ
GRANX3/30,19/
F=1 D=.0

КАРТИНА·
GRAN31/14,4/; GRAN5/2,6/;
GRAN5/3,43/; GRAN5/34,1/;
GRAN61/27,1/
F=5 D=.4747

КАРТИНЕ
GRAN2/21,45/; GRANX8/36,23/
F=2 D=.2929

КАРТИНЕ-ТО
GRAN5/34,15/
F=1 D=.0

КАРТИНОЙ
GRAN5/27,29/
F=1 D=.0

КАРТИНУ
GRAN31/49,45/; GRANS/2,14/
F=2 D=.2929

КАРТИНЫ
GRAN2/20,24/; GRAN31/36,53/
GRANS/4,1/
F=3 D=.4253

КАРТИНЫ-ТО
GRAN5/26,36/
F=1 D=.0

КАРТОШКУ
GRANS/43,1/
F=1 D=.0

КАРЬЕРЫ
GRANX8/37,47/
F=1 D=.0

КАТАЛ
GRAN31/23,13/
F=1 D=.0

КАЯТЬСЯ
GRAN7/68,1/; GRANS/21,17/
F=2 D=.2929

КИДАТЬСЯ
GRANXO/12,26/
F=1 D=.0

КИСЛЫХ
GRAN31/18,54/; GRAN7/4,58/
F=2 D=.2929

КИСТЬЮ
GRAN5/32,42/
F=1 D=.0

КЛАДБИЩЕ
GRAN7/6,23/
F=1 D=.0

КЛАНЯТЬСЯ
GRANX3/15,51/
F=1 D=.0

КЛУБ
GRAN7/49,8/
F=1 D=.0

КНИГИ
GRAN7/56,34/; GRAN7/58,34/
F=2 D=.0

Затем были составлены и просчитаны еще два словника — прямой алфавитно-статистический словник, с указанием коэффициента употребительности D, относительной частоты и накопленной частоты каждой словоформы, и статистически упорядоченный словник, где слова представлены по возрастанию их рангового показателя (слева) с приведением в трех колонках справа тех же данных, что и в предыдущем словнике.

ПРЯМОЙ АЛФАВИТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛОВНИК

КАКАЯ	.5046	.0007	.3507	КАКОВ	.0	.0002	.3518
КАКИЕ	.5046	.0007	.3515	КАКОГО	.2929	.0004	.3522
КАКИХ	.0	.0002	.3516	КАКОЕ	.4747	.0009	.3531

КАКОЙ	.5782	.0013	.3543	КНИГИ	.0	.0004	.3617
КАКОЙ-	.0	.0002	.3545	ШТУКА	.0	.0002	.9544
НИБУДЬ				ШТУКИ	.0	.0002	.9546
КАКОМ	.2929	.0004	.3549	ШУМЯТ	.0	.0002	.9548
КАКОМУ	.0	.0002	.3551	ШУСТРЫЕ	.0	.0002	.9550
КАКУЮ	.0	.0002	.3552				
КАЛИНИНУ	.0	.0002	.3554	ШУТ	.0	.0002	.9551
КАМЕНЕВ	.2929	.0004	.3558	ЭДУАРД	.0	.0002	.9553
КАМЕНЕВА	.0	.0002	.3559	ЭКЗЕМПЛЯР	.0	.0002	.9555
КАМЕНЕВЫМ	.0	.0002	.3561	ЭТА	.5046	.0007	.9562
КАМНЕМ	.0	.0002	.3563	ЭТИ	.2929	.0004	.9566
КАРМАНЕ	.0	.0002	.3565	ЭТИМ	.4253	.0005	.9571
КАРТИНА	.4747	.0009	.3574	ЭТИМИ	.0	.0002	.9573
КАРТИНЕ	.2929	.0004	.3577	ЭТО	.8885	.0131	.9704
КАРТИНЕ-ТО	.0	.0002	.3579	ЭТОГО	.5993	.0011	.9715
КАРТИНОЙ	.0	.0002	.3581	ЭТОЙ	.4253	.0005	.9720
КАРТИНУ	.2929	.0004	.3585	ЭТОМ	.4253	.0005	.9726
КАРТИНЫ	.4253	.0005	.3590	ЭТОТ	.5046	.0007	.9733
КАРТИНЫ-ТО	.0	.0002	.3592	ЭТУ	.2929	.0004	.9736
КАРТОШКУ	.0	.0002	.3594	ЭХ	.4253	.0005	.9742
КАРЬЕРЫ	.0	.0002	.3595	ЭШЕЛОНАМ	.0	.0002	.9744
КАТАЛ	.0	.0002	.3597	ЮРИЙ	.6578	.0020	.9765
КАЯТЬСЯ	.2929	.0004	.3601	ЮРИЮ	.0	.0002	.9767
КИДАТЬСЯ	.0	.0002	.3603	ЮРИЯ	.0	.0002	.9769
КИСЛЫХ	.2929	.0004	.3606	Я	.9033	.0210	.9979
КИСТЬЮ	.0	.0002	.3608	Я-ТО	.5046	.0007	.9986
КЛАДБИЩЕ	.0	.0002	.3610	ЯВЛЕНИЕ	.0	.0002	.9988
КЛАНЯТЬСЯ	.0	.0002	.3612	ЯГНЕНКА	.0	.0002	1.0000
КЛУБ	.0	.0002	.3613				

СТАТИСТИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННЫЙ СЛОВНИК

1	НЕ	.9406	.0377	.0377
2	А	.9181	.0181	.0558
3	ЧТО	.9156	.0223	.0781
4	Я	.9033	.0210	.0991
5	И	.8970	.0214	.1204
6	В	.8964	.0167	.1371
7	ВЫ	.8938	.0185	.1556
8	ЭТО	.8885	.0131	.1687
9	ТАК	.8795	.0126	.1813
10	ЖЕ	.8664	.0111	.1924
166.5	ПРАВО	.5046	.0007	.5511
166.5	СКАЗАЛИ	.5046	.0007	.5518
166.5	ТАКАЯ	.5046	.0007	.5525

166.5	ТВОЙ	.5046	.0007	.5532
166.5	ТОВАРИЩ	.5046	.0007	.5539
166.5	ХОТИТЕ	.5046	.0007	.5547
166.5	ХОТЬ	.5046	.0007	.5554
166.5	ЭТА	.5046	.0007	.5561
166.5	ЭТОТ	.5046	.0007	.5568
166.5	Я-ТО	.5046	.0007	.5575
187	СЕРАФИМОВНА	.4768	.0011	.5586
190.5	АХ	.4747	.0009	.5595
190.5	БЫЛИ	.4747	.0009	.5604
190.5	КАКОЕ	.4747	.0009	.5613
190.5	КАРТИНА	.4747	.0009	.5622
190.5	ЛЮДЕЙ	.4747	.0009	.5631
190.5	ЧЕМУ	.4747	.0009	.5640
195	АРКАДИЙ	.4253	.0011	.5651
195	ЕЙ	.4253	.0011	.5661
195	МАТВЕЕВИЧ	.4253	.0011	.5672
239	БОЛЬШЕ	.4253	.0005	.5678
239	БУДУ	.4253	.0005	.5683
239	ВАШЕЙ	.4253	.0005	.5688
239	ВАШИХ	.4253	.0005	.5694
239	ВЕЩИ	.4253	.0005	.5699
239	ВИДИШЬ	.4253	.0005	.5705
239	ВОПРОС	.4253	.0005	.5710
239	ВСЕГДА	.4253	.0005	.5715
239	ГЕОРГИЕВИЧ	.4253	.0005	.5721
239	ДАЛЬШЕ	.4253	.0005	.5726
239	ДЕЛАТЬ	.4253	.0005	.5731
239	ДЕНЕГ	.4253	.0005	.5737
239	ДЕНЬ	.4253	.0005	.5742
239	ДОЛЖНО	.4253	.0005	.5748
239	ДРУГОГО	.4253	.0005	.5753
1344	ШТУКА	.0	.0002	.9977
1344	ШТУКИ	.0	.0002	.9979
1344	ШУМЯТ	.0	.0002	.9981
1344	ШУСТРЫЕ	.0	.0002	.9982
1344	ШУТ	.0	.0002	.9984
1344	ЭДУАРД	.0	.0002	.9986
1344	ЭКЗЕМПЛЯР	.0	.0002	.9988
1344	ЭТИМИ	.0	.0002	.9990
1344	ЭШЕЛОНАМ	.0	.0002	.9991
1344	ЮРИЮ	.0	.0002	.9995
1344	ЮРИЯ	.0	.0002	.9997
1344	ЯВЛЕНИЕ	.0	.0002	.9999
2110	ЯГНЕНКА	.0	.0002	1.0000

В аналогичных формах по всем видам данных (две разновидности текста и 4 типа словника) обработан дискурс Астахова, другого

персонажа романа. Теперь, располагая таким образом препарированным материалом, мы можем строить наши представления о лексиконах соответствующих лиц.

III

Прежде всего об объеме и составе идиолексиконов. В дискурсе Лосева зафиксировано всего словоупотреблений — 5571, которые составились из 2210 разных слов¹⁷. Сравнение верхней части статистически упорядоченного словника с началом частотного словаря русского языка Л.Н. Засориной показывает следующую картину (слева даны самые частотные слова в дискурсе Лосева, справа — порядковый номер этого же слова в ранговой части словаря Л.Н. Засориной):

1) не — 3	8) это — 12
2) а — 10	9) так — 29
3) что — 6	10) же — 31
4) я — 5	11) как — 11
5) и — 2	12) на — 4
6) в — 1	13) все — 25
7) вы — 13	

Из сопоставления видно, что из 13 самых частых слов в лексиконе Лосева только три не входят в первые 13 в словаре Л.Н. Засориной, их порядковый номер в ранговом списке оказывается несколько выше: *все, так, же*. На этом, можно полагать, не кончается корреляция идиолексикона со словарем языка вообще, но эта корреляция, конечно, лишь частичная (о чем — ниже). Статистически лексикон не может быть уподоблен словарю в целом, хотя функционально он сохраняет все его свойства подобно тому, как разбитое на части голографическое изображение какого-либо предмета хранит целостный образ этого предмета в каждом осколке голограммы.

Из общих характеристик рассматриваемого лексикона надо упомянуть долю употребительных слов. К их числу относят те слова, коэффициент употребительности которых $D > 0,5$. В лексиконе Лосева таких слов оказывается 186 (см. фрагмент статистически упорядоченного словника, приведенный выше). Это означает, что 186 слов

¹⁷По условиям эксперимента отдельным "словом" считалась словоформа. Поэтому, если лексема "картина", например, встречается в дискурсе в формах: картина 5 раз, картине 2, картине-то 1, картиной 1, картину 2, картины 3 и картины-то 1 раз, то все они считаются разными "словами". Это допущение не вносит существенной ошибки в статистическую картину в силу "раговорности" всего дискурса, из-за чего собственно знаменательные слова в ранговом списке начинаются приблизительно после 100 номера и их максимальные частоты не превышают десятка, а число слов с частотой > 2 всего 560.

покрывают от 75 до 90% текста. Много это — 186 слов — или мало? Ответ на вопрос зависит от специфики текста. Так, в лексиконе Астахова доля употребительных слов меньше, их всего 145 и они должны покрывать те же 75 — 90% текста, но при этом слова в его ранговом списке начинаются с 34-го номера, а не после сотни, как в лексиконе Лосева. Это имеет свое объяснение: дискурс Астахова (два письма Лизе Кислых) представляет собой монолог, тогда как дискурс Лосева складывается из диалогических реплик и высказываний, самое пространное из которых не превышает десяти коротких предложений. Причем в числе реплик, произносимых Лосевым, очень много вопросительных. Например, в 1-й и 2-й главах Лосев вступает в разговор 17 раз и произносит 34 предложения (в данном случае предложением считается высказывание "от точки до точки", т.е. к отдельным предложениям мы относим и парцелированные их части); среди них 8 вопросительных. В главе 8-й ему принадлежит 25 реплик, составленных из 44 предложений, в числе которых 10 вопросов и т.п. Характер реплик Лосева объясняет, таким образом, высокую частотность в его лексиконе вопросительных слов (*как, почему, кто, чем, зачем, где, когда* и т.п.) и частиц (*же, бы, ну, ли, разве, уж* и т.д.). В свою очередь высокая доля вопросительных предложений обусловлена социальным статусом главного действующего лица — председателя горисполкома, который имеет право и спрашивать, и указывать.

Если обратиться опять-таки к лексикону Астахова, то его объем (2107 разных слов на 4447 словоупотреблений) оказывается очень близок к объему лексикона Лосева (2110 и 5571 соответственно). Эти соотношения позволяют вывести некоторые показатели, формально оценивающие богатство того и другого идиолексикона. Эти показатели названы условно "лексическим богатством" и "лексическим разнообразием". Первый из них вычислялся по формуле $A = V_1 \cdot V/N$, где V — количество разных слов, V_1 — число слов с частотой единица, N — общее число словоупотреблений. "Лексическое богатство" сравниваемых лексиконов таково:

$$A_{\text{Л}} = 580.241; \quad A_{\text{А}} = 786.038$$

Лексическое разнообразие, определяемое формулой $B = \Sigma(1-D)/N$ соответственно равно: $B_{\text{Л}} = 0,888304$; $B_{\text{А}} = 0,913712$.

Значения обоих показателей выше для лексикона Астахова, что, впрочем, интуитивно было ясно, поскольку в его дискурсе то же число слов приходится на меньшее количество словоупотреблений, а это и должно свидетельствовать о большем разнообразии его словаря.

Сплошное пословное сопоставление двух лексиконов обнаруживает высокую степень индивидуализации каждого из них. Так, из 600 первых слов (при сравнении из их числа были исключены местоимения, предлоги, частицы и союзы) в прямом алфавитно-статистическом словнике того и другого лексикона общими оказались только 90 слов, список которых приводится ниже.

<i>базар</i>	вернуться	вспоминать	двор	ждать
<i>белье</i>	вещь	встать	действительно	<i>желать</i>
бог	взять	<i>вывеска</i>	делать	<i>живопись</i>
болсе	<i>взяться</i>	<i>выглядеть</i>	дело	жить
<i>больно</i>	вид	<i>вызвать</i>	деньги	<i>забота</i>
больше	видеть	<i>выиграть</i>	дерево	<i>зависеть</i>
бороться	<i>виноват</i>	выставка	длинный	закон
борьба	<i>висеть</i>	выходить	должен	<i>зал</i>
бояться	<i>вкус</i>	газета	<i>должность</i>	заметить
бросить	власть	<i>герой</i>	дом	заниматься
будущее	внимание	глаз	<i>достойный</i>	<i>заставить</i>
бумаги	<i>возмущаться</i>	<i>глупость</i>	<i>драться</i>	<i>захолустье</i>
быстро	вопрос	говорить	другой	<i>здание</i>
быть	<i>воспоминания</i>	год	думать	земля
<i>важно</i>	<i>восторг</i>	город	<i>дурак</i>	знать
<i>вариант</i>	вполне	готовый	душа	значить
<i>вера</i>	время	дать	<i>единственный</i>	<i>зритель</i>
перить	<i>вроде</i>	два	<i>жалко</i>	<i>идея</i>

Анализ совпавшей части двух лексиконов по частотному словарю русского языка Л.Н. Засориной выявил интересную особенность приведенного списка: две трети его составили слова, входящие в те же первые 600 самых частотных слов русского языка, и лишь 1/3 слов (они выделены курсивом), имеют более низкую частоту у Засориной, но при этом более половины их относятся к первой тысяче, а остальные (не более десятка) входят в 3-4 тыс. самых частотных слов. Из этого можно заключить, что совпадающая часть обоих лексиконов не обусловлена включенностью их носителей в общий сюжет, а просто объясняется принадлежностью этих слов к самой распространенной, ходовой части русской лексики.

Если же теперь сопоставить верхнюю часть статистически упорядоченного словника обоих лексиконов, т.е. выяснить, какие слова оказываются самыми частотными для того и другого дискурсов, а значит, важными для структуры всего лексикона, то мы получим следующую картину. (В таблицу внесены только семантически полнозначные слова с коэффициентом употребительности $D > 0,5$). Из рассмотрения исключены слова, которым по данным словаря Л.Н. Засориной вообще свойственна высокая встречаемость в текстах разных жанров (типа *мочь, хотеть, сказать, говорить, слово, жизнь, смотреть, увидеть*)¹⁸, а также те высокочастотные слова в лексиконе Лосева, появление которых среди употребительных обусловлено чисто "диалогическим" характером его дискурса. В числе последних 1) вводные слова, обороты вежливости — *виноват, спасибо, пожалуйста*; 2) оценочные слова — *хорошо, правильно, лучше*, частота которых обусловлена социальной позицией говорящего и ожиданиями его партнеров; 3) модальные слова, опять-таки связанные с социальным статусом личности — *должен, можно, надо, нельзя, не положено*; 4) обращение — *товарищ*. Рассматриваемые ниже слова

¹⁸ Их статистика оказывается неинформативной, поскольку данные об их частотности мало различаются в двух дискурсах и практически совпадают со средними стандартными величинами по словарю Л.Н. Засориной. Для примера в таблице отставлено слово *говорить*.

Таблица

Дискурс Астахова			Частотный словарь Л. Н. Засориной	Дискурс Лосева		
Слово	Абсолютная частота	Относительная частота	Относительная частота	Слово	Абсолютная частота	Относительная частота
1	2	3	4	5	6	7
1			—	Астахов (в т.ч. астаховской картины)	6 (2)	0,0012 (0,0004)
2 березка	4	0,0008	0,0000170	∅	—	—
3			0,0004298	бояться	7	0,0013
4 вкус	5	0,0011	0,0000530			
4а говорить	13	0,0028	0,0024357	говорить	12	0,0023
5			0,0007601	город	12	0,0022
6 ∅	—	—	0,0000786	добро	4	0,0007
7 дом	24	0,0054	0,0007564	дом	9	0,0017
8			0,0010356	думать	19	0,0034
9 душа	5	0,0010	0,0003559	душа	7	0,0013
10 женщина	4	0,0008	0,0004061	∅	—	—
11 ∅	—	—	—	Камнев	4	0,0008
12 картина	31	0,0069	0,0002452	картина	15	0,0028
13 крыша	4	0,0008	0,0001003	∅	—	—
14 Лиза (в т.ч. Елизавета Авдеевна)	13 (4)	0,0028 (0,0009)	—	∅	—	—
15 лицо	6	0,0013	0,0007052			
16 ∅	—	—	0,0000549	лично	4	0,0007
17 лозунг	5	0,0011	0,0000473	∅	—	—
18 Лосев (в т.ч. Дюген) (в т.ч. Степан Иустинович)	3 (4) (3)	0,0028 (0,0009) (0,0006)	— —			

Таблица (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	
19			0,0015667	люди	9	0,0017	
20			0,0001382	музей	8	0,0016	
21	нарисовать	3	0,0006	0,0000170			
22			0,00091315	народ	7	0,0013	
23	натура	4	0,0008	0,0000360	натура	4	0,0008
24	объяснять	5	0,0010	0,0000549			
25	окно	5	0,0010	0,0004108			
26	φ	—	—	—	Ольга Серафимовна	6	0,0011
27	φ	—	—	—	Пашков	9	0,0016
28	пейзаж	4	0,0008	0,0000218	пейзаж	5	0,0009
29	писать (в т.ч. пишу)	22 (3)	0,0050 (0,0007)	0,0005472	писать (в т.ч. пишу)	9 φ	0,0017 φ
30	платье	5	0,0011	0,0000672			
31	φ	—	—	0,0002234 0,0001070	позволить позволять	6 5	0,0011 0,0010
32	Поливанов	32	0,0071	—	Юрий Емелья- нович (в т.ч. По- ливанов)	20 (7)	0,0038 (0,0014)
33	помнить	7	0,0015	0,0003152			
34			0,0006948	понимать	9	0,0017	
35	почувствовать	4	0,0009	0,0000587	φ	—	—
36	работа	9	0,0019	0,001044	работа	7	0,0013
37	работать	5	0,0011	0,0006305			
38			0,0003777 0,0001003	решить решать	6 3	0,0011 0,0005	
39	φ	—	—	—	Рогинский	6	0,0011
40			0,0000701	совесть	4	0,0007	

Таблица (окончание)

1	2	3	4	5	6	7
41 спрашивать	5	0,0011	0,0002367			
42 стена	7	0,0015	0,0002414	∅	—	—
43 тоска	8	0,0017	0,0000483	∅	—	—
44 ∅	—	—	—	Уваров (в т.ч. Дмитрий Иванович)	12 (4)	0,0022 (0,0007)
45 уступить	5	0,0011	0,0000265	∅	—	—
46 утро	4	0,0008	0,0002840	∅	—	—
47 фигура	4	0,0008	0,0001070	∅	—	—
48 художник	6	0,0012	0,0001410	художник	8	0,0016
49 цвет	4	0,0010	0,0001770	∅	—	—
50 человек	6	0,0013	0,0015875			
51 Яков Иванович	4	0,0009	—	∅	—	—

приведены к исходной форме и упорядочены по алфавиту, и указанные при них абсолютные и относительные частоты представляют собой сумму соответствующих частот всех словоформ данного слова, что делает возможным сравнение этих величин со средними данными по языку в целом, т.е. с данными частотного словаря русского языка.

В таблице мы встречаемся со следующими видами заполнения строк. Во-первых, с ситуацией, когда во всех клеточках таблицы содержатся данные, например, для слова *говорить*. Это означает, что слово встретилось и в дискурсе Лосева, и в дискурсе Астахова, и его частоты указаны в соответствующих графах. Во-вторых, когда заполнена только одна сторона таблицы — либо "астаховская", либо "лосевская", а другая остается "пустой", например для слова *нарисовать*. Такая ситуация означает, что слово обладает повышенной, по сравнению со стандартной, частотой в дискурсе Астахова и очень редко (в данном случае всего один раз) встречается в речи Лосева. Иными словами, пустые клетки здесь могли бы быть заполнены, относительная (0,0002) и абсолютная (1) частоты известны, но тогда утратилась бы наглядность при восприятии всей таблицы, вот почему удобнее оставить соответствующие клетки пустыми. Они свидетельствуют о том, что слово в тексте данного лица встречается, но при этом частота его не показательна, не отличается от

стандартной ни в ту, ни в другую сторону¹⁹. Наконец, третий связан с отсутствием слова в одном из дискурсов при повышенной его частотности в другом. Отсутствие в этих условиях является семантически и прагматически значимым и помечается знаком Ø. Часто эта ситуация распространяется на имена собственные, т.е. на ономастикон соответствующей индивидуальности, очерчивающий состав его референтной (пропоненты) или антиреферентной (оппоненты) группы, например, *Яков Иванович* в дискурсе Астахова или *Каменев* в дискурсе Лосева.

Процекр в клетке означает, что эта клетка принципиально не может быть заполнена, например, при указании частоты по словарю Засориной для имен собственных или при отсутствии соответствующего слова в том или ином лексиконе. После этих предварительных замечаний перейдем к комментированию включенных в таблицу данных.

IV

Надо сразу сказать, что в отрыве от текста вошедшие в таблицу высокочастотные слова в каждом из дискурсов не образуют ярко выраженных семантических объединений и при первом знакомстве с каждой из колонок могут произвести впечатление случайно собранных вместе единиц, никак не характеризующих тот или иной лексикон. Ясность в их семантические отношения внутри колонок и между двумя лексиконами вносит наряду со статистическими показателями обращение к конкордансу. Открывающее список слово *березка*, встретившееся у Астахова с частотой в 50 раз превышающей обычную и отсутствующее в лексиконе Лосева, служит для художника не только символом родины, России, любимой женщины, о чем свидетельствуют приводимые ниже контексты, но и конкретной деталью пейзажа в картине, над которой он работает: Я по-прежнему люблю Добужинского и Бенуа, бывает, им завидую, но для себя судьбы их не мыслю. Вы скажете, — живописцу все равно, где *березки* малевать. Все так, они и в Бургундии те же *березки*, и женщины всюду одинаково хороши. А у нас еще Поливанов попросит флаг на *березку* повесить. Но здешняя *березка* у меня чувство вызывает, я писать ее буду с какой-то нравственной идеей, что-то я через нее объявить желаю тому же Поливанову и супруге его. А в Парижах мне, кроме вас, обращаться не к кому (с. 205). Как деталь родного пейзажа вообще, *березка* объединяется с высокочастотными у Астахова *утро*, *цвет* и низкочастотными — *туман*, *улица*, *Плясва*, *берег*, *восход* (все

¹⁹Здесь надо отметить одну особенность количественного анализа отдельно взятого художественного текста, особенность, проистекающую из свойства, которое я бы назвал "статистической напряженностью". Дело в том, что в силу идейно-эмоциональной нагруженности такого текста, своеобразной доминантной его ориентированности — при естественном ограничении пространства, на котором он развертывается, а значит, и общего числа используемых слов, автору для воплощения его замысла оказывается необходимой повышенной концентрацией даже самых стандартных единиц. Поэтому точка отсчета при сравнении частот употребляемых слов со стандартными несколько сдвигается вверх. Так, в приведенном случае однократное появление слова *нарисовать* в дискурсе Лосева может быть и чисто случайным, и поэтому не принимается во внимание при сравнении, хотя относительная частота его в тексте при этом и выше стандартной.

отсутствуют в лексиконе Лосева) под знаком *натура* (пленер), образуя, так сказать, антураж картины. Причем слово *натура*, с одинаковой, более чем в 20 раз превышающей стандартную частотой встречающееся в обоих дискурсах, в лексиконе художника употребляется только в терминологическом смысле, тогда как у Лосева имеет обыденное значение — "то, что существует в действительности, настоящая, естественная обстановка". Ср. Астахов: Благодаря этому мне в картине многого удалось добиться. Причем на *пленере*, от которого я давно отказался. Работать на *натуре* считалось у нас занятием устарелым... Нет, нет, без *натуры* можно впасть в схематизм, *натура* обогащает (с. 200). Лосев: Тут все сохранилось соответственно *натуре*... (с. 26); Тогда объясни мне, откуда художник ее берет, из себя или же из *натуры*? Потому что если из *натуры*, то пусть мы с тобой красками, кистью не способны передать, но глазом-то можем тоже извлечь, увидеть... (с. 37). Нельзя сказать, что входящие в группу *натура* понятия и явления (березка, утро, свет, цвет, краски, туман, улица, берег, Плясва, восход, роса, солнце) чужды Лосеву, хотя этих слов (за исключением *красками* 1 раз) и нет в его лексиконе. Как зрительные и другого рода представления они проходят через его восприятие во время утренней прогулки на Плясву, но остаются невербализованными в его дискурсе, переданными автором только в условно интериоризованной речи (с. 108, 112—116).

Следующую компактную группу слов, или узел ассоциативно-семантической сети, в лексиконе Астахова составляют превышающие ординарную употребительность *лицо*, *фигура*, *платье* и их варианты (с частотой, соответствующей стандартной) — *физиономия*, *портрет*, *изображение*, *фигурка*, *платьице*, которые объединяются под знаком *Лиза* (Елизавета Авдеевна), поскольку почти во всех контекстах относятся именно к ней. Ср.: Гляжу, готово — песок, сходи, Ваша *фигурка* в том белом *платьице*... Воспоминаниям предаваться не желаю, остерегаюсь расстроить Вас, хотел лишь *платье* напомнить. Не знаю, помнят ли женщины свои *платья*, хотя бы победоносные *платья*? То Ваше *платье* и трава сразу выписались..., *Фигура* Ваша уже обозначилась, и он стал допытываться — кто такая? Я представил Вас как игру воображения, как персонаж, *лица* не имеющий. К тому же *физиономия* Ваша в тени, так, один намек... (с. 195). Показательно, что, во-первых, этих слов мы не встречаем в лексиконе Лосева (лишь *лицо* 1 раз), во-вторых, в речупотреблении художника они как бы дематериализованы, одухотворены, сделаны объектом художественного отражения, эстетического любования, т.е. объектом искусства, и тем самым для автора дискурса (Астахова) и читателя служат своеобразными вехами, указателями на пути к высшему нравственному переживанию, которое дарит нам искусство, — катарсису. Наоборот, несобственно-прямой речи Лосева, вербализуемой за него автором и потому не вошедшей в анализируемый дискурс, слово *фигура* (в значении "стройная женская фигура") присуще в сугубо "земном" значении, и сам Лосев, как сообщает нам автор, считает себя "фигуристом", (с. 247), т.е. человеком, который больше ценит в женщине красивую фигуру, чем привлекательное лицо.

Слово-доминанта *дом* занимает особое место в романе, тяготея по своим функциям в обоих дискурсах скорее к имени собственному, так как

и у Лосева, и у Астахова в подавляющем большинстве контекстов оно обозначает один и тот же реальный объект, один и тот же денотат — дом Кислых в г. Лыкове, основной объект изображения в картине Астахова. Однако семантическая констелляция этой доминанты в каждом из идиолексиконов принципиально различна. В лексиконе Астахова под знаком *дом* выступают слова — *крыша, стена, окно*, с частотой в дискурсе в 3—8 раз превосходящей ожидаемую, и отсутствующие в лексиконе Лосева. Ср.: Медная *крыша* Вашего *дома* покрыта зеленью, такой кислой, которую не знаю, как сделать. Добиться такого зеленого цвета значит, Елизавета Авдеевна, решить важнейшую для меня сегодня проблему! Вот-с! А *дом* Ваш презанятный (с. 197); ...однако не знаю, удалось бы мне в мастерской так столкнуть живую зелень с зеленью окисленной *крыши*, чтобы в металле как бы душа очнулась... Обратите внимание на облупленную штукатурку. Я ее не ради точности оставил. Обнажился красный кирпич и открылась плоть *дома*, массивная и уязвимая. Суть вещей можно передать, нарушив, сдвинув, поколебав их форму. А кто это мне подсказал? Утренний туман! Он обобщил (с. 200); Ваше присутствие в глубине *дома* было физически ошутимо. Закрашенное Ваше изображение, замурованное — оно внутри *дома* осталось. Вы остались там за занавескою *окна*; на втором этаже, куда я Вас поселил, стояли и смотрели на меня. Заспанная, в длинной ночной сорочке, босая... (с. 198).

Эта группа, образуя вполне самостоятельное единство, тем не менее тесно смыкается с предыдущей: Поскольку холст я не сменил, то выписывая *дом*, я под ним, под *стенами* его, кончиком кисти ощущал Вашу *фигуру*, слон ее краски, и касался Вашего *платья*, Вашего *лица*, оглаживал, наслаждаясь... (с. 197—198).

Иное семантическое тяготение проявляет *дом* в лексиконе Лосева, образуя соответственно и иное лексическое окружение этой доминанты в его дискурсе. Хотя обозначает он и здесь в основном тот же самый объект (из 9 употреблений 6 раз имеется в виду дом Кислых) и в этом отношении как бы приближается к имени собственному, но состав его семантического поля иной: он объединяет низкочастотные слова *история, музей, память, Кислых, Поливанов* и тяготеет к высокочастотным доминантам *город* и *картина* (опять-таки почти именам собственным, поскольку первое — почти всегда Лыков, а второе — картина Астахова). Ср.: Я-то мечтал — для *города* нашего. Этот *дом Кислых* у нас достопримечательность (с. 20); Эх, жаль, а то могли бы сравнить, для *истории* вопроса... (с. 26); *Дом* стоит, и обе ивы, разрослись, конечно (с. 27); Лучшего здания для нашего *музея* не придумаешь. Следует сохранить этот *дом* для *музея*, это будет лучшая *память Юрию Емельяновичу*... Это будет по-хозяйски, по-человечески. Раз мы так считаем, мы с вами хозяева *города*, то так и будет! (с. 313); *Дом этот*, натурально, *город* хочет под *музей* использовать (с. 339); Богатые материалы у вас, поучительные. И по *дому Кислых* есть? (с. 60). В последней цитате "у вас" — это у Юрия Емельяновича Поливанова.

Непересекаемость, несоприкасаемость семантических полей *дом* в двух лексиконах (общий узел *Поливанов* соотносит рассматриваемые идиолексиконы через понятие *картина*, а не *дом*) очень показательна в

связи со словом *крыша*. Соответствующее понятие очень живо в сознании Лосева: председателя горисполкома заботят трудности, связанные с ремонтом крыши детского сада, мысль о прохудившихся крышах и о возможности получить листовое железо мелькает у него во время одной из ключевых для судьбы *картины* сцен — его беседы с Уваровым, разговор о крышах заводят неоднократно его сотрудники и т.д. Однако само слово *крыша* ни разу им не употребляется. Даже когда речь заходит об особенностях крыши дома Кислых, в его дискурсе она упоминается лишь катафорически: В точности, *она* медными листами выложена. Был такой лесопромышленник... (с. 27).

К трем охарактеризованным семантическим полям в лексиконе Астахова — натура (пленер), дом, Лиза — примыкает группа, которую можно назвать по самому частотному глаголу в его речи — *писать*. Из 22 его появлений в дискурсе Астахова только в трех случаях он употреблен в значении "составлять какой-н. текст" (с. 194, 204 — в письме, с. 202 — в газете), в остальных же 19 случаях (что превышает стандартную частоту почти в 50 раз, см. таблицу) используется в профессиональном смысле "создавать произведения живописи". В лексиконе же Лосева этот глагол существует совсем в другом значении — "обращаться к кому-л. письменно", т.е. писать "бумаги", жалобы, официальные письма. Ср.: Наседают на меня. Народ недоволен. Могут начать писать. И вам, и выше (с. 182). Хотя его частота и больше ожидаемой в три раза, что объясняется социальным статусом Лосева — административно-хозяйственного работника, официального лица, в его лексиконе "писать" не является центром семантического притяжения и не формирует ярко выраженной группы ни высокочастотных, ни низкочастотных слов. Таким образом, будучи чисто формальным совпадением с *писать* в дискурсе Астахова, это слово, подобно слову "натура", не может служить показателем "пересечения" двух идиолексиконов.

У Астахова же "писать" группирует вокруг себя высокочастотные *нарисовать, работать, работа*, а также низкочастотные *написать, выписывать, пририсовывать, малевать, холст*. Из слов этой группы только одно свойственно также и лексикону Лосева — *работа*, и его частота, как видно из таблицы, сопоставима и со стандартной, и с частотой этого слова в дискурсе Астахова. В этом отношении включение его в таблицу могло бы показаться неоправданным, поскольку его место — в числе слов типа *говорить*, и по частотной характеристике оно не обладает дифференцирующей для идиолексиконов силой. Но дело здесь в семантическом диапазоне употребления этого слова. Оказывается, в лексиконе художника на первое место выдвигается 5-е словарное значение — "продукт труда, готовое изделие", — и в 6 из 9 контекстов оно совершенно определенно выступает синонимом слову *картина*, тогда как в двух из трех оставшихся значение несколько размыто, неопределенно и его можно идентифицировать и как 5-е по словарю, и как 2-е, т.е. "занятие, труд, деятельность". Примеры однозначных контекстов: Больше всего потому, что незавершенная *работа*. Недописанное уничтожать труднее всего, с недописанным расстаться сил нет. Помните Бальзака "Неведомый шедевр"? Лучшее, что сочинено про нашу сволочную профессию. *Картина* доделанная, она отпадает словно

лист осенний.. (с. 196); ...я и его нарисовал... В главной моей *работе* меж тем был полный захлоп (с. 194); Ведь мы должны поехать с выставкой в пользу антифашистов, куда я дал лучшие свои *работы* (с. 205). Пример неопределенного контекста: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна! Наконец-то завязалась моя *работа*. Вторая неделя кончается, как пребываю я у Ваших пенатов. И наконец, пошло, покатилося, и все опять стало прекрасно (с. 194). Здесь кажется одинаково правомерным понимать под *работой* как процесс писания картины, так и то, что сама картина стала получаться, определилась ее основа, ее ядро, "узел" (она *завязалась*). Таким образом, практически в лексиконе Астахова *работа* семантически равнозначна *картине*.

Иначе выглядит семантическая характеристика слова *работа* в лексиконе Лосева. Здесь представлены практически все его словарные значения, за исключением 5-го, то есть того самого, в котором оно входит в лексикон Астахова. Так, у Лосева есть 1-е значение — "нахождение в действии, процесс превращения одного вида энергии в другой": Отчаянность это еще не *работа* (с. 78); 2-е значение "занятие": Мне казалось, что *работа* в музее это рост, перспектива (с. 249); 4-е значение — "производственная деятельность по созданию, обработке чего-л.": Подайте специальную записку насчет *садово-парковых работ* (с. 36); 7-е значение — "качество, способ исполнения": А что там жгли? — Иконostas с всеми иконами, деревянные врата, все резное, редкой *работы*, иконы, говорят, были большой художественной ценности... (с. 70). Таким образом, и по слову *работа* мы не можем констатировать пересечения идиолексиконов, поскольку оно входит в каждый из них в разных своих значениях.

Четыре рассмотренных узла ассоциативно-семантической сети в лексиконе Астахова, образуемые единицами конкретной лексики, — *Луиза*, *дом*, *натура*, *писать* — сводятся в более крупную семантическую зону, которая коррелирует с равноправными с ней и одна с другой, если не по количественному составу, то по важности, группами, обозначаемыми более обобщенными именами, — *душа* и *картина*. Первая из них отражает внутреннее состояние, переживания, мир чувств художника, вторая выводит на характеристику его позиции в реальном мире, помогает раскрыть его установки, цели, социальнопсихологические ориентиры и оценки. Обе названные группы представлены и в лексиконе Лосева, но их наполнение, как мы увидим ниже, совершенно различно. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что далеко не во всех случаях, когда обнаруживается перекличка двух идиолексиконов — даже по ключевым словам, как это наблюдается в таблице, можно говорить о семантической близости или пересечении этих лексиконов. У Астахова из пяти употреблений слова *душа* (что по показателю относительной частоты в три раза превышает обычную употребительность) в трех случаях оно выступает в мистически-метафорическом значении, не фиксируемом даже словарями: ... так столкнуть живую зелень с зеленой окисленной крыши, чтобы в металле как бы *душа* очнулась... (с. 200); Он занятый балабол, самодум, причем уходит в такие материи, про которые никто у нас ныне не задумывается. Например, о *душе*, какая имеется у камня, у дерева, у озера, и как общаться с этими *душами* (с.

198). В двух других употреблениях это слово имеет самое обычное, наиболее распространенное значение — “внутренний, психический мир человека, его сознание”, не лишенное, впрочем, мистической окраски, так как в одном из них происходит, вероятно, неявная апелляция к тексту библии (книга Сираха или Екклесиаст?): Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня, больше всего я боюсь *омрачиться душой*, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом (с. 206). Обобщая эти наблюдения, можно сказать, что в лексиконе Астахова слово *душа* тяготеет к религиозно-мистическому смыслу, воплощая в себе совокупность его мироощущений и глубоких интимных переживаний. Поэтому в одну группу из высокочастотного списка это понятие объединяет слова: *почувствовать, помнить, тоска, женщина, человек*, ни одно из которых, как легко установить по таблице, не свойственно лексикону Лосева. Каждое из названных слов, будучи ключевым, обрывает в дискурсе Астахова ореол низкочастотных лексических единиц. Так, к слову *тоска* присоединяются *уныние, печально, расстраивать, скучать, омрачится*, также отсутствующие у Лосева; *помнить* дополняется словами *память, воспоминание, вспоминать*; *женщина* — *любовь, любить, прекрасный*; *почувствовать* — *чувство, чувствовать, переживание*, каждое из которых многими нитями связывается в свою очередь и со словом *тоска*, и со словом *душа* и т.п., образуя фрагмент сложного переплетения ассоциативно-семантической сети в лексиконе Астахова.

Ничего подобного мы не видим, обращаясь к лексикону Лосева. Формально совпадающее в его дискурсе слово *душа*, частота которого даже оказывается выше, чем в дискурсе Астахова, обладает совсем иными семантическими свойствами, а соответственно формирует и иные лексические группировки. Прежде всего, в лексиконе Лосева это слово выступает как “чужое”, перенесенное в его дискурс из речи партнеров по диалогу. Собственное спонтанное его использование исчерпывается двумя контекстами, в которых мы видим его семантически опустошенным, поскольку оно входит в устойчивые сочетания — *от души* (с.16) и *ему по душе* (с. 13). Во всех же других случаях, будучи эховым повторением от употребления партнером, оно в лексиконе Лосева становится не центром семантического притяжения, а центром семантического отталкивания. Он постоянно спорит с тем размытым, неопределенным смыслом, который вкладывает партнер в это слово, противопоставляя ему конкретно-грубые, осязаемые, обладающие повседневной земной реальностью вещи: *Заповедник*, это правильно. *Заповедник детства*, там сохраняются *воспоминания*... Ах, тетя Варя. Все это прекрасно — *душа, заповедник*. Но в *инстанции* с такими *причинами* не пойдешь. Это за столом на фоне самовара и всякой древности звучит, а придешь в *кабинет* — *предъявляй конкретно*... Вы думаете, что если вы мне *душу* расстравите, значит, дело выиграно? А как я там дальше буду *расплевываться*, неважно, не ваша *забота*. Вы свое дело сделали, *забили тревогу*... Чем же вы мне помочь хотите?... Пишите, ваше право... Только думаю, что письмо может все испортить. *Аргументы* у вас несерьезные. Опровергнут и *вопрос* будет снят... *Болтовня!* Не борьба нужна, а *доводы*. Аргументы не готовят, их ищут,

128

или они есть, или их нет. Честное дело, надо честно решать... (с. 67—68). Теперь ты себя жалеешь, а всех нас презираешь. Как ты выразился — пустые души? Быдло? Вот это уже оскорбление... Ну, допустим, ты себе душу облегчил, дальше что? Руки раскинул, готов на все. Так? А это, может, самое простое. А *фанаберию* свою перешагнуть не можешь... (с. 143); Ладно. Видно, я в тебе ошибся, *самолюбие* для тебя важнее дела. Главное — показать свою *обиду* на меня (с. 144).

В лексиконе Лосева, таким образом, *душа* обрастает сетью противоположных понятий, ощетиливается остриями антонимов. С одной стороны, ей противостоят — *дело, забота, забить тревогу, кабинет, инстанции, предъявляя, конкретно, расплевываясь, аргументы, доводы, причины, вопрос*, а с другой стороны — *фанаберия, самолюбие, обида, болтовня*. То есть, это уже совсем иной семантический ореол, который определяет и иное отношение слова к другим ключевым словам в лексиконе Лосева.

Но если бы задача состояла только в том, чтобы при сопоставлении идиолексиконов отличить черное от белого, если бы Лосев выступал только как "оппонент" астаховского понимания *души*, такая задача была бы слишком простой и малоинтересной. Диалектика лосевского лексикона заключается в его усложненности и динамичности, в его подверженности воздействию импульсов не только тезаурусного, мироотражающего уровня (становящегося в данном случае источником антонимического окружения), но и мотивационно-прагматического уровня личности, импульсов, которые приводят к семантическому обогащению понятия, сдвигу к значению "душа — самое главное, основное, суть вещей".

И хотя в таком смысле это слово не появляется в дискурсе самого Лосева, но употребление его в условно интериоризованной авторской речи перекидывает духовный мостик между двумя анализируемыми лексиконами. Ср. два отрывка, из которых первый — это разговор с Таней Тучковой, а второй — передача автором зрительных представлений героя:

1) — Нет, не умеете вы с людьми говорить.

— Я не умею?

— Пропесочить умеете, доказать, отстоять, а вот поделиться, сказать, что у вас на *душе*, — не умеете.

— Да с какой стати я должен *душу* свою открывать?

— Вам-то люди открывают. К вам приходят, делятся. А вы себя только по делам цените, сделали — значит, хороший, не сделали — плохой. Так нельзя." (с.155).

В этом отрывке как бы две стороны *души* в лосевском ее понимании: *пропесочить, доказать, отстоять дело* относятся к антонимичной ей сфере, описанной выше, а *поделиться, открыть* — к той сокровенной, с которой он внешне решительно полемизирует, но полемизирует при этом и сам с собой, поскольку старательно спрятанное внутри, кажущееся ему бесполезным другое понимание связывает ее крепкими нитями с характерными и резко превышающими в его лексиконе стандартную частотность понятиями *добро* (> в 10

раз), *совесть* (> в 10 раз) (оба отсутствуют у Астахова), так же как с одинаково присущим двум лексиконам понятием *красота* (> в 10 раз) (см. табл.).

2) "Река взглянула на него ярко-коричневыми глазами Тучковой. Взглянула доверчиво, распахнуто, так, что отразилось каленое от восхода небо, полегшая ива, мальчики..."

Может, и в самом деле была *душа* у этой реки? И у заводи, у камня?

Чем больше он смотрел, тем больше видел; новые подробности проступали ему навстречу. Он погружался в этот неспешный мир скрытой *красоты*, какая складывалась из всех малостей, когда можно любоваться и камнем, и простым листком, и отмелью. Все это давно стало частью его самого, может потому он и не замечал этой *красоты*, как не замечал *чуда* своего *сердца*, ушедшего *детства*, *чуда* *каждодневной жизни*" (с. 116).

Лосев внешне, в своем речевом поведении как бы сопротивляется тому, чтобы понятие *душа* в его лексиконе подверглось семантическому расширению, можно даже сказать мене "семантического знака" с отрицательного на положительный, и включило в свою сферу типовые представления, свойственные этому ассоциативно-семантическому полю в русском языке, а не только перечисленные выше контекстуальные антонимы, которые по сути дела являются его речевыми реакциями на стимулы партнеров по диалогу. Это сопротивление ощущается в первом отрывке, где Таня по-своему, но очень точно характеризует семантический состав, а значит, и то место, которое в картине мира Лосева, в его тезаурусе занимает понятие *душа*: *пропесочить* (ср. из лексикона Лосева в этом поле — *фанатерия, самолюбие, обида, болтовня*), *доказать, отстоять* (у Лосева — *аргументы, доводы*), *дела сделать* (у Лосева — *дело, причины, вопрос*). Но то, что по внутренней своей сущности Лосев склонен к признанию таниной критики справедливой, показывает второй из приведенных отрывков, где читатель встречается с потенциальной, невербализованной частью лексикона Лосева и где понятие *душа* предстает совсем в ином окружении. Кроме того, соответствующее место в тезаурусе, или близкое к нему, у Лосева занимают родственные понятия *совесть* и *добро* (частота в 10 раз превышает стандартную — см. табл.), которые в известной мере компенсируют специфическое семантическое наполнение понятия *душа* в его лексиконе и которые начисто отсутствуют в лексиконе Астахова (см. табл.).

V

Перечислим теперь основные семантические центры в лексиконе Астахова и в лексиконе Лосева с их словарным наполнением — как высоко-, так и низкочастотным.

В лексиконе Астахова:

НАТУРА ЛИЗА
березка лицо

ДОМ
окно

ПИСАТЬ
нарисовать

КАРТИНА
художник

ДУША
помнить

утро	фигура	стена	работать	вкус	почувство-
свет	платье	крыша	работа	пейзаж	вать
цвет	физиономия	зелень	написать	Яков Ива-	женщина
краски	портрет	занавеска	выписывать	нович	человек
туман	изображение	2-й этаж	пририсовать	живописец	тоска
улица	фигурка		малевать	холстомаз	жизнь
берег	платьице		холст	живопись	
Плясва	ночная со-		недописанное		
восход	-рочка				
роса					
солнце					

В лексиконе Лосева, как мы знаем, слова *натура* и *писать* употребляются в иных значениях и не образуют семантических центров, т.е. не являются заглавными для семантических полей; имя *Лиза (Елизавета Авдеевна)* отсутствует; понятие *душа* образует "антиполе", будучи наполнено словами отрицательной оценки; *дом*, как было показано выше, дает совершенно иное семантическое окружение, создавая в противоположность интровертному его восприятию у Астахова чисто наружное, внешнее, экстравертное восприятие того же объекта у Лосева: *дом — здание, история, музей, память, Кислых, Поливанов, город, картина, художник*. Такое же различие обнаруживается в обоих лексиконах и для поля *картина*, объединяющего у Лосева слова — *Астахов, художник, пейзаж, дом, заводь, ивы, Поливанов*, среди которых общими для сравниваемых полей являются два нейтральных — *художник* и *пейзаж*. Таким образом, совпадение слов и их частот в клетках таблицы оказывается чисто внешним, и углубленный семантический анализ дискурсов выявляет расхождения и в семантике, и в тезаурусах, обслуживающих тот и другой лексикон.

Расхождения становятся еще более ощутимыми, когда мы обращаемся к понятиям, представленным в одном лексиконе и отсутствующем в другом. Так, для Лосева характерен семантический центр *город* с его специфическим раскрытием, определяемым положением героя как хозяина города Лыкова. Особое место в его лексиконе занимают упоминавшиеся понятия *добро* и *совесть*, резко выделяющие его человеческую, личностную позицию в отправлении официальной должности председателя горисполкома. Должностным положением Лосева определяется и важное место семантического комплекса с центром *думать-понимать* (с частотностью в три раза превышающей нормальную — см. табл.). Связанность этого комплекса с социальным статусом и активной жизненной позицией Лосева становится особенно выпуклой с учетом того факта, что в лексиконе Астахова эти понятия практически отсутствуют, а их место занимают находящиеся как бы на противоположном от активного конца шкалы понятия пассивного плана, характеризующие носителя лексикона не как агенса, а как пациента, — *спрашивать* и *объяснять* (см. табл.). Дело в том, что первое из них в дискурсе Астахова постоянно появляется в связи с именем Поливанова: именно он, в силу своего положения фактического хозяина тогдашнего Лыкова,

спрашивает с художника и у художника и о цели его творчества, и о предназначенности картины, и о неясной женской фигуре, первоначально изображенной на берегу. Именно Поливанову вынужден Астахов объяснять соответствие принципам художественной правды и достижение воздейственной силы искусства в изображении облупившейся штукатурки на стене дома и в невозможности включения в картину старой полуторки с красным лозунгом на борту кузова. Вот почему *лозунг* в дискурсе Астахова, резко отличаясь от нормальной частоты этого слова (в 25 раз!), приобретает размах символа и становится антиподом картины и искусства в целом. (Заметим в скобках, что в лексиконе Лосева слова *лозунг* нет.)

С семантическим центром *спрашивать* (*объяснять*, *Поливанов*, *лозунг*, *полуторка*) в дискурсе Астахова тесно связано ключевое понятие *уступить* (с частотой в 50 раз превышающей стандартную), воплощающее для художника вопрос жизни и смерти: уступить ли давлению обстоятельств, подчинится требованиям Поливанова, "не связываться с Каином", поступиться своими творческими идеалами и принципами или продолжать работать, сохранив верность своей любви, своей работе (картине), самому себе как художнику и человеку? Уступить для Астахова это гораздо больше, чем исправить "стену в изломах", скрыть облупленную штукатурку или даже вообще отказаться от картины. Уступить — это еще и сдаться как Добужинский и Бенуа, уехать, но такой шаг для Астахова совершенно неприемлем.

Естественно, что в лексиконе Лосева мы не встречаем слова *уступить*, наоборот, здесь представлены его идеологические (тезаурусные) антонимы *позволить* и *решить*, опять-таки вписывающиеся в представление о социальном статусе Лосева, характеризующие его активную жизненную позицию: он сам *решает*, он *позволяет* или *не позволяет* что-либо делать, и эта автономность и решительность подчеркивается примыкающим к данному полю словом *лично* с существенно превышающей стандартную частотой и отсутствующим у Астахова (см. табл.).

Семантический комплекс *позволить-решить-лично* в очень сильной степени поддерживается в дискурсе Лосева грамматическим оформлением его речевых актов: большой процент перлокутивных высказываний, имеющих целью воздействовать на собеседника, побудить его к действию, а также необходимая для воплощения в жизнь решений категоричность суждений приводят к резкому скачку числа форм повелительного наклонения среди прочих глагольных форм: *брось, внесите, возьмите, выкладывай, выполняйте, высказывайся, давай, доложите, закрой, занесите, идите, кончай, объясни* и т.д. Сравнение двух дискурсов в этом плане выявило следующие соотношения:

	всего глагольных форм	повел. накл.	1-е лицо ед. числа	1-е лицо мн. числа
дискурс Лосева	719	63	48	33
дискурс Астахова	686	15	56	2

Цифры сами по себе достаточно красноречивы, но при их осмыслении надо иметь в виду и качественное своеобразие соответствующих форм.

Дело в том, что помимо прямых форм повелительного наклонения побудительная модальность в дискурсе Лосева передается также инфинитивами — либо в чистом виде (*отставить, отменить*), либо с модальными словами (*надо задержатъ, должны выполять*) и формами 2-го лица ед. числа настоящего времени (*возьмешь, объяснишь, скажешь*). Тогда как в письмах Астахова эти дополнительные формы практически отсутствуют. А кроме того, и это, пожалуй, самое важное у Астахова употребление глаголов в повелительном наклонении на самом деле не выражает побуждения к действию, так как большинство из них входит в ритуальные формулы вежливости (*будьте добры; представьте себе; примите уверения; не считите за; посмотрите; обратите внимание; не думайте, что; сохрани вас бог; помолитесь за меня*) или образуют уступительные обороты (*будь, спроси, поступи*). Лишь две формы — *стой* и *терпи* — обращены художником к самому себе, и звучат как девиз, как призыв к противодействию внешним обстоятельствам, как напоминание о том, что он не должен уступать. Таким образом, с учетом качественного своеобразия форм повелительного наклонения в том и другом дискурсе различие в их употреблении обеими языковыми личностями становится еще более разительным, чем можно было бы заключить на основании только количественных показателей. Такое сильное расхождение по этому грамматическому параметру двух дискурсов можно было бы отчасти объяснить принадлежностью последних к принципиально различным жанрам: диалог, диалогические реплики, из которых состоит дискурс Лосева, и монолог, а точнее эпистолярный жанр, представляющий дискурс Астахова. Однако этот факт обосновывает рассмотренный контраст лишь частично, тем более, что письма художника выполнены в повествовательно-сказовом стиле и включают, наряду с изложением от первого лица, и диалоги, и пересказ событий посторонним наблюдателем, и непринужденно-разговорные интонации. В частности, сравнение двух дискурсов по количеству употреблений глагольных форм 1-го лица ед. ч. наст. времени не выявило существенных различий (см. выше) между диалогическим по преимуществу дискурсом Лосева и монологическим по преимуществу дискурсом Астахова. Следовательно, главную причину расхождений по грамматическому параметру наличия побудительных форм надо усматривать в особенностях данных языковых личностей, в специфике лексики каждой из них, их мировосприятия (тезаурусов) и понимания ими своего места в мире, т.е. в специфике их прагматиконов.

При сопоставлении глагольных форм, зафиксированном выше, мы ввели еще один показатель — употребление горящим 1-го лица множественного числа, т.е. "я", включенного в "мы": *будем, восстановим, дадим, дождем, занимаемся, знаем, мечтаем, можем, отпечатаем, подойдем, подсчитаем, подумаем, поживем, позволим* и т.п. Обилие этих форм определяется социальной ролью Ло-

сева, осознанием им себя как представителя города и всего его населения — "народа", "людей". Одновременно эта форма — знак демократических взаимоотношений с людьми, знак нежелания выделять себя из общей массы, знак опоры на "народ". Иными словами, грамматическая форма и здесь сливается с прагматиконом личности, заключая в себе и самооценку, и определенные коммуникативно-деятельностные установки, и социально-этические ценности.

Однако рассматриваемый грамматический показатель оказывается напрямую связанным не только с прагматиконом, но и с тезаурусом данной языковой личности: в таблице ключевых слов наблюдается еще одно противостояние, а именно, в дискурсе Лосева повышенной частотностью обладают слова *народ* и *люди*, которые в письмах Астахова оказываются малоупотребительными. У последнего, наоборот, выделяется своей употребительностью слово *человек*, редко встречающееся в речи Лосева. В этом обстоятельстве можно усмотреть корреляцию с распространенностью формы 1-го лица мн. числа в дискурсе Лосева и с отсутствием этого слова у Астахова. Вместе с тем, оппозиция *народ* vs *человек* символизирует массовое, масштабное, не экземплярное восприятие людей с позиции крупного руководителя, отражая тем самым известную трагедию всякой власти: демократизм, слияние с народом, растворение "я" в "мы" — при всей положительности этих качеств — чревата опасностью не увидеть, опустить за этой массой отдельного человека, отмахнуться от него, ссылаясь на грандиозность общих, коллективных проблем.

Этой опасности не удастся избежать и Лосеву. Вспомним скромную библиотекаршу Любовь Вадимовну, мысль о повышении штатной ставки которой, о необходимости улучшить условия работы библиотеки, подобно укорам совести из-за невыполненного долга, настигает Лосева в самые неподходящие моменты: и во время его утренней прогулки к заводу и нелегких размышлений о будущем города (с. 118—120), и во время его решающего разговора с Уваровым (с. 180, 193). Но во всех случаях он вынужден отмахнуться от этих переживаний и мыслей, озабоченный решением других, более масштабных и потому в данный момент более важных дел. Таким образом, и эта, на уровне лексикона выявленная оппозиция *народ, люди* vs *человек*, имеет глубокие корни и в тезаурусе языковой личности, определяющем ее мировосприятие, и в грамматиконе (*дожжем, сделаем, разберемся*), и в ее прагматиконе, ориентирующем деятельностно-поведенческую линию.

Итак, в таблице ключевых слов непрокомментированным, помимо имен собственных, осталось одно слово из дискурса Лосева, которое на фоне рассмотренных его характеристик как языковой личности кажется весьма странным, а высокая частотность которого представляется просто загадочной: это слово *бояться*. Действительно, ни семантика этого слова, ни его позиция и связи в тезаурусе не вяжутся с тем образом, тем характером, который вырисовывается из анализа языковой личности Лосева. Что это — недосмотр и ошибка автора при выписывании речевого портрета героя или неадекватность

предложенного здесь анализа дискурса и характеристики лексикона языковой личности? Разгадка кроется, оказывается, в грамматиконе последней: в подавляющем большинстве случаев появления этого слова в речи Лосева оно выступает в форме (*чего вы*) *боитесь*, т.е. в своеобразно лексикализованном варианте призыва "не надо бояться", "не бойтесь". Таким образом, и здесь грамматикон вносит свою поправку, снимая кажущееся несоответствие лексической семантики, картины мира и прагматикона языковой личности.

Прагматикон в чистом виде представлен в таблице именами собственными, отношения между референтами которых и их отношения с анализируемой языковой личностью задают — в какой-то ее существенной части — сеть коммуникативно-деятельностных потребностей, установок, целей и ценностей. В целом набор имен собственных, или ономастикон, в дискурсе каждой из рассматриваемых личностей свой, специфический, и это естественно, поскольку Астахов и Лосев принадлежит к разным эпохам и к разным социальным средам. Единственное пересечение их ономастиконов образует имя Поливанова. Но для каждого из них Поливанов, оставаясь сам по себе одним и тем же человеком, выступает как представитель разных сил, носитель различных идеалов, что отражается даже в его назывании: у Лосева преобладает *Юрий Емельянович*, а у Астахова — только *Поливанов*. Как борец за определенные цели и защитник известных духовных ценностей, Поливанов воспринимается по-разному в эти разные эпохи и, соответственно, этими разными людьми. Двойственное восприятие этого человека не позволяет поэтому однозначно идентифицировать клетки таблицы и соответствующие узлы ассоциативной сети в лексиконах Лосева и Астахова как совпадающие. Глубинное расхождение имеет место и здесь.

Попытаемся сделать некоторые выводы и обобщения из наблюдений над словоупотреблениями в дискурсах и взаимоотношениями слов в соответствующих лексиконах. Прежде всего чисто внешнее, на поверхностном уровне сопоставление лексиконов, даже по тем немногим параметрам, как это сделано в данном разделе, выявляет свойства, определенным образом характеризующие ту или иную языковую личность. Я имею в виду расхождение или совпадения в высокочастотной части каждого словника со стандартными, усредненными данными по русскому языку; коэффициенты употребительности одних и тех же единиц; коэффициенты лексического разнообразия и лексического богатства; представленность в дискурсах разных стилистических слоев лексики и т.п. Казалось бы, например, коль скоро дискурс Астахова имеет одного адресата, а дискурс Лосева адресуется большому числу разных слушателей, разнообразие второго должно быть выше. Однако, как видно из сравнения соответствующих коэффициентов, все обстоит как раз наоборот. Вместе с тем такая адресованность объясняет другое свойство лексикона Лосева — наличие в нем значительного числа просторечных, вульгарных и даже бранных слов и выражений, которых практически лишен лексикон Астахова. Зато в последнем мы найдем терминологическую лексику, элементы профессионального жаргона, обилие

имен художников и людей, близких к живописному искусству. Пожалуй, на этом и кончатся внешние линии сопоставления двух лексиконов, которые в общем-то представляются самоочевидными, коррелирующими с логикой художественного образа — носителя того и другого лексикона. Поэтому такие характеристики можно полагать запрограммированными автором сознательно, как отражающие свойства изображаемых людей, свойства соответствующих языковых личностей.

Следующий шаг нашего анализа вводит нас, вероятно, уже в авторское бессознательное: в самом деле, если логику образа, которая задается мировосприятием персонажа и его прагматиконом, автор в состоянии контролировать, то логика лексикона строится им бессознательно. Ведь не мог же предусмотреть заранее писатель, что слово *добро* не встретится в письмах Астахова, так же как слово *лозунг* ни разу не будет употреблено Лосевым. Для нас проникновение в логику лексикона начинается с построения таблицы ключевых слов, в основу которой кладется формальный, т.е. чисто внешний, критерий: слово входит в таблицу, если коэффициент его употребительности превышает некоторой порог. При этом несформулированное, скрытое предположение заключалось в том, что слова с частотностью, отличающейся от стандартной, являются семантическими центрами, служат ядром группы, семантического поля, занимающего то или иное место в тезаурусе личности. Надо сразу сказать, что это предположение оправдалось лишь частично, поскольку самостоятельными элементами картины мира оказались не все высокочастотные слова из таблицы. Однако безусловная связь всех высокочастотных слов с определенными областями тезауруса подтвердилась. Далее, при сопоставлении левой и правой сторон таблицы стало ясно, что внешнее, в плане выражения совпадение единиц двух лексиконов, еще ничего не значит. Одинаковые слова *душа*, *натура*, *писать*, *работа* и даже *Поливанов* оказались принадлежащими двум лексиконам в разных, не совпадающих одно с другим значениях, т.е. обнаружилось расхождение на уровне семантикона. В других словах, значения которых как будто одинаковы — *дом*, *картина* — и которые являются для той и другой личности элементами ее взгляда на мир, т.е. дескрипторами тезауруса, наполнение соответствующей тезаурусной области, т.е. семантические поля дескрипторов, оказались совершенно непохожими. Одновременно выявилась своеобразная "тезаурусная компенсация" семантического дефицита в том и другом лексиконе. У Лосева — это компенсация общеязыкового значения слова *душа* за счет семантического поля *добро*, у Астахова — компенсация смысла слова *совесть* семантическим полем *уступить*. В процессе анализа стало ясно, насколько тесно связаны в структуре языковой личности все четыре сферы, изображенные на схеме 2: грамматикон с семантиконом (ср. семантику и грамматику слова *бояться* в лексиконе Лосева); тезаурус с грамматиконом (семантическое поле *люди-народ* и приверженность Лосева к глагольным формам 1-го лица мн. ч. в высказываниях о себе); грамматикон с прагматиконом (обилие форм повелительного на-

лонения у Лосева) и т.д. Иными словами, изучая лексикон языковой личности, мы с неизбежностью вторгаемся и в ее картину мира, и в то же время устанавливаем прагматические векторы, характеризующие ее позицию в мире.

Если бы мы захотели теперь подытожить результаты сопоставительного изучения двух лексиконов только по линии их совпадений и расхождений, считая совпадением соблюдение четырех условий: а) наличие слова в обоих лексиконах (совпадение в плане выражения), б) одинаковость значения, в) принадлежность к одному и тому же семантическому полю, г) тождественность прагматических оценок и коннотаций, то клетки таблицы ключевых слов расположились бы как клетки на шахматной доске, с чередованием белых и черных — белой слева соответствовала бы черная справа и наоборот, символизируя тем самым полное несовпадение лексиконов. Одинаковость цвета слева и справа, т.е. совпадение, возможно лишь для двух клеток — со словами *пейзаж* и *художник*. Да и то, это скорее всего совпадение лишь в "ближайших значениях".

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ЛЕКСИКО—ГРАММАТИЧЕСКОГО ФОНДА ЛИЧНОСТИ (ОБЩЕРУССКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ТИП)

Жизнь научных идей, вероятно, столь же прихотлива, столь же неравномерна, исполнена таких же взлетов и падений, как и жизнь человеческая. Иногда, правда, может создаваться впечатление, что научные идеи подвержены "изнашиваемости", амортизации чисто механической и могут быть уподоблены поэтому какому-нибудь материальному объекту неживой природы, например штреку угольной шахты, который после выработки породы остается мертвым следом, застывшей траекторией прошлого движения вперед. Однако с лингвистическими идеями дело обстоит не так. Мне уже приходилось писать в другом месте о том, что история лингвистики имеет свою специфику на фоне истории наук естественно-технических. И суть этой специфики в том, что история нашей науки оказывается постоянно актуальной, разрабатываемые ею в разные периоды идеи имеют свойство в новое время поворачиваться своими неожиданными гранями, обновляться и обогащаться вместе с прогрессом совокупного человеческого знания. Я думаю, что источник такой особенности надо искать в том, что результаты и выводы наших изысканий прилагаются в конечном счете к человеку, к языковой личности, которая и является той детерминантой, что определяет жизненность научных идей предшествующих эпох лингвистики. Естественно, в таком же положении находятся и другие науки о человеке — психология, физиология, медицина. Но вернемся на лингвистическую почву.

Из трех понятий, имплицитно предполагаемых смыслом заголовка данного раздела — *эволюция* (поскольку речь идет о "национальном", *система* (т.е. "фон") и *общерусский языковой тип*, — два первых, как могло бы показаться читателю из наших критических и скептических их оценок, рассыпанных в разных местах книги, заслуживают того, чтобы быть причисленными к рангу уже амор-

тизованных, т.е. таких, от использования каждого из которых по отдельности трудно ожидать прироста знания в тех или иных отраслях науки.

Вспомним хотя бы не оправдавшиеся глобалистские претензии на решение всех проблем языкознания тех концепций, которые строились на трактовке языка только как знаковой системы, т.е. концепций, гипотезировавших одну сторону, одну составляющую этого многомерного феномена. Или обратимся еще раз к лингвоисторическим амбициям младограмматиков, нашедшим отражение в приведенной выше (с. 12) цитате из Пауля, отказывавшего в научности всем подходам к изучению языка, кроме исторического. Тем не менее, идеи системности и эволюционного характера никак нельзя считать подвергшимися амортизации и моральному устареванию. Во-первых, как отмечалось в первой главе, и идея системно-структурного характера организации языка, и идея его историзми составили два решающих парадигмальных устоя современного здания лингвистики, без которых любое исследование теряет статус научного и должно быть выведено за рамки современного подхода к объекту языкознания. Во-вторых, соединение этих двух идей с идеей общерусского языкового типа, как станет ясно ниже, оживляет их научную потенцию и выводит наши рассуждения к новым рубежам познания. Под общерусским языковым типом будем понимать такие системно-структурные черты языкового строя, которые, будучи пронесены через историческое время и эволюционируя в нем, т.е. меняясь в сторону усложнения, некоторым инвариантным образом преломляются в сознании носителя языка и позволяют ему как-то (пока неясно, как) опознать "русскость" какого-то текста, той или иной фразы, конструкции или отдельного слова. Таким образом, понятие общерусского языкового типа мертво без включения в него языковой личности, но оно одновременно теряет смысл также вне системы и эволюции. Это понятие не придумано к данному случаю, к похожей идее приходили разные исследователи. В близком смысле употреблял, например, Ф.П. Филин понятие "общерусской основы языка великорусской народности"⁴⁰, хотя оно у него носило, как кажется, нерасчлененный, более метафорический, чем конструктивный, характер.

Думается, что попытка дать определение общерусскому языковому типу путем простого перечисления характеризующих его черт обречена на неудачу, поскольку при таком перечислении мы с неизбежностью ограничиваемся одним каким-то аспектом. Так, если искать эти черты только в диахронической ретроспективе, т.е. обратиться к эволюционному аспекту, то на чем мы должны остановить внимание — на падежной ли системе, претерпевшей определенные преобразования, но сохранившей в принципе внутрисистемные [внутрипадежные] закономерности и внешние взаимоотношения с другими строевыми категориями имени и глагола; на правилах ли исторического словообразования, в основе своей стабильно воспроизводимых от эпохи к эпохе и остающихся живыми на всем прост-

⁴⁰ Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 95 и сл.

ранстве диалектного языка; или на базисной лексике, скорость исторических изменений в которой в среднем не превышает 2% в столетие? Технически, очевидно, возможно произвести, например, подсчет числа фонем, оставшихся квазистабильными от XI века до наших дней, или сохранившихся за этот период морфологических явлений — в формообразовании и словообразовании, но едва ли в результате подобного подсчета мы получим представление об общерусском языковом типе. Да и что в этом случае взять за точку отсчета, с чем сравнивать? Ясно, что критерием сравнения не может стать литературный язык в силу его ограниченности и в известной мере искусственности. Если же соотносить квазистабильные (полностью неизменные способы языкового выражения очень редки, поэтому мы употребляем для обозначения относительно устойчивых явлений термин квазистабильные) явления исторической грамматики с диалектным языком в широком смысле слова, т.е. с диалектной по Аванесову, то мы столкнемся с таким морем вариативности, что выбор какой-либо черты в качестве характеристики общерусского языкового типа и прослеживание ее непрерывной ретроспективной траектории окажется крайне затрудненным, если не невозможным. И тем не менее общерусский языковой тип — вещь вполне реальная и поддающаяся исследованию. Обратимся к примерам.

I. По-русски или не по-русски с точки зрения нормы:

А. К концу очереди подходит дама и спрашивает: "Кто крайний?" Молодой человек, стоящий последним, весело реагирует: "А с какого края? Ведь в очереди два края — один спереди, другой сзади. Так спрашивать — не по-русски. Надо говорить, кто последний." (Эмоциональную реакцию дамы, упомянувшей в своих репликах очки и шляпу молодого человека, мы здесь, естественно, опускаем).

Б. Разговор в поликлинике: посетитель обращается к медсестре и объясняет ей, что он "сдал анализ" и не может никак получить справку. Сестра долго не понимает, о чем идет речь, и наконец, поняв, возмущенно восклицает: «Вы же не по-русски говорите: вы только сдали мочу на анализ, а самого-то анализа у вас еще нет. Анализом называется вот такая бумажка с результатами. А он — "сдал анализ"... Русского языка не знаете.»

В. Такие довольно распространенные в публичной речи случаи, как "условия приведены в соответствии с требованиями", "мы достигли *высокого* уровня производительности", "наши *дзети* получат новую школу", т.е. отражающие определенные диалектные черты, — еще не расцениваются как "нерусские". Но вот мнение читателя по поводу одного отрывка из художественного произведения: "Наши писатели, во всяком случае некоторые из них, стали писать на каком-то странном, непонятном языке... Вот как пишет Виктор Пулькин: "А карбасок летел так, что воды лебедями трубили под *матикой*, журавликами курлыкали под *штейнем*."

Вот ближе, все ближе карбас соседей *спорядовых*, Лангуевых. И оттуда тоже песня...

Наконец, наша Петрушина *тоня*. Выгрузились мы и втащили карбас. Стали тоневою избушку мыть да *шоркать*. Отец наладил

на огонек чугунный чан, стал сети выпаривать. Братья мои наладили *флюгарку*. Зазвенела жестяная флюгарка, *запоказывала* добрую *поветерь*. Ребята принялись разбирать старые *гарвы*, чинить. На *тоне* несколько сетей: которые в воде, которые сушатся, иные — в починке.

А я с мамой и сестренкой *околенки* мыла. Тоневая избушка стоит к лесу задом, к морю передом, на море смотрит окошко в четыре *околенки*".

Не многовато ли на один фрагмент "тоней", "гарвов" и "штевней"? — гневно вопрошает читатель... "Пора обратить на это внимание"⁴¹, — решительно заключает он.

Иной оказывается реакция писателя на это письмо: "Я не читала вещь Виктор Пулькина, тем не менее слова, осуждающе выделенные С.Кузьменко, мне понятны и вне общего контекста: нет среди них ни одного слова, которое не имело бы знакомых мне, как русскому человеку, прочитываемых и угадываемых корней. Русскому языку они не чужеродны (выделено мною. — Ю.К.), даже "флюгарка" — просторечное российское производное от "флюгер"⁴²...

Дискуссии, подобные этой, — о русскости русского языка — периодически вспыхивают на страницах нашей печати, сопровождаясь высоким эмоциональным накалом, что вполне понятно и объяснимо, поскольку ощущение "русскости" есть один из решающих моментов этнического, национального самосознания русского человека, русской языковой личности. Об этом, в частности, много писал в свое время Алексей Югов, который, правда, в пылу полемики был склонен иногда отрицать литературную норму вообще, а нормализаторскую деятельность русистов расценивать как вредную. Тем не менее его суждения о "русскости" русского слова не теряют своей верности. Приведу отрывок из его книги:

«Одна девушка-редактор, стажирующаяся при издательстве после окончания факультета редактуры, заспорила со мной об этих самых "деревенских" словах. С ходу она показала нам достижения своей учебы: "Да! — сказала она. — Я считаю, что есть активный словарный фонд и есть пассивный словарный фонд. А эти ваши крестьянские слова — к чему они?! Никто сейчас не "засупонивает" лошадь, не прилаживает эти... как их?.. "гужи". Это все у писателя — в пассивном фонде!...»

«Значит, вы тоже вычеркнули слово "гумно"? — спросил я, двиясь и смиряясь перед ее ученостью. Боже, как она покраснела! Словно бы услышала непристойность. Глаза ее гневно сверкнули. Но через силу сдержалась. "Еще бы!..." — резко произнесла она. И отвернулась, и отошла... А я подумал, глядя ей вслед: счастлив же бедный Пушкин, что не дожил до такого редактора со своим дерзким, а в глазах этой суровой девушки даже и неприличным признанием, что ныне, дескать, любит он:

⁴¹ Лит. газ. 1985. 9 янв. С. 6.

⁴² Ганина М. "Глокая куздра" против "жидкой органики" // Там же.

...Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор.
На небе серенькие тучи;
Перед гумном соломы кучи...»⁴³

Суть этого спора в том же самом: является ли "русским" то, что не укладывается в рамки современной литературной нормы. Ответ на этот вопрос очевиден, и приведенные в этом разделе под цифрой I примеры специальных комментариев не требуют. Перейдем к другим, более сложным, как нам кажется, случаям.

II. По-русски или не по-русски складывается речь в онтогенезе: Когда мы слышим, как русский ребенок, овладевающий языком и растущий в семье, где пользуются нормированной литературной речью, произносит такие фразы и слова, которые он не мог ранее слышать и воспроизвести:

- Можно я по земли попробую побегать двумя ногами?
- ... у мойй кукле...
- ... такиф большиф...(причем в других случаях "х" произносится)
- клеп (хлеб), кодить (ходить).

мы можем относиться к ним по-разному. Можно не заметить этих явлений или механически поправить говорящего, но нельзя не обратить внимание, что все эти "ошибки" однозначно идентифицируются с системными явлениями, свойственными тем или иным диалектам русского языка, т.е. находят прямое соответствие в так называемой диа-системе. Это слово специально передаем через дефис, т.е. не так, как его использовал Р.И. Аванесов, вкладывая в такое написание тот смысл, что диа- — это не только диа-лект, но и диа-хрония, эволюция, параметр временной изменчивости, в которой историческая траектория того или иного явления воплощается в пространственную фиксацию стабильных, системных точек этой траектории на территории распространения живых говоров русского языка. Таким образом, в игру диа-хронии (=эволюции) и диа-лектологии (=диасистемы), или изменчивости и стабильности, включается третья сила — микроэволюция языка в онтогенезе личности. На переключку ошибок в устной и письменной речи, допускаемых детьми, овладевающими родным языком, с отдельными моментами исторических этапов развития данного языка, указывали многие исследователи. Положение здесь оказалось во многом сходным с содержанием детского фольклора, который впервые в России стал собирать еще П.В. Шейн. Впоследствии обнаружилось, что детские игры и фольклор сохраняют в себе рудименты далекого прошлого. Исканные почти до неузнаваемости мифологические, языческие и христианские верования, предательства, молитвы русские дети превратили в тарабарские, заумные считалки, а крики уличных разносчиков XIV в. сохранились в песенках современных английских детей. Ну, в том, что касается детского фольклора, дело как будто ясное: сохранность указанных рудиментов объясняется непрерывностью изустной традиции его существования. А

⁴³ Югов А. Думы о русском слове. М., 1972. С. 43—44.

вот дать интерпретацию совпадения производимых детьми форм с диалектными и исторически становящимися на разных этапах развития языка формами, не впадая при этом в идеализм и не апеллируя к концепции врожденного языкового знания, представляется непростым делом. Конечно, мы не можем принять существующее, например, в буддистской философии представление о том, что ребенок, находясь в утробе матери, "слышит" определенные слова и выражения родного языка, которые оставляют следы в его подсознании. Не сможет всего объяснить и всемогущая, но безликая "аналогия", на которую мы привыкли многое списывать в таких случаях. Вот здесь и должен выступить на сцену общерусский языковый тип.

Надо сказать, что в таком своем качестве — в качестве предпосылки и основы "русскости" — эта идея тоже высказывалась видными русистами в прошлом. Мы можем разглядеть ее в "концепции родного языка" Павского, например, или в "апперцепционной базе русской речи" Якубинского. Но если у обоих ученых эта идея высказывалась в самом общем, синкретическом виде, наша задача — найти конструктивные, материальные единицы ее воплощения, что мы и постараемся сделать ниже.

III. Русский как иностранный.

Г. У Н.С. Лескова в "Железной воле" немец, не говоривший по-русски, но втайне учившийся языку, вдруг удивляет окружающих, сразу заговорив, "если не совсем легко и правильно, то довольно чисто":

— Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?

— Ай да Гуго Карлович! — отвечал я, — ишь какую штуку отмочил!

— Штуку замочил? — повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил: — ах да... это... это так. А что, вы удивились, а?

— Да как же, — отвечаю, — не удивиться: ишь как вдруг заговорил!

— О, это так должно было быть.

— Почему же "так должно"? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?

Он опять немножко подумал — опять проговорил про себя:

— Дар мужиков, — и задумался.

— Дар языков, — повторил я.

Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:

— О нет, не дар, но...

— Ваша железная воля!⁴⁴

И далее: «Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:

— Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?

⁴⁴ Цит. по: Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. М., 1957. Т. 6. С. 22

Он не вдруг соображал, что значит "послабее" и что значит "покрепче", и отвечал:

— Покрепче; о да, покрепче.

— Очень покрепче?

— Да, очень покрепче.

— Или как можно покрепче?

— О да, как можно покрепче»⁴⁵.

Еще один пример непонимания.

« — Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше бог сохранил, я в том детям внушаю: не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере сто лет жить, да двадцать на карачках ползать.

— Что это такое "на карачках ползать"? — соображал Пекторалис. — "Сто жить и двадцать ползать... на карачках". Хорошо это или нехорошо "на карачках ползать?»

В данных отрывках демонстрируются ошибки в восприятии, в понимании русской речи, а не при ее производстве. Для писателя, стилизующего неправильную русскую речь, важно подчеркнуть, выделить такие ее особенности, в которых носитель языка, русская языковая личность никогда не сделает ошибки. И хотя это всего лишь стилизация, но это та самая стилизация, которая и приводит в нашей литературе к "реалистическому возвышенному действительности", а наблюдателю за речью, за языком персонажей (или автора, в зависимости от установки исследователя) может служить достоверным материалом для определенных выводов о функционировании языковой личности. Конкретных параметров русской языковой структуры, нарушаемых инофоном, здесь немного. Для первых стадий овладения русским языком известную трудность представляют приставки, которые Гуго Карлович путает: *замочил — отмочил*. Ситуация для него осложняется еще и идиоматичностью употребленного партнером оборота: "ишь какую штуку отмочил!" Наконец, замена какого-либо понятия антонимичным ему, но входящим в то же самое ассоциативно-семантическое поле, — типовая ошибка слабо владеющих иностранным языком, возможность совершения которой в данном случае увеличивается из-за связанности значения соответствующих антонимов: чай "послабее" или "покрепче". Характерным также является проговаривание "про себя", к которому на протяжении короткого разговора Гуго Карлович прибегает дважды. Но все это, как было сказано, ошибки в восприятии русской речи иностранцем. Для русского человека, даже если предположить, что ему неизвестна идиома "отмочить что-н.", контекст и интонация позволят восстановить ее смысл довольно точно. Более интересный материал, вероятно, дает продукция речи инофоном, способно владеющим русским языком. Прежде чем перейти к рассмотрению соответствующих примеров, хочу подчеркнуть, что я употребляю безликий термин "инофон" вместо "говорящий по-русски француз, англичанин и т.п.", преследуя вполне определенную

⁴⁵ Там же. С. 23

цель: в речи нерусского меня интересуют в данной ситуации только те явления, которые и позволяют ее идентифицировать как нерусскую, независимо от того, вызваны ли они интерференцией родного языка продуцента или какими-то иными причинами. Впрочем, "иных причин" не так уж много. На самом деле, на производство речи на чужом языке влияют всего две формообразующие силы — либо это чистое воспроизведение, основанное на подражании речи носителей или же на самоподражании, которое может закреплять в том числе неправильно усвоенные и ставшие автоматизированными формы, либо это творческое конструирование форм по законам чужого языка (внутренняя аналогия, которая тоже может приводить к ошибкам) или по законам родного языка (внешняя аналогия, т.е. интерференция).

Д. В повести И. Василенко "Артемка в цирке"⁴⁶ цирковой борец негр Пепс говорит: «Он мне сказал: "Ти черний дьявол. К твоей черний морда белий краска не ляжет". Это, сказал, нигде видно не бил, чтоб черний рожа играл белий человек. "Ти борец, ти не есть актер. Публик смеяться будет". Он сказал: "Другие борцы белий, а ти черний" (с. 59); "Какой большой спасибо!" (с. 61); "О-о, — закачал он головой, — это нет позволено — чужой бик жарить. Я не хочу тюрьма сидеть. Когда я бил мальчик, я очень хотел риба ловить" (с. 67); "О-о, — восхищался Пепс, — ти хороший охотник на риба! Ти на риба чемпион! Клювает! Артиомка, клювает!" (с. 68); "Слушай, — торопливо заговорил Пепс, — Шишка сказала, хороший рибальник ходит ночь ловить риба. Ночь риба очень клювает. Пойдем, Артиомка, мы очень много бичков поймай" (с. 68); "В каждой страна есть хороший люди и есть плёхой люди. Хороший бедный, плёхой богатый... — Дед Шишка говорит, что роль — это в колотушку стучать. Правда это? — О нет! Это глупа! Роль — это делать так, чтоб люди плакал, чтоб люди смеялся, чтоб у люди чувство хороший бил" (с. 69).

В анализе этого текста мы отвлечемся от двух моментов. Во-первых, не будем рассматривать фонетические искажения, которые являются поверхностным, но самым ярким для русского читателя свидетельством принадлежности соответствующей речи инофону. Во-вторых, простим автору некоторые системные и логические несоответственности в передаче речи одного и того же персонажа, типа *ти* — *мы*; к *твоей черний* вм. ожидаемого *"твой"*; *черний* — *приятный*; я бил *Франции...*, потом бил *в Германии*; много *бичков* вм. ожидаемого *"бичок"*; чтоб у *люди* чувство хороший бил вм. ожидаемого *"люди... имел"*; форма *"рибальник"* в принципе возможна, но поскольку она употреблена в передаче Пепсом речи деда Шишки, здесь скорее ожидалось бы *"подражание"*, т.е. правильная форма *"рыбак"* (или *рибак*), а не творческое конструирование по правилам аналогии, и др. Подобные несоответственности естественны для писателя, который не является лингвистом и прибегает к своеобразной гиперболе, чтобы достичь заданного

⁴⁶ Цит. по изд.: Библиотека мировой литературы для детей. М., 1983.

художественного эффекта. С такой гиперболизацией мы встречаемся сплошь и рядом, например, тогда, когда в сценической речи, пытаясь стилизовать диалектные особенности говора персонажа, автор или сам исполнитель соединяет вещи несопрягаемые одна с другой: оканье с яканьем или "г" фрикативное /γ/ с оканьем и т.п. Сосредоточимся на таких особенностях речи Пепса, которые связаны с нарушением категорий, действительно характеризующих, на наш взгляд, общерусский языковой тип.

К ним можно отнести следующие:

1) Явное преобладание прямых форм — именительного падежа и, частично, инфинитива: *морда, бык, тюрьма, рыба, страна, люди, ночь, поймать, ловить, сидеть* — употребляемых на месте косвенных (*морде, быка, в тюрьме, ночью*) и личных глагольных форм (*поймаем*).

Однако сама по себе эта черта в отрыве от других особенностей представляется еще недостаточной для опознания речи инофона, если иметь в виду широкую распространенность подобных форм в русской разговорной речи (ср. "именительный темы").

2) Отсутствие согласования в роде или, наоборот, наличие формального согласования там, где грамматические закономерности в русском языке отступают перед семантикой: *белый краска, большой спасибо, пьяная Самарин потеряла, какой приятный встреча, но Шишка трезвая, какая умная Шишка*.

Здесь происходит свободное варьирование в формах мужского и женского рода при согласовании, но с некоторым предпочтением в пользу мужского рода (т.е. он чаще выступает и на месте среднего, и на месте женского, чем женский на месте мужского и среднего). Средний род вообще отсутствует. Тенденция к превращению категории рода в бинарную связана здесь, очевидно, с влиянием родного для говорящего французского языка, а превалирование мужского рода можно объяснить вообще преобладанием в речи этого персонажа исходных (лемматизированных) форм (см. выше); мужской же род в русском языке выступает обычно как словарная, лемматизированная форма, т.е. немаркированная. С точки зрения несоответствия этой особенности в речи нашего инофона литературной норме указанные тонкости не имеют никакого значения, равным образом они несущественны и с точки зрения создания художественного эффекта. Аналитически их видит только лингвист, а на читательское восприятие они воздействуют только в совокупности. В этих отношениях важен только сам факт отсутствия согласования в роде, и поэтому приведенные случаи в плане нарушения нормы не отличаются, казалось бы, от реальных диалектных: *сено-то уже сухая, окно какая грязная и — такой молоко, большой окно; моя зверь и мой зверь, твоя путь и твой путь; коса заплетен, ягоды набран*⁴⁷. Но для специалиста-русиста принципиальная разница отклонений от нормы в инофонной и диалект-

⁴⁷ См., например: *Захарова К. Ф., Орлова В. Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970. С. 134, 146 и др. Изд. 2. М.: URSS, 2004.

ной речи очевидна. Она определяется строгой детерминированностью — строевой и лексической — диалектных явлений, связанных с отсутствием согласования в роде (в первых двух парах примеров зафиксирована последовательная тенденция к вытеснению среднего рода женским или мужским в ряде говорів среднерусской зоны, далее колебания в роде касаются только данных двух слов — зверь и путь, т.е. фактически являются лексикализованными, и наконец, две последние формы демонстрируют явление, относящееся только к страдательным причастиям, тяготеющим к мужскому роду) и случайным, стохастическим, внутрисистемно не обусловленным варьированием грамматического рода в словосочетаниях, продуцируемых иностранцем, слабо владеющим русским языком.

3) Отсутствие согласования в числе: *другие борцы белый, хороший люди, люди плакал*. Пожалуй, эти случаи не имеют аналогий в русских говорах (за исключением, может быть, случая *народ пришли быстро*), и соблюдение такого согласования может быть безоговорочно отнесено к общерусскому языковому типу, оно свойственно как литературному языку, так и диалектному.

4) Нарушения в управлении: в приведенных в группе "Д" текстах мы имеем дело с двумя типами случаев — отклонениями от правил управления падежей с предлогами и отклонениями в глагольном управлении. Предложно-падежные сочетания в речи инофона отличаются прежде всего тем, что имя в этих сочетаниях стоит в номинативе: *к твоей морда, не хочу тюрьма сидеть, ти на рыба чемпион*. Если мы обратимся к русской диасистеме, то найдем здесь определенное варьирование в построении предложно-падежных сочетаний (*к жонь, по землі, на рукі⁴⁸ и от сестрѣ, у вдовѣ; на быкѹ, на столику, в ягоды, по топор⁴⁹ и простореч. помылся в душу*), однако эти колебания всегда связаны с заменой одного косвенного падежа другим и никогда не допускают появления предлога с именительным падежом. Таким образом, хотя с точки зрения литературной нормы обе формы *на рыба* и *на жонь* являются нарушениями, последняя воспринимается как русская (ср. *на жонь новый платье надет*), тогда как первая не находит места в системе русского языка и всегда производит впечатление "чужой".

Особенности глагольного управления представлены такими конструкциями: *чужой бик жарить, рыба ловить, черный рожка играл белый человек*, в которых падеж прямого объекта заменен опять-таки номинативом, да к тому же во всех трех случаях объект оказывается одушевленным.оборот типа *рыба ловить* однозначно соотносится с диалектным *картошка копать* и древнерусским *земля пахать⁵⁰*, причем одушевленность имени и его род здесь, как кажется, значения не имели. Ср. в "Домострое": како душа спасти,

⁴⁸ Там же. С. 131, 135, 142.

⁴⁹ Там же. С. 98, 128, 136.

⁵⁰ Степанов Ю.С. оборот *земля пахать* и его индоевропейские параллели: Балтославянское предложение, 1 // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. N 2; Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Указ. соч. С. 87.

имѣти страх божий и телесная чистота, дневная ества варити, как мука съяти, какъ квашня притворити и замѣсити⁵¹. Следовательно, отмеченные в речи инофона отклонения от нормы в глагольном управлении не нарушают закономерностей общерусского языкового типа и не могут служить показателем "нерусскости" речи иностранца. Естественно, вывод этот имеет силу для одиночного, вне широкого контекста употребления рассматриваемых конструкций, в сочетании же с другими отклонениями их роль становится иной. Вообще для опознания русскости/нерусскости речи необходим достаточно представительный контекст, который позволял бы установить повторяемость явлений, сравнить речь данного лица с репликами партнеров. По отдельным конструкциям сделать какие-либо обобщения невозможно, так, вне контекста фразы "всю картошку съедено" и "у меня есть два дети" (ответ на вопрос, сколько у вас детей?) вполне могут быть расценены как нерусские, хотя первая из них — довольно широко распространенный в диалектах оборот, а вторая взята мною из интервью с русской жительницей деревни, переданного по радио 7 марта 1986 года⁵².

Нам осталось рассмотреть несколько небольших особенностей анализируемого текста. Одна из них, связанная с образованием форм и слов по аналогии, по существующим моделям, безусловно, остается в пределах общерусского языкового типа, другие черты речи инофона уже нарушают закономерности последнего и опознаются как нерусские.

5) Образования по аналогии представлены всего двумя примерами: формообразующим *клювает* и словообразовательным *рибальник*. Такого рода грамматикализованные, т.е. не принимающие в расчет лексических особенностей единиц, образования мы встречаем и в диасистеме, но особенно широко они распространены в детской речи. Подобные случаи, являясь нарушением литературной нормы, относятся тем не менее к общерусскому языковому типу, реализуя потенциально допустимые точки системы и такие ее состояния, которые не имеют статистики, а являются индивидуальными, случайными образованиями.

6) Способы передачи отрицания, наоборот, совершенно явным образом нарушают законы русского языка и выступают как отчетливый показатель иностранной речи: *ти не ешь актер, нигде видно не был (<где это видано), это нет позволено*.

7) В последнюю группу особенностей могут быть сведены разнообразные случаи нарушений лексической сочетаемости (*краска не*

⁵¹ Цит. по кн.: Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 106.

⁵² Хотя конечно, эту конструкцию можно рассматривать и как случайную, не воспроизводимую. Ситуация была для интервьюируемой необычной: суета сотрудников выездной редакции радио, энергичный и напористый корреспондент с микрофоном, ответственные вопросы (речь шла о борьбе за мир). Поэтому данную фразу можно интерпретировать и как контаминированную из двух: У меня есть два [ребенка], но, сообразив, что о *взрослых* не скажешь *ребенок*, говорящая употребила слово *дети*. Тогда эта фраза — пример простого косноязычия, не точной вербализации единиц промежуточного языка.

ляжет) и незнания семантики слов (*бычок* — рыба и *бычок* — бык), т.е. ошибки, которые в соответствующем контексте носитель русского языка — владеющий ли литературной нормой или не владеющий ею — никогда не допустит. Хотя само по себе сочетание, скажем, *на эту поверхность краска не ляжет* может в определенной ситуации оказаться вполне нормативным, т.е. "краска" может "ложиться", но только "на" что-то, а не "к". Вообще нарушения лексической сочетаемости против существующей нормы в живой русской речи происходят постоянно, но эти нарушения предполагают два обязательных условия (естественно, при наличии грамматической правильности, например в управлении), соблюдение которых и позволяет такие отклонения не выводить за пределы общерусского языкового типа: а) соответствующий контекст или ситуацию и б) конкретную цель — достижение ли экспрессии выражения, эмоциональной действительности или неожиданного ассоциативного ореола. Например, мы знаем, что *ворковать* может *голубь*, в переносном употреблении этот глагол применим к влюбленным, но когда, выйдя на залитый ярким мартовским солнцем двор, где стучит капель, звенят ребячьи голоса, и обменявшись приветствием со знакомым, мы слышим от него: "Погода-то воркует!", мы, конечно же, не воспринимаем такое сочетание как нерусское, хотя оно и не предусмотрено нормой, а видим в нем поэтическую метафору, вполне согласующуюся с законами русского языка, соответствующую нашим интуитивным представлениям об общерусском языковом типе.

В результате наблюдений над речью инофона и сопоставления отмеченных в ней фактов со всеми формами существования русского языка, а именно — ситуативным его варьированием в русской разговорной речи, территориальным варьированием в диалекте и временным варьированием в процессе исторической эволюции, мы можем теперь указать некоторые черты общерусского языкового типа, входящие в апперцепционную базу русской языковой личности. К ним отнесем следующие.

Колебания в грамматическом роде имен допускаются только по отношению к словам среднего рода (за исключением нескольких иностранных слов в норме и единичных лексикализованных случаев — *зверь*, *мышь*, *путь* — в диалекте). Согласование в числе при сочетаниях имени с прилагательным и глаголом не знает исключений. С предлогом употребляется только косвенный падеж или винительный. Способы отрицания имеют четко ограниченные и строго соблюдаемые формы выражения. Допустима замена прямого падежа объекта падежом субъекта в оборотах типа *рыба ловить*. Нелексикализованные, т.е. не подтвержденные прецедентным употреблением, образования по законам грамматической аналогии не нарушают правил общерусского языкового типа. Наконец, к общерусскому языковому типу относится неопределенная по объему, но довольно ясная по содержанию сфера лексической семантики, соблюдение закономерностей которой требует от пользующегося языком знания семантической структуры слов и правил словоупотребления.

Эти весьма предварительные обобщения, при всей их само-собой-разумеемости, все-таки до некоторой степени приближают нас к прояснению понятия общерусского языкового типа. Однако у читателя может остаться чувство неудовлетворенности от всей приводимой мной аргументации по поводу отклонения каких-то явлений от общерусского языкового типа или, наоборот, согласования с ним, неудовлетворенности, порожденной кажущейся искусственностью, а значит, ненадежностью, недостаточной достоверностью исходного материала. Ведь таким материалом послужила писательская стилизация нерусской речи, т.е. индивидуальное, статистически не подкрепленное построение, мерой достоверности которого служит обычно только талант автора. Итак, докажите, что ваш автор талантлив, и потому мы можем ему доверять... По поводу такого рода возражений хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сама стилизация возникает в подобных случаях как интуитивное конструирование нарушений закономерностей общерусского языкового типа с целью создания художественного эффекта нерусской, "чужой" речи. При этом автор опирается на имеющуюся у него самого и присущую каждому носителю русского языка — его потенциальному читателю — концепцию родного языка, когда "... потянулась за этим словом цепочка родных слов, ведущая к истоку моей реки, моего языка, моего народа..." (М. Ганина). Концепция родного языка, базирующаяся на общерусском языковом типе, и позволяет осуществлять такую стилизацию достоверно, а сопоставление инофонных речевых произведений и со всеми прочими, помимо литературной, формами существования русского языка подтверждает в основном последовательность и убедительность этой стилизации.

Тем не менее в споре со скептически настроенным читателем следует, очевидно, обратиться и к более убедительным доводам в пользу справедливости принятой нами позиции. Я имею в виду случаи авторски документированной речи иностранца на русском языке, из анализа которой можно делать заключения о тех или иных чертах общерусского языкового типа.

Е. Как известно, Р.М. Рильке некоторое время жил в России, он говорил по-русски и написал несколько стихотворений на русском языке. О них-то и пойдет речь³³ (строчки пронумерованы для удобства анализа).

Утро

- (1) И помнишь ты, как розы молодые,
- (2) когда их видишь утром раньше всех,
- (3) все наше близко, дали голубые,
- (4) и никому не нужен грех.
- (5) Вот первый день и мы вставали
- (6) из руки Божья, где мы спали —
- (7) как долго — не могу сказать:
- (8) Все былое былина стало,
- (9) и то что было очень мало, —
- (10) и мы теперь должны начать.

³³ Цит. по изд.: *Рильке Р.М.* Новые стихотворения. М., 1977.

- (11) Что будет? Ты не беспокойся,
- (12) да от погибели не бойся,
- (13) ведь даже смерть только предлог;
- (14) что еще хочешь за ответа?
- (15) да будут ночи полны лета
- (16) и дни сияющего света
- (17) и будем мы и будет бог.

Это стихотворение интересно тем, что в нем мы встречаем только одно прямое нарушение принципов общерусского языкового типа — *за ответа* в строке /14/. Прочие отклонения от нормативных конструкций находят параллели либо в диасистеме (*из руки Божья* в 6-й строке соотносимо с расподоблением падежей в сочетаниях "прилагательное + существительное": *с пустым ведром, в худым платье*); либо в разговорной речи (ср. вариативность в употреблении творительного—именительного: *былина стала* и *былиной стало* — строка 8); либо, наконец, представляет собой конструкцию, свойственную древнерусскому языку, т.е. "выхватывает" какой-то отрезок эволюционной траектории русской грамматической формы (*от погибели не бойся* — строка 12). Что касается незаконченного сложно-подчиненного предложения с союзами *как* и *когда* в первом четверостишии, то подобная вольность в поэтическом языке встречается довольно часто. Ср. то же в четверостишии Б. Пастернака, где сохранилась только подчиненная часть сложного предложения:

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Устала. Отвергнут.

И тем не менее, для русского глаза и слуха стихотворение Рильке кажется "негладким", производит впечатление "нерусскости", не только из-за единственной прямой ошибки, но главным образом из-за сочетания в одном небольшом тексте таких черт языкового строя, которые относятся к совершенно разным формам существования языка. Текст, содержащий особенности одной какой-либо формы существования — например, только диалектные черты, или только разговорно-просторечные, или только исторические — воспринимался бы как более цельный и как исконно русский (см. выше, подраздел Е.)

Приведу еще несколько отрывков из стихотворений Рильке на русском языке, содержащих отклонения от общерусского языкового типа (нумерация строк для удобства сопоставления дается сплошная).

Лицо

- (18) И только руки наполнились бы
- (19) моею любовью и моим терпением, —
- (20) но днем работой-то закрылись бы,
- (21) ночь запирала б их моленьем.

-
- (22) Я понимал, что близко день разлуки,
 - (23) и я открыл, как книгу, мои руки
 - (24) и оба клал на щеки, рот и лоб...

Старик

- (25) Все на полях: избушка уж привык
(26) к этому одиночеству, дышает
(27) и лаская, как няня, потушает
(28) плачущего ребенка тихий крик.
-

• • •

- (29) Я так устал от тяжбы больных дней
(30) пустая ночь безветренных полей
(31) лежит над тишиной моих очей.
(32) Мой сердце начинал как соловей,
(33) но досказать не мог свой слова;
(34) теперь молчанье свое слышу я —
(35) оно растет как в ночи страх
(36) темнеет как последний ах
(37) забытого умершего ребенка.

В приведенных отрывках мы находим по сути дела все явления, связанные с несоблюдением законов общерусского языкового типа и перечисленные выше. Здесь и колебания не только в среднем, но и между женским и мужским родом (*оба мои руки* — 23, 24), *избушка привык* — 25, *мой сердце начинал* — 32, *последний ах* — 36); нарушение согласования в числе (*свой слова* — 33); отклонения в управлении (*что хочешь за ответа* — 14); формально примененные правила аналогии по отношению к приставочным и бесприставочным образованиям (так, форма *дышает* в строке 26 возникает, очевидно, как бесприставочное соответствие словам *вздыхает, отдыхает, подыхает, передыхает* и т.п., а рифмующаяся с ней *потушает* должна, по мысли автора, передавать длительность действия от глагола *тушить* и образована так же, как в детской и диалектной речи *плакает* от *плакать*); имеются и лексико-семантические сдвиги, которые не укладываются в пределы метафорических переносов значений, допускаемых общерусским языковым типом (*руки закрылись бы работой* — 20, *ночь запырала б их моленьем* — 21, где употребление обоих глаголов в значении "занимать" превышает возможности общерусского языкового типа и находится на грани семантического нонсенса). Таким образом, обращение к документированной речи инофона подтвердило наши предварительные выводы об общерусском языковом типе, сделанные на материале стилизованной русской речи иностранца, слабо владеющего языком.

Помимо аналитических приемов выявления структурных черт общерусского языкового типа путем сопоставления, скажем, речи в онтогенезе с диалектной речью, а текста, произведенного нерусским, — с определенными этапами исторического становления современного состояния языка, или наоборот, существуют и прямые способы констатации наличия такой единой основы у всех русскоговорящих, общей апперцепционной базы русофонов. Одним из таких способов является эксперимент по восприятию и воспроизведению древнерусских и старорусских текстов средними носителями языка, т.е. русофонами, не являющимися ни филологами,

ни тем более русистами. Для эксперимента выбраны два отрывка из русских памятников письменности — XI и XVI в. Испытуемыми были геолог и врач. Текст каждого памятника был прочитан один раз, и один из испытуемых сделал письменное изложение отрывка, после чего второй испытуемый пересказал его устно. Привожу исходный текст и оба пересказа.

Завещание Ярослава мудрого⁵⁴

В лето 6562. Преставися великий князь руський Ярославъ. И еще бо живущю ему, наряди сыны своя, рекъ имъ: "Се азъ отхожю света сего, сынове мои; имейте в себе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матери. Да аще будете в любви межю собою, богъ будетъ в васъ, и покорить вы противныя подъ вы. И будете мирно живуще. Аще ли будете ненавидно живуще, в распряхъ и которающесе, то погыбнете сами и погубите землю отецъ своихъ и дедъ своихъ, иже налезоса трудомъ своимъ великымъ; но пребывайте мирно, послушающе братъ брата.

1. (письм.) Умирая, князь Ярослав призвал к себе сыновей своих: "Живите в мире и дружбе для сохранения земли отцов и дедов своих. Если будете враждовать, то погубите землю свою и себя".

2. (устный) Летом 6658 года умер Святослав⁵⁵. Перед смертью собрал он своих сыновей и завещал им жить в любви и мире. "Тем самым вы приумножите славу своего рода. Если вы будете жить в распрях, ненависти, тем самым погубите землю русскую и свой род".

Думается, что пересказы не требуют особых комментариев. Искажение так называемых прецизионных слов, к которым в данном случае относятся имя и дата, а также незнание семантики отдельных лексем (например, "летом" во 2-м тексте) не мешают констатировать принципиальное понимание испытуемыми текста в целом, осознание его как русского, родного, хотя и архаичного. Следующий текст, по признанию испытуемых, показался им совсем легким и понятным.

Домострой⁵⁶

Подобаеть поучити мужемъ женъ своихъ с любовию и благоразсуднымъ наказаниемъ, жены мужей своихъ вопрошают о всякомъ благочинии, како душа спасти, богу и мужу угодити, и домъ свой добре строити, и во всемъ ему покарятися; и что мужъ накажетъ, то с любовию примати и творити по его наказанию: първие, имѣти страхъ божий и телесная чистота, яко же впреди указано бысть. Воставъ от ложа своего, предпочистивъ

⁵⁴ Приводится по изд.: О, Русская земля! Библиотека художественной публицистики. М., 1982, с. 27.

⁵⁵ Так в пересказе.

⁵⁶ Приводится по изд.: Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. М., 1985, с. 106.

себѣ и молебная совершивъ, женамъ и дѣвкамъ дѣло указати дневное, всякому рукодѣлю что работы: дневная ества варити, и которой хлѣбы печи ситные и решетные, и сама бы знала, как мука съяти, какъ квашня притворити и замѣсити, и хлѣбы валяти...

1. (письм.) Муж должен учить жену с любовью, чтобы она была в его послушанин, любос благо жена должна делать с разрешения мужа.

Утром, умывшись, надо озадачить свою жену: как замесить тесто, испечь хлеба, каждый должен знать свое дело.

2. (устный) Жена должна во всем повиноваться мужу, чтобы в семье было благо. Сохранять чистоту душевную и телесную. Утром, вставши с кровати, помолиться, привести себя в порядок. Женщины и девушки должны получить указание, что каждая должна делать. Должна знать, как муку сеять, тесто ставить, пироги печь и т.п.

Пересказы подтверждают понятность текста, неточности соответствуют прогнозируемым в такого рода экспериментах с текстами на родном языке, а возникающие при воспроизведении лакуны связаны с двумя уровнями организации языковой личности. На вербально-семантическом не воспринимаются и соответственно не воспроизводятся специальные слова (прецизионные), обозначающие типы хлебов, — ситные, решетные. На тезаурусном уровне внимание слушателей не фиксируется на тех местах исходного текста, которые связаны с богом, религией, поскольку система знаний современного человека, его тезаурус не включает такой сферы понятий в качестве одной из конструктивных составляющих картины мира, и память, не имея опоры в тезаурусе воспринимающего, опускает соответствующие места как несущественные для понимания текста: богу... угодити, имѣти страх божий, и молебная совершивъ. И еще одна особенность: письменный текст в обоих экспериментах короче устного.

Наши наблюдения и размышления об общерусском языковом типе можно подытожить следующим образом. Общерусский языковой тип имеет три аспекта, три неразрывно связанных одна с другой, не существующих по отдельности одна без другой грани: это аспект системный, аспект эволюционный и аспект личностный. В системном плане черты общерусского языкового типа реализуются в диасистеме, т.е. в диалектном языке в широком смысле слова, включая и "разговорную речь", и разлиты в пространстве — на всей территории распространения этой устной формы существования русского языка. Сама форма его существования есть постоянное функционирование, т.е. сплошная динамика и изменчивость. Диалектный язык не знает статики. Системные черты общерусского языкового типа выступают здесь как некоторый конструкт, как идеально прогнозируемый, а в ряде случаев реально существующий инвариант тех стохастических, случайных по своему характеру колебаний и флуктуаций, которые формируют так называемые диалектные различия и детерминируют тем самым диалектное членение, т.е. противопоставления ареальных подсистем русского

языка. Например *д/о/ма́, н/о/шу́* — сев. и *д/а/ма́, н/а/шу́* — южн.; *но/г/а́* — *но/к/* — сев. и *но/γ/а́* — *но/х/* — южн.; *дел/а/т,* *зн/а/т* — сев. и *дела/жэ/т* — южн.; *с работ/ы/* — сев. и *с работ/и/* — южн.; */пш/еница* — сев. и */пш/ница* — южн. и т.п. Помимо двучленных и многочленных соответственных явлений, ареальные подсистемы характеризуются не имеющими соответствий в других подсистемах, индивидуальными явлениями, а все они в совокупности создают стохастический ореол изменчивости вокруг некоторого идеализированного инварианта, как раз и составляющего ту или иную черту общерусского языкового типа. Стохастика в оформлении системных черт общерусского языкового типа находит отражение в изоглоссах, которые по сути дела интегрируют отдельные точки колебаний, вариативности, изменчивости, выявляющих относительно стабильный контур системной общерусской языковой черты, "остаток", который образуется за вычетом вариативного.

Однако каждая система, как известно, носит в себе свою историю. И в этом смысле русская диасистема содержит в остановленном виде отдельные отрезки эволюционной траектории тех или иных явлений. С эволюционной точки зрения русский язык XI в., XIV или XVIII вв. — это один и тот же язык, характеризующийся определенной изменчивостью, но сохраняющий тем не менее неизменной свою основу, которая и позволяет говорить о едином русском языке во времени. Парадокс заключается в том, что эволюционный, т.е. динамический по своей природе, аспект общерусского языкового типа представлен только в статике, поскольку единственной формой существования языка в его истории является письменная фиксация. Тем не менее, историческое изучение языка сосредоточено на фактах изменчивости, в них совершенно игнорируется константная часть, точно так же, впрочем, как диалектные изыскания сфокусированы на установлении различий и несколько не озабочены выявлением стабильной, устойчивой части в ареальных подсистемах. В исторических грамматиках последовательно прослеживается, например, история *ѣ* или история типов склонения имен, но практически никогда не идет речь о стабильных, неизменных, остающихся тождественными самим себе чертах общерусского языкового типа. Такие стабильные черты, которые должны придавать процессам исторического изменения детерминистский характер, не имеют и специального названия. Для обозначения процессов общезыкового характера, не связанных с национальной спецификой и конкретной историей отдельного языка, используют иногда термин "диахронические универсалии"; для частноязыковых процессов, которые обладают не общесистемной значимостью, а распространяются на фрагменты языковой системы и определяют развитие языка на некотором хронологическом отрезке, оставляя затем свой "след" в системе, предлагается термин "диахронические константы"⁵⁷. В качестве последних М.М. Гухман рассматривает,

⁵⁷ Гухман М.М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.

например, для германских языков в области словоизменения за период в 15 столетий следующие константы развития: установка на регулярную обобщенную парадигму (в отличие от первоначальной дробности), переразложение и опрощенность трехморфемной структуры, тенденция к ликвидации вокалических чередований и др.⁵⁸ Иными словами, диахронические константы как раз и приближают нас к выявлению общенационального языкового типа. В свое время нами был предложен для обозначения такого рода эволюционных тенденций термин "хроноглосса"⁵⁹, причем в этой работе не проводилось различия между обратимыми процессами и процессами, таким свойством не обладающими, т.е. односторонними, необратимыми. Очевидно, в соответствии с идеями М.М. Гухман за первыми из них целесообразно сохранить название "диахронические универсалии", тогда как вторые, необратимые, удобнее именовать термином хроноглосса — прежде всего из-за его сопоставимости с соответствующей единицей диасистемы — изоглоссой, а также учитывая связь его содержания с односторонностью, необратимостью самого исторического времени.

Однако хроноглосса, точно так же как изоглосса, еще не есть сама искомая, конкретная и стабильная черта общенационального языкового типа, она только констатирует процесс, эволюционный механизм становления и развития таких черт. Ситуация с выявлением последних в эволюционном плане такая же, как в диасистеме: установить неизменное, сохранное, устойчивое на протяжении веков мы можем как бы негативным путем — только изучая изменчивое, вариативное. Соотношение между хроноглоссой и изоглоссами таково: хроноглосса есть результат интегрирования — объединения, обобщения и компрессии — отдельных изоглосс; изоглосса статистична, стохастична по своей природе, поскольку представляет собой условную траекторию распределения в пространстве случайных флуктуаций, случайных "мутаций" в языковой системе, тогда как хроноглосса детерминистична, она задает программу будущих изменений, преобразований, содержит в свернутом виде прообраз будущего состояния. Каждая из единиц по отдельности, т.е. ни изоглосса, ни хроноглосса, еще не приближает нас к обнаружению той или иной составляющей общерусского языкового типа, но их соединение уже сужает горизонт поиска, конкретизирует зону существования инварианта, который должен одновременно принадлежать и эволюционному аспекту и системному, т.е. иметь соответствие и в диахронии и в диасистеме. Во всяком случае соединение стохастики, присущей диасистеме, с детерминизмом, свойственным эволюции, указывает путь, на котором мы можем ожидать удовлетворительного разрешения известного парадокса Ш. Балли — как язык может функционировать, оставаясь неизменным, а существовать, тем не менее — постоянно эволюционируя, т.е. меняясь в сторону усложнения.

⁵⁸ Там же. С. 85—95.

⁵⁹ Караулов Ю.Н. Языковое время и языковое пространство: О понятии хроноглоссы // Вестн. Московского гос. ун-та. Сер. филол. 1970. N 1.

Однако свое завершение и ответ на парадокс Ш. Балли и поиски инвариантных составляющих общерусского языкового типа получают только с введением третьей координаты — личностного аспекта владения языком и осознания родного языка. Дело в том, что в пределах трех одновременно существующих поколений язык остается для языкового сознания носителя неизменным, а возникающие "мутации", колебания в употреблении его форм воспринимаются и оцениваются языковым сознанием как естественная вариативность в рамках существующей нормы, все равно, общелитературной ли — для не владеющих диалектным языком или локальной, действующей в границах какого-то ареала — для носителей того или иного диалекта. Вариативность нормы может достигать широких пределов и восприниматься иногда болезненно, гипертрофированно, в связи с чем появляются трагические сечения по поводу засорения и порчи родного языка. Так, по данным неологической службы русского языка, службы "нового слова", в десяти постоянно обследуемых наиболее авторитетных периодических изданиях ежедневно фиксируется до 50 новообразований — новых слов, новых значений и оттенков у старых слов, не имеющих прецедентов словосочетаний или формообразований. Значит, в течение года таких новообразований должно быть более 15 тыс. Однако ежегодный бюллетень новых слов и значений включает только от 3,5 до 5 тысяч неологизмов, т.е. уменьшает их число — за счет случайных, окказиональных явлений — в три раза, а обобщающий словарь новых слов, подготавливаемый раз в пятилетие, сокращает это количество еще примерно в два раза. Иными словами, язык выступает как "диссипативная" структура, которая "сама себя правит", которая "гасит" эти беспорядочные флуктуации и колебания, оставляя, сохраняя на длительное время только то, что соответствует общерусскому языковому типу. И решающая роль в этом процессе принадлежит языковому сознанию носителей языка. Говоря так, я несколько не умаляю роли активной позиции в нормализаторской работе лингвистов, но, при всей важности и нужности последней, она несопоставима с ролью языкового сознания основной массы носителей. В конце концов борьба за устойчивость и чистоту литературной нормы, ведущаяся специалистами по культуре речи, строится прежде всего на апелляции к языковому сознанию, точно так же как сама норма формируется как ядро, как сжатое, свернутое, выражение все того же общерусского языкового типа. Но и норма, учитывающая как системный, так и эволюционный аспекты языка, невозможна без третьей координаты — личностной, т.е. языкового сознания.

Языковое сознание в своих оценках языковых явлений оперирует формальным и содержательным критериями. В соответствии с первым решается вопрос правильно/неправильно (или по-русски/не по-русски) строится то или иное выражение (ср. примеры, приведенные выше, в пунктах "Г" и "Д"). Содержательный критерий позволяет установить соответствие или несоответствие сказанного замыслу, т.е. установить адекватность/неадекватность вербализации едини-

дам промежуточного языка. Не рассматривая пока вопроса о содержательной оценке, отметим, что основой для вынесения суждений о правильности, о русскости выражения служит то неуловимое чувство языка, чувство родного слова, о котором много говорили и писали и Павский, и Буслаев, и Аксаков, и многие другие выдающиеся русисты прошлого и современности. Какова же конструктивная предпосылка таких суждений, которая позволяет языковой личности осуществлять одновременно и межпоколенную связь, т.е. контакт за пределами трех поколений, когда для индивидуума начинается собственно история, связь, устанавливаемую уже не непосредственно путем устного общения, а через письменные источники, путем чтения литературных, публицистических произведений, деловых документов, писем и т.п.? Почему все-таки современный человек понимает не только тексты Пушкина и Карамзина, но способен понять и древнерусские тексты? Иногда можно услышать такие суждения, что Пушкин, например, не смог бы понять какую-нибудь простую фразу современного обыденного языка, типа «В кино "Ударник" идет новый фильм». Не берусь судить за Пушкина, но, на мой взгляд, приведенная фраза для русофона, жившего 150 лет назад, должна бы звучать примерно так же, как для нашего современника звучит знаменитая "Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка" Щербы или офенская фраза "Поёрчим на масовском остряке и повершаем да пулим шивару" (Поедем на моей лошади и посмотрим да купим товару)⁶⁰. То есть звучат они вполне по-русски, хотя носитель языка не сможет опознать в них почти ни одного слова; ощущение же русскости возникает прежде всего за счет привычного для слуха их фонетического оформления и интонации, далее, за счет угадываемой с помощью флексий, порядка слов и союзов синтаксической роли [агенса, пациенс, средство, объект] и соответственно частеречной принадлежности, согласования в словосочетаниях, указаний на падежи и лица глаголов, глагольное и предложное управление, за счет формообразующих и словообразовательных формантов, вызывающих в сознании соответствующие шаблоны, стереотипы. Если же к перечисленным явлениям, составляющим грамматический уровень языкового сознания, или грамматикон языковой личности, добавить отсутствующие в приведенных фразах явления лексико-семантического уровня, — корни русских слов с ореолом значений, образующим этимон каждого корня, достаточно устойчивую часть в наборах слов, составляющих ассоциативные поля и стандартные ассоциативные цепочки, типовые, т.е. обладающие высокой прецедентностью словосочетания, — то мы и получим как раз примерный перечень черт общерусского языкового типа, преломленный сознанием носителя русского языка.

Единицу языкового сознания, отражающую определенную черту языкового строя, или системы родного языка, которая обладает

⁶⁰ Пример взят из кн.: *Бондалетов В.Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев. Рязань, 1974. с. 77.*

высокой устойчивостью к вариациям и стабильностью во времени, т.е. интегрирует свойства изоглоссы и хроноглоссы на уровне языковой личности, назовем психоглоссой. Набор психоглосс, вероятно, и должен определять содержание общерусского языкового типа. Полагаю, что введение такого названия для единицы общерусского языкового типа оправдано двумя соображениями. Во-первых, она оказывается в одном ряду с однотипными наименованиями для единиц других его составляющих:

- изоглосса в диасистеме,
- хроноглосса в эволюции,
- психоглосса в языковом сознании.

Во-вторых, будучи принадлежностью сознания ("психо-"), эта единица, в отличие от изоглоссы и хроноглоссы, всегда связана со словом, и поэтому с полным правом включает в состав своего имени второй корень ("-глосса"). Если две первые единицы могут отражать отвлеченную от лексемы часть значения или звучания (например, переход звуков, распространенность суффиксов, согласование флексий, управление предлога падежом отдельного ЛСВ), то психоглосса представляет собой только лексикализованное явление. Вообще роль лексикализации (прежде всего по отношению к грамматическим и фонетическим закономерностям) остается в языкознании неоцененной по-настоящему. Во владении языком ей принадлежит исключительно высокая, решающая роль. По сути дела на уровне вербально-ассоциативной сети вся грамматика лексикализована, "распределена" по лексемам, "закреплена" за отдельными словами или группами слов. С учетом этого слово имеет невероятно сложное строение: оно обладает определенной семантической структурой, осложнено социальным и эмоционально-экспрессивным компонентами значения, содержит начатки знания и формирует определенное понятие о мире, потенциально заряжено образностью, членится на значимые части, включает правила формально-грамматической изменчивости, отражает фонетические закономерности составляющих его звуков, в нужный момент обнаруживает скрытые свои синтаксические связи. Теоретически, в экстремальном случае, лексикализованными могут быть все свойства слова одновременно, однако таких случаев в языке не зафиксировано, так же как само явление лексикализации не распространяется на все слова языка, т.е. не каждое слово несет в себе материализованную грамматику, застывшее указание на какое-то грамматическое свойство. Как правило, лексикализованным, т.е. индивидуализированным, неповторимым, оказывается какое-то одно из свойств: то ли фонетическая характеристика — *коне/шн/о*, то ли изменение значения при переходе от единственного числа к множественному *ремонт — ремонты*, то ли застывшая падежная форма — *шагом, босиком*, то ли индивидуально закрепленная родовая принадлежность — *синее море, но черный кофе*. Хотя лексикализация, как было сказано, не распространяется на все слова, она, тем не менее, представлена в языке значительно шире, чем это принято думать. Если мы обратимся к диасистеме, то можем идентифицировать это яв-

ление гораздо в большем числе случаев, чем традиционно фиксируется диалектологами. Оказывается, что даже часть признаков, на основе которых проводится диалектное членение русского языка, представляет собой лексикализованные явления. Ср. произношение определенных слов: /ди/ ра, /ди/ р'авой, /ви/ сокий, сы/ти/, ра/ди/; колебания между мужским и женским родом, касающиеся слов *зверь, путь* и *мышь*. В эволюционном аспекте лексикализация выступает и как обособление отдельных форм слова (*поделом*), и в процессах идиоматизации сочетаний (*собаку съест*), и как фактор ограничения действия грамматических законов: например, непоследовательности прохождения третьей палатализации (*князь, но княгиня*) могут быть объяснены лексикализованным характером известных отклонений от правила. Наконец, в онтогенезе и в процессе овладения иностранным языком продвижение к удовлетворительной степени владения есть процесс усвоения лексикализованных явлений, лексикализованной части вербально-ассоциативной сети, поскольку знание лексикализованных явлений — один из первых показателей владения языком. Когда слабо владеющий русским языком инофон говорит б/и/л < *был*, гл/ю/по < *глупо*, черн/ий/, толст/ий/, в/и/сокий, то допускаемое им смягчение твердых согласных грамматикализовано, распространяется практически на все подобные сочетания в его речи, тогда как диалектные д/и/ра, в/и/сокий, винова/ти/, моло/ди/, ра/ди/ — лексикализованы⁶¹. Подобным образом именно лексикализацией отличается диалектное *лесу живем* (явление, свойственное, впрочем, иногда и разговорной речи) от фиксированного в речи инофона сочетания *тюрьма сидеть* или *Франции бил*. В онтогенезе процесс лексикализации грамматики идет параллельно с процессом семантизации (или раскрепления, распределения по словам) знаний о мире становящейся личности, и, естественно, параллельно с процессом грамматикализации, т.е. обобщения, абстрагирования правил словоизменения и словообразования. До некоторого возраста все предложно-падежные сочетания у русского ребенка лексикализованы (*на столе* — это одно слово⁶²), точно так же, как тенденция к грамматикализации в этот период, т.е. применения аналогии, не знает границ (*фантастический рассказ, шишенята* < *шишка, всколькером?, воеает*). Одновременно с умением дифференцировать словосочетания на слова, а слово на морфемы и с овладением правилами лексических ограничений в этих процессах ребенок учится распределять приобретаемые им знания по отдельным лексическим единицам. До определенного момента обозначение процесса приема пищи, например, у него связано со словом кусает: *он кусает яблоко, волк кусает мясо, корова*

⁶¹ Хотя, конечно, и здесь наблюдается определенная стохастика, колебания, непоследовательности и разброс в распространении явлений смягчения на ряд диалектных слов. См., например, статистическую оценку этих явлений: *Валина И.Г.* Формы множественного числа кратких прилагательных в русских говорах // *Диалектология и лингвогеография русского языка*. М., 1981. С. 106. Несмотря на приведенную статистику, лексикализованность данного явления не вызывает сомнений.

⁶² *Карпова С.Н.* Осознание словесного состава речи детьми-дошкольниками. М., 1968.

кусает траву. На вопрос — "а что делает утка — кусает хлеб или клюет?" — он уверенно отвечает — "кусает". Дифференциация между словами *кусает*, *жует*, *хватает*, *глотает*, *щиплет*, *рвет* наступит позднее, а пока в его тезаурусе главное слово ("дескриптор" соответствующего поля) — *кусает*, и оно в его собственной речи способно заменить любую единицу данного семантического множества, встретившуюся в чужой речи и "понятую" им, т.е. семантизации (а можно сказать и в этом случае — "лексикализации") знаний в данной сфере еще не произошло.

Из сказанного становится ясно, что мы понимаем лексикализацию шире, чем обычно она трактуется в лингвистических работах, обозначая этим термином способ хранения грамматики, грамматических знаний в лексиконе языковой личности, или в ее вербально-ассоциативной сети, где они оказываются и закрепленными за отдельными словами, органически слитыми с ними (т.е. лексикализованными), но одновременно и абстрагируемыми, существующими в виде чистых правил, готовых к применению к великому множеству неслышанных ребенком новых слов (т.е. грамматикализованными). По мере формирования языковой личности и овладения языком происходит усиление лексикализации, т.е. становится прецедентным, а значит, предсказуемым, грамматическое поведение каждого слова, и ослабление грамматикализации, т.е. ограничение возможностей к свободной комбинаторике, к слово- и формотворчеству. Однако лексикализация свойственна не только первому, семантическому уровню организации языковой личности, но проявляется и на когнитивном уровне, будучи связанной с семантизацией знаний о мире в процессе складывания у человека в онтогенезе образа этого мира. Можно предположить, что так понимаемая лексикализация обнаружится и на высшем уровне организации языковой личности — уровне мотивационно-деятельностном, если оценивать, например, способы оперирования прецедентными текстами (название, автор, крылатое слово, имя персонажа, расхожая цитата) как лексикализацию. Таким образом, лексикализация проходит через все три уровня в структуре языковой личности.

Теперь возвратимся к психоглоссе. Далеко не всякое лексикализованное явление формирует психоглоссу, т.е. некоторую константу языкового сознания носителя языка, но психоглосса может основываться только на лексикализованном, органически спаянном со словом факте грамматического строя или факте, отражающем фрагмент образа мира, элемент тезауруса, или же, наконец, языковом факте, относящемся к потребностно-мотивационной, деятельно-коммуникативной сфере личности. Иными словами, лексикализация оказывается шире процесса образования психоглоссы, последние составляют некоторый синхронный инвариант языкового сознания, тогда как лексикализация вообще отливается на каждом уровне организации языковой личности в определенный набор стереотипов, шаблонных фраз, представляющих собой общеупотребительные "паттерны" обыденного языка — с окаменелой, застывшей в них грамматикой — на вербально-ассоциативном уровне, генерализованные

высказывания об устройстве мира — на уровне когнитивном, или тезаурусном, и оценочно-мотивационные речевые шаблоны на поведенческом уровне⁶³. Здесь напрашивается, может быть и отдаленная, но, на мой взгляд, показательная аналогия между психоглоссой и понятием "культурно-исторического типа", развивавшимся Н.Я. Данилевским. Автор обосновывал различия в психическом строе народов, связанные с формированием культурно-исторических типов, различиями трех уровней, или "разрядов", как он выражался: во-первых, различиями "этнографического" характера, т.е. всей совокупностью частных деталей жизни и повседневного быта; во-вторых, различиями "руководящего ими высшего нравственного начала", т.е. мы бы сказали национальной картины мира, общенациональным тезаурусом, и, в-третьих, различиями "условий и хода исторического воспитания"⁶⁴, т.е. спецификой традиционных мотивационно-деятельностных моделей.

Соответственно трем уровням языковой личности целесообразно, очевидно, рассматривать три вида психоглосс — грамматические, когнитивные и мотивационные. Первые связаны со знанием родного языка, вторые совпадают с типичными категориями образа мира соответствующей эпохи, третьи в какой-то степени отражают национальный характер.

Оставляя пока в стороне когнитивные и мотивационные психоглоссы, отметим, что грамматические как раз и формируют единую апперцепционную базу⁶⁵ говорящих на русском языке, называемую мной общерусским языковым типом и позволяющую носителям языка отличать текст инофона от текста диалектного или архаичного, и в то же время идентифицировать оба последних как собственно русские. Теперь задача могла бы состоять в определении набора, или системы, грамматических психоглосс, который исчерпывающим образом очертил бы общерусский языковый тип. Однако при всей кажущейся простоте таким образом сформулированной задачи она оказывается трудно выполнимой по двум, по крайней мере, причинам. Во-первых, как отмечалось выше, стабильное, инвариантное, устойчивое всегда хуже поддается фиксации, чем стохастическое, флукутирующее, изменчивое. Именно поэтому и в исторической грамматике, и в описании диалектного языка ученые сосредоточиваются на процессах изменений, отклонений, неявным образом кладя в основу своих рассуждений и выводов допущение о существовании некоторого неизменного, общего в хронологическом или территориальном отношении ядра, на фоне

⁶³ Ср. похожие рассуждения о роли речевых шаблонов на уровне бытовой диалогической речи (т.е. в нашей интерпретации — на уровне вербально-ассоциативной сети) в работе: *Якубинский Л.П. О диалогической речи // Русская речь. 1. Пг., 1923. С. 174—176.*

⁶⁴ *Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1895. С. 184 и сл.*

⁶⁵ Подчеркнем, что использование этого же термина. Л.П. Якубинским в упомянутой работе предполагает совсем иное содержательное его наполнение: он называет апперцепционной базой не знание языка, а общее знание носителей языка о мире, т.е. по сути дела имеет в виду общенациональный тезаурус.

которого эти изучаемые ими изменения и имеют место. Но конструктивные черты такого ядра остаются невыявленными. Весьма характерным в этом отношении представляется признание диалектологов-синтаксистов, которые в ответ на замечание об ограниченности набора синтаксических явлений и конструкций, подвергаемых картографированию и служащих для характеристики диалектных различий⁶⁶, признают его справедливость и высказывают убеждение в том, что в целом, в своей основе синтаксис един для всей русской территории. Однако, в чем состоит это единство, определить никому не удалось, и создается впечатление, что выявить инвариантные черты можно лишь выйдя за пределы данной системы, т.е. в результате сопоставительного анализа ее характеристик с родственными или неродственными языками. Но ведь в зависимости от объекта сопоставления (сопоставляем ли мы русский язык со шведским или с казахским) релевантными будут оказываться каждый раз то одни, то другие черты, и идея инвариантности просто-напросто лишится почвы. Во-вторых, трудность выявления грамматических психоглосс проистекает также из того факта, что сами психоглоссы не остаются на протяжении исторического времени стабильными: так же как все целостное представление об общерусском языковом типе, отдельные его составляющие — психоглоссы — эволюционируют, соединяя в себе странным образом высокую стабильность — для языковой личности определенной эпохи, с высокой же пластичностью — по отношению к данной языковой системе. Понимание общерусского языкового типа, естественно, только ретроспективно-диахронически в то время ориентированное, было одним, скажем, для Шишкова — в начале XIX в., но уже иным для Пушкина, отделенного от активной деятельности первого совсем небольшим промежутком времени. И конечно, совершенно другим становится это понимание для нашего современника, воспитанного на языке русской классики прошлого века, погруженного повседневно в сферу разнообразных возможностей языка массовых коммуникаций, обогащенного лучшими достижениями русской советской литературы и благодаря общему росту культурно-образовательного уровня достигшего в своем языковом развитии в среднем гораздо больших возможностей, чем рядовой носитель языка прошлого века. Таким образом, сама языковая личность постоянно прогрессирует, совершенствуется вместе с развитием общества, человечества, культуры, а психоглосса, будучи принадлежностью языковой личности, т.е. являясь и свойством языка, и одновременно свойством личности, тоже подвержена эволюционным преобразо-

⁶⁶ В их число входят различные формы и варьирование семантики причастий; отклоняющиеся от нормативных многочисленные падежные конструкции, связанные с семантикой одушевленности, принадлежности, количества, выражения времени и разнообразных модальных оттенков; особенности передачи наклонений, типы и семантика частиц, конструкции с двумя и тремя инфинитивами и нек. др. Интересно, что сам набор этих явлений как раз и очерчивает зону стохастики, т.е. совокупность точек системы, подверженных наибольшему колебаниям, варьированию, преобразованиям, в историческом синтаксисе.

ваниям, хотя как прогресс языковой личности в историческом времени, так и эволюция психоглосса происходят, очевидно, медленнее, чем диахронические изменения в строе языка. Поэтому читателю наших дней в равной мере представляются понятными и приемлемыми — как по содержанию, так и по форме изложения — призывы и конкретные пути к обогащению и укреплению родного языка, провозглашенные 250 и 25 лет назад, хотя по сути дела авторы приводимых ниже цитат защищают как будто противоположные позиции: один — нормативно-ограничительные, другой — экстенсивно-обогатительные.

"Великая потребность въ семь дѣлъ! Однако, съ другой стороны, коль ни полезно есть Россійскому народу возможное дополненіе Языка, чистота, красота, и желаемое потомъ его совершенство; но мнѣ толь трудно быть кажется, что не нестрашить, уповаю, и васъ, Господа, трудностію и тягостію своєю. Не объ одномъ здѣсь чистомъ Переводѣ степенныхъ старыхъ, и новыхъ Авторовъ дѣло идетъ; что и одно, и само собою, колико проливаетъ пота, извѣсно есть темъ, которыи прежде васъ трудились въ томъ, и вамъ самимъ, кои упражняетесь нынѣ: но и о Грамматикѣ доброй и исправной, согласной во всемъ мудрыхъ употребленію, и основанной на томъ, въ которой коль много потребности, толь немалая жъ и трудность; но и о Лексиконѣ полномъ и довольномъ, кой въ васъ еще больше силы потребуеть, нежели в баснословномъ Сізіфѣ превеликій оный камень, который онъ на высокую гору одинъ токмо хотя вскатить, съ самаго, почитайъ верьха на низъ его не хотя опускаеть; но и о Реторикѣ и Стихотворной наукѣ, а сіе все безмѣрно утрудитъ васъ можетъ"⁶⁷.

"Увы! Целый век и еще четверть столетия минули с тех пор, как великий основоположник русского литературного языка, борясь за его слитие с живым языком трудового народа, провозгласил: "Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка." За это время были у нас и Крылов, и Лев Толстой, и Маяковский — подлинно исполины в этой борьбе за народность литературного русского языка, за вокнижение не только словаря трудовых масс, но и неразрывного с ним речестроя. А что же, а что же?! Одержало ли полную победу великое движение, начинателем коего был Пушкин? Угломонились ли сенковские, качественные и гречи наших дней? Нет и нет!"⁶⁸

Слова, произнесенные В.К. Тредьяковским четверть тысячелетия назад, понятны нам и ныне, хотя некоторые конструкции для современного глаза и уха кажутся тяжеловатыми и могли бы быть переданы несколько экономнее. Однако "перевод" на современный стиль изложения показывает тем не менее, что "экономность" в одном звене текста оборачивается "избыточностью" в другом, и в этом свойстве — рациональная стандартность нормы в каждую

⁶⁷ Сочинения Тредьяковского / Изд. А. Смирдина. СПб., 1849. Т. I. С. 259—260.

⁶⁸ Югов А. Думы о русском слове. М., 1972. С. 60.

эпоху бытия языка. И воюя против такой сухой и ограниченной стандартности, А. Югов хочет избавиться и от необходимой рациональности, что так же вредно и губительно для нормы, как и потеря ею живительной связи с народными истоками языка. Между тем психоглосса безразлична к нормированности или ненормированности того или иного явления, и поэтому оценки типа "так по-русски не говорят" для случаев А и Б, рассмотренных выше, носят по преимуществу эмоциональный, но не сущностный характер.

В заключение этого раздела, посвященного рассмотрению вербально-семантического уровня в структуре языковой личности, или ее лексико-семантическому фонду, можно сформулировать по меньшей мере две новые задачи, в которых синтезированы описательно-фиксирующий, историко-эволюционный и психолингвистический (в плане владения и употребления) подходы к изучению русского языка. Первая из этих задач, направленная на воссоздание статической картины, предполагает выявление и систематизацию набора психоглосс, установление их корреляции с речевыми готовностями языковой личности и построение на этой основе характерологической грамматики русского языка. Вторая, ориентированная динамически, нацелена на изучение эволюции русской языковой личности и могла бы решаться путем последовательного сравнения полного описания организации и функционирования типовых языковых индивидуальностей разных эпох, т.е. уже не только на материале устройства их лексиконов, но с включением соответствующих картин мира и присущих им систем духовных ценностей, определяющих их смысло-жизненную и активно-деятельностную позицию мотивов, интересов и целей.

МЕЖДУ СЕМАНТИКОЙ И ГНОСЕОЛОГИЕЙ

Общим местом в семантических исследованиях стало утверждение, что всякий акт продукции речи или ее понимания (в сфере нормального употребления языка), всякий акт семантизации (в сфере деятельности лингвиста) не замыкается в пределах актуализованных смыслов произнесенных или написанных слов, но требует обращения к так называемым знаниям о мире. Это касается и обыденного употребления языка — в целях коммуникации, и необыденного, надкоммуникативного его употребления — в целях познания и воздействия. Так, фраза *Он отдыхает в пансионате* предполагает общее для коммуникантов содержание знака ОН (это может быть ответ на вопрос "Где Иванов?"), и этого знания оказывается достаточно для приблизительного, неполного понимания фразы, даже если слушающий не располагает точным значением слова *пансионат*, а просто соотносит его на основании контекста с местом, где можно отдыхать. Более глубокое понимание должно опираться не только на семантику слова *пансионат*, но и на общее для коммуникантов знание, о каком пансионате идет речь, например, в ситуации, когда говорящий и слушающий являются сотрудниками Академии наук и оба отдают себе отчет в том, что подразумевается пансионат "Звенигородский". Таким образом, и "Иванов", и "Звенигородский" представляют собой элементы знаний о мире, причем "мире" разного масштаба: "Иванов" относится к миру данного говорящего и данного слушающего (и еще нескольких лиц, знающих Иванова), тогда как "Звенигородский" принадлежит к миру Академии наук, входит в сеть ведомственных учреждений для отдыха в системе лечебно-профилактических учреждений ЦК профсоюзов, и знание такой структуры и правил пользования подобными учреждениями составляет аспект лингвострановедения. Наконец, интонация, с какой говорящий произносит слово *отдыхает* может сообщить слушателю дополнительную информацию, которая заключается в том, что Иванов, хотя и числится в данный момент на работе (предпосылка общего для коммуникантов знания), тем не менее находится в пансионате, что является нарушением трудовой дисциплины, так как чтобы поехать в пансионат, он должен был оформить отпуск. Знание о том, что отдыхать в пансионате можно только находясь в отпуске, также составляет часть знаний о мире, и все три разновидности знания находятся по ту сторону семантики, составляя

определенные предпосылки для более или менее глубокого понимания фразы. С учетом сказанного можно выдвинуть предположение, что понимание не имеет ограничений вглубь и потенциально может быть бесконечным.

Понимание в обыденном употреблении языка, даже при наличии у говорящего и слушающего общих знаний о мире, редко бывает стандартным, однозначным, различаясь в зависимости от принадлежности воспринимающего текст к той или иной социальной (референтной для данного индивидуума) группе, от его индивидуальных установок и мотиваций. Это касается и генерализованных высказываний, например, правил, само формулирование которых опирается, казалось бы, на презумпцию однозначности восприятия. Так, текст объявления, произносимого в поездах метро: "У нас принято уступать места женщинам и людям старшего возраста" при всей прозрачности своей семантики вызывает у некоторых категорий пассажиров недовольство и неприятие из-за своей якобы неточности. Казалось бы, все просто и понятно именно исходя из ситуации: *места*, о которых идет речь, — это места для сидения, *женщинам* — значит всем без исключения, а *люди старшего возраста* идентифицируются каждым сидящим индивидуально, применительно к самому себе. Однако в этот как будто бы ясный текст предлагается внести уточнения типа "женщинам с детьми", "ветеранам войны и труда". На самом деле обе корректировки представляют собой выводное знание: а) если женщинам — всем без исключения, то тем более в их число входят женщины с детьми; б) все ветераны естественно относятся к людям старшего возраста. Другое замечание по поводу информационного плана рассматриваемого текста касается мнимого противопоставления в нем женщин — людям ("что же женщины — не люди?"). Опять-таки знание о мире, о положении женщины в советском обществе естественным образом снимает это псевдопротивопоставление. Но помимо информационно-коммуникативного плана, апеллирующего к усредненным, само собой разумеющимся знаниям о мире каждого носителя языка и являющегося в данном случае необходимым, но недостаточным для понимания высказывания, последнее обладает и надкоммуникативным, воздейственным аспектом, выходя тем самым за рамки обыденного употребления языка. Воздейственный характер высказывания базируется на предположении, что для его адресатов знание о необходимости уступать места женщинам и людям старшего возраста не входит в совокупность обязательных знаний, и все высказывание претендует таким образом на то, чтобы расширить знания слушателей о мире, определенным образом изменить их тезаурус, концентрирующий эти знания. Эта презумпция, будучи ложной по своим истокам, способна вызвать психологическую и поведенческую реакцию, обратную той, на которую рассчитан текст.

Примеры продуцирования неадекватных высказываний, порожденных искаженными представлениями относительно знаний о мире нашего коммуниканта, могут быть многочисленными. Приведу два из них. Пример исторический: маркиз де Кюстин, путешествовавший по России в 1839 году, строил свои обобщения и делал умозаключения о

национальном характере русских, самобытности исторических путей и судеб народа на основании довольно поверхностных наблюдений над жизнью русской аристократии, главным образом придворного окружения царя. Образчиком такого скороспелого суждения служит его вывод о национальной предрасположенности русских к хвостовству, источником которого послужило, в частности, наблюдение над способом расположения цветов в комнате — на подоконниках. Путешественник пишет: "Зимой роскошные дачи наполовину находятся под водой и снегом (речь идет о летней резиденции двора в Петербурге, на островах. — Ю.К.) и волки кружат вокруг павильона императрицы. Зато в течение трех летних месяцев ничто не сравнится с роскошью цветов и убранством изящных и нарядных вилл. Но и здесь под искусственным изяществом проглядывает природный характер местных жителей. Страсть блистать обуревают русских. Поэтому в их гостиных цветы расставляются не так, чтобы сделать вид комнат более приятным, а чтобы им удивлялись извне. Совершенно обратное наблюдается в Англии, где более всего боятся рисовки для улицы"¹.

Далее, пример современной коммуникативной ситуации. Сначала рассмотрим короткий трилог — разговор, в котором участвуют три коммуниканта:

А. Вы не знаете, где останавливается 22-й автобус? (1)

Б. К сожалению, не знаю... Но вон там, около входа в вокзал, висит доска с указанием всех маршрутов и их расписаний. Может там сказано... (2)

В. Ладно, спасибо. (3)

Разговор ничем не примечательный для лингвиста, если рассматривать его содержание только на уровне семантики, не включая в игру знаний о мире. При более глубоком раскрытии ситуации она выглядит следующим образом: молодой человек (А) стоит на вокзальной площади возле остановки автобуса 21-го маршрута (заметьте в скобках, что остановился он именно здесь совершенно случайно, к этому маршруту не имеет никакого интереса, у него другие цели и задачи, и он задержался здесь, просто замешкавшись в нерешительности и размышлении). К нему подходит группа девушек, тоже, как и он, не здешних, и одна из них (Б) обращается к нему с вопросом (1). Логика самого вопроса, как и выбор адресата вполне прозрачны: 22-й маршрут представляется обыденному сознанию непосредственно связанным с 21-м (по порядку), а коль скоро человек ждет 21-го, то кому, как не ему, знать все и о 22-м. Следует ответ молодого человека (2), в который он, движимый чувством солидарности (нездешние!) и желанием быть хоть чем-то полезным, эмпатически вложил все свои только что приобретенные знания об этом маленьком привокзальном мире. Однако его ответ мог быть воспринят как чисто формальная отсылка к расписанию и стремление отмахнуться от обратившихся за помощью людей. Именно о такой оценке свидетельствует брошенная через плечо реплика (3) третьего участника разговора — девушки В, причем вся группа повернулась спиной к Б и к доске расписаний и дви-

¹ *Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия / Пер. с франц. М., 1930. С. 70.*

нулась по площади дальше. Это выразительное и несколько сниженное даже для данной ситуации *ладно* очень точно передает отношение В к тем знаниям о мире (ограниченным в данном случае маршрутами автобусов, привокзальной площадью и местами их остановок на ней), которыми поделился Б. Расшифровка фразы (3) могла бы выглядеть следующим образом: "Насчет доски расписаний нам и без тебя известно (но там нужных нам сведений нет). Тебе задали вопрос, ты ответил, что не знаешь, ну и спасибо на этом, а с советами, о которых тебя не просят, не выступай".

Чтобы получить содержательную интерпретацию всей этой ситуации с выходом на уровень знаний о мире и уровень их мотивационно-установочной оценки, нам пришлось построить специальный метатекст. Последний можно было бы квалифицировать просто как прагматическую трактовку исходного текста (трилога) и этим тогда ограничить глубину проникновения в "по ту сторону" семантики. Но нас интересует сейчас не квалификационная задача, а статус самих знаний о мире, их структура и взаимоотношения с языковой семантикой. Ведь в конце концов и знание того, что такое *пансионат*, ничто как будто не мешает нам отнести к знаниям о мире, т.е. считать и значение (семантику) слова *пансионат* элементом знаний о мире. Тогда окажется, что диапазон явлений, включаемых в эту сферу, необычайно широк: сюда должны войти и знание об эквивалентности слова *он* — Иванову, и конкретизация пансионат — "Звенигородский", и знание о том, как определить людей старшего возраста, и знание о том, что 22-й автобус не заходит на привокзальную площадь и не останавливается между 21-м и 23-м, а его остановку надо искать на проходящем рядом шоссе и т.п. Элементы этих знаний выглядят весьма разнородными, и становится совершенно непонятным, где же следует провести границу между собственно семантикой и знаниями о мире, составляющими внеязыковой опыт носителя языка. Здесь естественно возникает искушение вспомнить мудрое потебнианское различие ближайшего и дальнейшего значения слова: первое из них очерчивает сферу языковой семантики, второе же должно целиком относиться к знаниям о мире, к сфере внеязыкового опыта. Однако граница между ними подвижна и определяется языковой индивидуальностью носителя языка. Относительную ясность различия ближайшего и дальнейшего значения слова вносит только в позицию словарника, лексикографа, помогая ему при составлении словаря конкретной эпохи ограничить свою задачу определенной глубиной семантизации слова в словаре. Но эта ясность, как сказано, в высшей степени относительна, поскольку каждая эпоха обладает своими собственными знаниями о мире, и как только мы начинаем объяснять значение слова и прибегаем для этой цели к другим словам, мы неизбежно уже обращаемся к этим знаниям, учитываем внеязыковой опыт. Семантика (как и процесс понимания) на деле оказывается неисчерпаемой вглубь.

Эта трудность — трудность проведения обоснованной границы между семантикой и знаниями о мире — особенно остро стала ощутимой при выработке принципов составления словарей языка произведений

великих мыслителей современности — Маркса, Энгельса, Ленина. Первоначальная идея составителей, заключающаяся в том, чтобы пойти по традиционному для лексикографии пути и ограничить свою деятельность участком от контекста слова (картотеки) до толкования его значения, привела к структуре обычного филологического словаря, замыкающегося в кругу "ближайших" значений, в минимальной степени учитывающего знания о мире, а значит выхолащивающего то принципиально новое, фундаментальное знание, которое было выработано этими мыслителями и сделалось достоянием человечества. Стало ясно, что традиционные принципы построения словарей для решения подобных задач не годятся, не эффективны. Семантика слова, фиксируемая в филологическом словаре (ближайшее значение), вторична, производна по отношению к знаниям о мире (дальнейшему значению), а в силу своей системной консервативности она эволюционирует значительно медленнее своего источника. Для достижения намеченных целей лексикографическим путем более подходят словари дальнейших значений — энциклопедические и терминологические.

Знания о мире неуклонно растут, внеязыковой опыт человечества поступательно расширяется. Этому способствует постоянно действующая энергия познания, или "энергия незнания", как говорил Толстой, направленная на расширение индивидуального внеязыкового опыта каждого носителя языка, каждой языковой личности и на расширение совокупных знаний о мире человека как вида гомо сапиенс. В этом смысле вкладом в расширение знаний о мире становится как выяснение того, "где останавливается 22-й автобус", так и разработка, например, принципа "инерционного удержания плазмы" в токамаках, противопоставленного обычному способу ее удержания в ядерных реакторах магнитным полем. Понятно, что первое остается индивидуальным или локально-коллективным знанием, принадлежит субъективному тезаурусу, тогда как второе потенциально способно обогатить объективный тезаурус, и тем самым в одном направлении — оказать влияние на языковую семантику, а в другом — чем-то уточнить, быть может, сами принципы познания мира, гносеологические законы. Идея шарообразности Земли, гелиоцентрическая система Коперника, теория относительности Эйнштейна, как и многие другие этапы расширения нашего опыта, не могли пройти и не прошли бесследно ни для обычной семантики, ни для гносеологии. Современная физическая "единая теория", объединившая последние достижения физики микромира с законами возникновения и развития Вселенной, вновь потрясает принципы нашего познания, утверждая, что Вселенная возникла "из ничего". Предпосылкой такого тезиса являются новые представления о вакууме, которые отразились и на семантике этого слова, сделав возможным небывалое ранее сочетание "структура вакуума". В этом смысле развитие семантики (слова) есть деформация его значения под влиянием двух сил — расширяющихся знаний о мире и гносеологии, т.е. закономерностей познания мира. Сначала происходит изменение, обогащение дальнейшего значения слова, потом элементы этого обогащенного значения проникают на уровень семантики и частично отражаются в изменении ближайшего значения.

Возникшее в древнегреческой философии умозрительно, т.е. на основе гносеологических закономерностей, понятие "атом" (неделимый), как мельчайшая дискретная частица, из которой слагается все сущее, уже в новое время — теперь на экспериментальной почве — обрело характеристику своей неисчерпаемости вглубь. В языковой семантике эти новые знания запечатлелись в обыденных значениях таких слов, как *электрон*, *позитрон*, *нейтрон*, *ядро*, *орбита*, *соотношение неопределенностей* и т.д., расширивших семантическое поле, семантическую сеть слова *атом*.

Зарегистрированная языковой семантикой информация отражает незначительную часть знаний о мире, а в ряде случаев может отражать их искаженно: ср. безупречные с семантической точки зрения, но некорректные по существу выражения типа "отработанные газы", "солнце заходит", "человек не знает, что ему на роду написано". Один из способов существования и накопления семантики — в текстах. В текстах же зафиксированы знания человечества о мире. Когда лингвисты говорят, что "значение фразы больше суммы смыслов составляющих ее слов" и ищут источник "приращения" смысла только в синтаксисе, то они совершенно упускают из виду знания о мире, актуализация которых и стоит за каждым актом соединения семантических составляющих во фразе.

Тексты как воспроизводимые, т.е. существующие для изустной передачи, так и письменные — это естественный способ бытования языковой семантики и знаний о мире. Но и то и другое может быть выделено "в чистом виде", объективировано: языковая семантика в чистом виде объективируется в толковых, например, словарях, знания о мире — в энциклопедических. Такая специализация уже позволяет наметить разграничительные линии между тем и другим и говорить по крайней мере о двух принципиально различающих их свойствах. Во-первых, ясно, что семантика довольствуется идентификацией, опознанием, "узнаванием" вещи (явления, процесса, предмета), тогда как знания о мире ориентированы (исходят из, распространяются, опираются) на деятельность, действия с вещью. Иными словами, семантика созерцательна, знания о мире конструктивны и активны. Во-вторых, семантика изотропна, поскольку во всех направлениях, по всем измерениям словаря, в различных фразах и текстах семантические свойства слов статистически однородны; независимо от многозначности, частотности и своего возраста все слова во фразе и тексте (в соответствии с их функциями) семантически равноправны. Знания же о мире анизотропны, распределены и закреплены за словесными знаками неравномерно, и, как носители знаний о мире слова, фразы и тексты неравноценны: среди них есть более значимые, менее значимые и есть самые главные, определяющие, существенные.

С этой точки зрения показательна ситуация, с обсуждения которой начинаются Фейнмановские лекции по физике. Представим себе, говорит автор, что в мире должна исчезнуть вся информация, все знания, которые накопило человечество. Нам дана возможность оставить одну фразу, сообщающую самое основное из того, что мы постигли о нашем мире, для передачи последующим поколениям или иным

цивилизациям. Какую же фразу мы должны выбрать? Сама постановка такого вопроса, в общем приемлемого по отношению к знаниям, исключена применительно к языковой семантике, в пределах которой невозможно выбрать фразу или даже текст, прегнантный, так сказать, всей семантикой, содержащий ее генную запись, поддающуюся последующей расшифровке и развертыванию.

Противопоставление по линии изотропности-анизотропности становится особенно наглядным, когда мы от способов объективации семантики и знаний о мире (в словарях) переходим к способам их субъективации, т.е. рассматриваем это противопоставление на уровне языковой личности. Здесь способ существования семантики — квазисистематизированная вербальная сеть, в которой каждое слово (значение) связано со всеми другими (состояние предсистемности), но эти связи не обнаруживают никакой предпочтительности, никакой predisположенности (аспект квази-) и не имеют глубины, третьего измерения, они линейные и плоскостные. Поскольку каждое слово связано с каждым, то его семантика размыта, "размазана" по всей сети, и единственный закон, который царит здесь — это "правило шести шагов", позволяющее проследить, материализовать, дискурсивно представить свойство изотропности субъективного семантического пространства. Вербально-семантическая сеть, аналогом которой может служить ассоциативный тезаурус, потенциально незамкнута и потому может казаться необозримой, бесконечной. Если попытаться представить себе, что нам удалось построить такую сеть на материале Большого академического словаря, то она должна состоять из миллионов "узлов" (отдельных значений, смыслов и их оттенков) и в несколько раз превышающего их числа "связей". Трудно вообразить существование такой системы — искусственной ли, как ЭВМ, или естественной, как мозг человека, которая бы была способна одновременно, действуя методом перебора "узлов" или последовательного "считывания" связей, оперировать таким количеством единиц. Очевидно, субъективный способ квантования этого потенциально бесконечного пространства иной — не по отдельным смыслам или связям между ними. А сама возможность равномерного квантования обеспечивается изотропностью пространства, равномерностью вербально-семантической сети. Способ же квантования основывается на актуализации, выведении на уровень сознания отдельных фрагментов, участков сети, которая в целом виде в реальности не существует, она виртуальна, она может быть лишь реконструирована искусственно, воссоздана в виде гипотетического образования, нереального в своей целостности, существующего одновременно и по частям. Чем же осуществляется ее квантование и тем самым поддерживается ее "по-частное" существование? Здесь мы должны обратиться к следующему по сложности уровню организации языковой личности — ее тезаурусу.

Тезаурусный уровень организации языковой личности, который также может быть назван лингво-когнитивным, имеет дело уже не с семантикой слов и выражений, а со знаниями. В силу анизотропности самих знаний, их неравновесности, неравноценности (ср. знание "где останавливается 22-й автобус" и знание "инерционного способа удер-

жания плазмы") сам способ упорядочения единиц тезауруса должен быть иным: не сетевой, при котором все связывается со всем, а иерархически-координативный, имеющий тенденцию к логико-понятийной упорядоченности, к выстраиванию всей совокупности единиц тезауруса в пирамидоидальную фигуру, развертывающуюся из одной точки, из вершины (или нескольких вершин). Естественно встает вопрос о характере единиц, их статусе. Учитывая, что источниками знаний о мире являются чувственный опыт, деятельность (индивидуальный источник) и язык, тексты (межпоколенный, коллективный опыт), было бы неправомерным предположить, что единицы тезауруса однозначно соотносятся с понятиями. Скорее всего они разнородны, как анизотропным является само когнитивное пространство: среди них могут быть и научные понятия, и просто слова, приобретшие статус обобщения, символа, за которым скрывается целая область знаний, и образы, картины и "осколки" фраз ("обрывки мыслей"), стереотипные суждения, вербальные и другие формулы. Употребляемое иногда для обозначения способа упорядочения знаний сочетание "картина мира" при всей своей кажущейся метафоричности очень точно передает сущность и содержание рассматриваемого уровня: он характеризуется представимостью, перцептуальностью составляющих его единиц, причем средством придания "изобразительности" соответствующему концепту (идее, дескриптору) служат самые разнообразные приемы. Это может быть создание индивидуального образа на базе соответствующего слова—дескриптора или включение его в некоторый постоянный, но индивидуализированный контекст, или обрастание его определенным набором опять-таки индивидуальных, специфических ассоциаций, или выделение в нем какого-то особого нестандартного, нетривиального отличительного признака и т.п. Иными словами, тезаурус личности², как способ организации знаний о мире, имеет явно выраженную тенденцию к стандартизации его структуры, к выравниванию ее у разных членов говорящего на одном языке коллектива, при одновременном произволе в способах ее субъективации, ее индивидуальной фиксации, индивидуального присвоения. Такое положение объясняет создавшуюся в науке (в частности, в лингвистике) парадоксальную ситуацию, когда при существующем у исследователей единодушии в признании тезауруса реальностью, оказывается крайне затруднительным выработать приемлемый для всех путь его объективирования: при общепринятых принципах его устройства символизация его узлов и связей допускает индивидуализацию.

Следует остановиться еще на нескольких свойствах, резко различающих, противопоставляющих друг другу два эти соприкасающихся, соседствующих генетически и функционально связанных уровня организации языковой личности — вербально-семантический и лингвокогнитивный (тезаурусный). Функциональная взаимосвязь их проистекает из того, что "понять" какую-нибудь фразу или текст означает, "пропустив" ее через свой тезаурус, соотнести со своими знаниями и найти соответствующее ее содержанию "место" в картине мира. Этот

² *Мириманова М.С.* Тезаурус в психологии. АКД. М., 1984.

результат может быть достигнут при неполном, приблизительном знании семантики отдельных слов, но адекватном соотношении их смысла с областями и "узлами" (дескрипторами) тезауруса и не может быть достигнут в условиях владения значениями, семантикой, но незнания соответствующих дескрипторных областей. Ср. ситуацию полного взаимопонимания в беседе двух разноязычных специалистов (например, математиков), одинаково слабо владеющих языком-посредником (т.е. семантикой), и противоположную ей ситуацию невозможности адекватного перевода английского текста, например по физике слабых взаимодействий, филологом-англистом, впервые столкнувшимся с физической проблематикой. Далее, в вербальной сети в силу ее изотропности связи между элементами одно-однозначны и линейны (а есть b и а не есть с), тогда как в тезаурусе преобладают не прямые отношения, выводное знание, импликации (если а, то b) и вероятностные зависимости (если а, то может быть либо b, либо с). В вербальной сети и тезаурусе действуют разнонаправленные силы: сеть имеет тенденцию к разбуханию, расширению, регрессу (прогрессу?) в бесконечность — за счет прироста элементов и при сохранении своей упрощенной структуры, тезаурус же как бы нацелен на минимизацию, количественное сжатие и даже качественное упрощение самих элементов (отвлечение признака и образная, картинная его фиксация в тезаурусе) при постоянном усложнении, наращивании типов отношений и структуры в целом. Значит, мы имеем постоянно растущую, раздувающуюся, растягивающуюся семантическую сеть и сжимающийся, структурно усложняющийся тезаурус. Из такого представления можно извлечь по крайней мере два следствия.

Во-первых, вербальная сеть, как субъектный уровень организации семантики, построенная на прямых отношениях, является знаковым по своей природе образованием, а ее тенденция к раздуванию ведет к усилению знаковости. Тезаурус, наоборот, размывает знаковость — из-за своей "картинности" и многоступенчатой выводимости отношений. При этом тезаурус, будучи системно (а значит потенциально, прегнантно) богаче семантической сети, элементарно (одномоментно) оказывается беднее ее — не только по составу, числу элементов (что само собой разумеется), но и по их содержанию. Например, слово *повозка* на уровне вербально-семантической сети образует очень плотный пучок связей, обнаруживая (естественно, только с помощью эксперимента) насыщенный комплекс представлений носителя языка, связанный с этим участком сети. Однако выводя его на уровень осознания как элемент тезауруса, мы констатируем (одномоментно) сильно обедненный образ, исходящий из представлений о некоем устройстве для передвижения на колесах. Конечно, дальнейшее развертывание тезауруса обогатит и систематизирует все знания, относящиеся к этой области, и по размышлении (а это и есть способ существования субъектного тезауруса в его проекции на ассоциативную сеть) носитель языка включит сюда и неколесные экипажи и т.п., но одномоментно, именно для квантования пространства семантической сети, этот тезаурусный образ, очевидно, всегда бывает обедненным. Таким образом, мы констатируем тенденцию к асемно-

тичности, к усилению незнакового характера единиц субъектного тезауруса и иной, по сравнению с вербально-семантической сетью, способ считывания информации в нем.

Во-вторых, встает вопрос взаимозависимости и взаимоперехода между субъективированными знаниями о мире, т.е. субъектным тезаурусом, и субъективированной языковой семантикой, т.е. ассоциативной вербально-семантической сетью. Есть два способа объективирования последнего уровня: дескриптивный, фиксирующий, регистрирующий, я бы даже сказал фотографический, когда сеть объективируется как таковая, без содержательной интерпретации связей между элементами — например, в ассоциативном словаре или ассоциативном тезаурусе; или в толковом словаре — с содержательным раскрытием каждого элемента, т.е. слова. Однако отражение семантики в толковых словарях, даже при заявленной установке только на ближайшее значение, происходит под решающим воздействием текстов, что фиксируется в многозначности слова в словарной статье, и под систематизирующим влиянием тезауруса (субъективно — составителя, коллективного — сообщества носителей), что отливается в содержании самих дефиниций, словарных толкований. Таким образом, объективирование вербально-семантического уровня в толковом словаре оказывается возможным лишь на основе знаний о мире (учитываются и тексты, и тезаурус). Та же зависимость сохраняется и в субъектном плане: формирование вербально-семантической сети и ее трансформации происходят при организующем воздействии субъективированного тезауруса, но обратное влияние либо отсутствует, либо минимально, не поддается фиксации, не наблюдаемо, т.е. изотропная вербально-семантическая сеть не оставляет своих следов на иерархической структуре (анизотропном пространстве) тезауруса. В объективированном плане такая зависимость проявляется в невозможности перейти от вербальной (ассоциативной) сети к тезаурусу, построить словарь-тезаурус на основании только той информации, которая содержится, например, в ассоциативном словаре. Более того, как показывает опыт, подобный переход не получается и на основании информации толкового словаря, хотя, как было сказано выше, имплицитно, не в полном объеме, знания о мире находят в нем отражение. Но переход оказывается невозможным не только из-за недостаточности этих знаний, но главным образом из-за неотраженности на этом уровне (в ассоциативной ли сети, в толковом ли словаре) социально-детерминированного опыта, мотивов и установок личности, идеологически значимых для данного общества ценностей и предпочтений, из-за отсутствия, наконец, гносеологически обусловленной потребности к постоянному росту суммы знаний. Сумма знаний (общества, человечества), как нечто фиксированное и статичное, откладывается и закрепляется не только с помощью языка, не только в текстах, ее воплощением и материализацией является в конечном счете вся культура, все продукты цивилизации, каждый артефакт — архитектура городов, машины, мосты, симфонии, самолеты, бытовая техника, мебель и космические ракеты, и каждый природный феномен, ставший объектом акта познания. Но это

анизотропное пространство, которое отражается в субъектных и объективированных тезаурусах, само по себе не обладает зарядом активности, не содержит в себе причин своего движения и роста. Активность есть свойство субъекта, и движение между областями тезауруса, его динамика обусловлены расподоблением, несхождением, неконгруэнтностью актуально отражаемого индивидом образа действительности (ее фрагмента, ее элемента) и образа, сложившегося ранее в субъектном его тезаурусе. Это расподобление и есть "пусковой механизм" акта познания. Последний всегда индивидуален, но социально повторяем. Таким образом тезаурус мертв без акта познания, сумма знаний — это заснувшее вместе с принцессой царство из сказки Ш. Перро, разбудить которое может лишь поцелуй принца, т.е. обнаружившееся расподобление между актуальным отражением реальности и отсроченным ее отражением в тезаурусе, а содержанием акта познания является сравнение, сопоставление двух отражений. По сути дела такое гностическое усилие, гносеологический аспект отражения и дает жизнь нашим знаниям, оно же обуславливает неравномерность, анизотропность тезаурусного пространства. Значит, без гносеологии мы не можем восстановить тезаурус, а без учета тезаурусного уровня, без учета системы организации знаний мы не в состоянии описать языковую семантику. Гносеология пронизывает все уровни отражения, поскольку обобщенные формы познания проявляются не только на понятийном, но и на чувственном уровне, а также и все уровни языковой личности, поскольку тезаурус статичен без гносеологии, а ассоциативная сеть мертва без тезауруса, задающего способ ее квантования.

Итак, мы подошли к третьему, высшему уровню организации языковой личности — гносеологическому, установив, что между семантикой и гносеологией находится промежуточный уровень — уровень организации знаний о мире, воплощаемый либо в субъектном, либо в объективированном тезаурусе. Это существенно подчеркнуть, потому что большинство философов и лингвистов склонны связывать семантический уровень непосредственно с гносеологическим, рассматривая значения как одновременно языковые и познавательные структуры и аргументируя таким путем связь языка и мышления. Подобный синкретизм в трактовке гносеологического аспекта значения приводит к ряду логических трудностей, которые преодолеваются авторами с помощью разного рода ухищрений — путем введения понятия "двойственности семантики"³; попыток непосредственно в тексте наблюдать прямое выражение "категорий мышления" (т.е. внедрить гносеологию в семантику)⁴; попыток реконструировать в рамках психосемантики "индивидуальную систему значений", через призму которой происходит познание субъектом мира (т.е. расширить, распространить семантику до гносеологии)⁵; путем разграничения между значением (сло-

³ Мезенин С.М. Образность как лингвистическая категория // ВЯ. 1983. № 6. С. 51.

⁴ Ткачев А.В. Проявление когнитивных стилей в речи // Психологическая служба в высшей школе. Новосибирск, 1981.

⁵ Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1983.

ва, знака) и содержанием (понятия, высказывания) и отнесения первого к семантике, а второго к гносеологии⁶. Введение промежуточного — тезаурусного — уровня снимает необходимость этих и подобных им многих иных ухищрений, но ставит одновременно и некоторые новые вопросы, обогащая, как мне кажется, наши представления о роли языка в процессе познания. Рассмотрим по крайней мере два из них: во-первых, что обеспечивает возможность сопоставимости, сравнимости двух рядов отражений — актуального, текущего отражения действительности и отсроченного, "тезаурусного" ее отражения, сопоставления, которое и лежит в основе акта познания; во-вторых, где же следует искать источник того гностического усилия, которое играет роль пускового механизма в акте познания, или, иными словами, каков субъективированный коррелят объективных гносеологических закономерностей в ряду

семантика:	Субъект вербально-ассоциативная сеть	Объект толковый словарь
знания:	тезаурус	тексты и артефакты
гносеология:	?	основные законы и условия познавательной деятельности

Отвечая на первый вопрос, мы должны обратиться к одной из упомянутых выше единиц тезауруса, а именно, к образу. Если в качестве способа компрессии и одномоментного представления отдельной тезаурусной (дескрипторной) области перцептуальный образ как психическое образование выступает равноправным в ряду многих других (например, в ряду слово, морфема, символ, схема, пропозиция, формула, признак или знаковый атрибут, фрейм), то он становится практически единственным, когда речь заходит о связях и взаимоотношениях между разными областями в субъективном анизотропном пространстве знаний о мире. Корни языковой образности лежат не в семантике, как считают многие, а в тезаурусе, в системе знаний. На вербально-ассоциативном уровне доступную наблюдению образность (например, "Змея!" — о коварной, холодной, безжалостной женщине или "Пешка!" — о безынициативном, слабом, несамостоятельном человеке) мы воспринимаем как своеобразную семантическую конкрецию, переплавившую в себе в течение геологических эпох существования языка само движение мысли, сам акт познания. Снимая с образности слой за слоем, мы констатируем в ней застывшее гносеологическое усилие, моментальную фиксацию акта перехода от одного поля в тезаурусе (например, "дикие животные, опасные") к другому ("свойства человека"). Но для того чтобы такой переход был возможен и совершился, надо обладать знаниями о том, что змея коварна, заяц, скажем, труслив, пуглив, имеет обыкновение спасаться бегством от опасности, медведь неуклюж, но силен, а голубка нежна и безобидна. Этот переход не есть принадлежность вербально-ассоциативного

⁶ Bańkowski A. On the boundary between semantics and Gnosiology // Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego. 1977. Z. XXXV.

уровня, он есть порождение знаний. Всякий образ можно перевести на семантический уровень, можно вербализовать, раскрыть его суть, его когнитивное и эмоциональное содержание, построив соответствующий текст, но происхождением и возникновением своим образ обязан только знаниям, появляется, когда мы покидаем поверхностно-ассоциативный уровень и погружаемся в тезаурус.

Тот факт, что ассоциативно-вербальный, т.е. собственно семантический, уровень в минимальной степени чреват образностью (а значит, в минимальной степени включает или отражает знания о мире), можно демонстрировать, в частности, анализируя результаты ассоциативных экспериментов и изучая состав ассоциативных словарей, в точности отражающих именно этот уровень. Прежде всего бросается в глаза почти полное отсутствие среди стимулов таких слов, которые обладали бы (реально, с фиксацией в толковом словаре, как *медведь*, или потенциально, без такой фиксации, как *змея*) переносным образным значением. В словаре русского языка⁷ таких слов всего два — *рука* (перен. 'не вполне законная помощь, протекция') и *голова* (перен. 'он всему делу голова'), и среди 224 слов-реакций на первое нет ни одного слова, так или иначе связанного с переносным образным значением; лишь на второе есть три (из 203) единичных ответа, базирующихся на образном значении — глава семьи, начальник, председатель. Аналогичную картину находим в венгерском ассоциативном словаре⁸, где на 188 слов-стимулов оказывается всего три, в какой-то степени заряженных образностью, — фигура (*alak*), кукла (*baba*) и рука (*kéz*), причем из числа слов-реакций на них только к последнему приведены два ответа, которые можно было бы отнести к образному значению, хотя скорее следует трактовать их как медиаторы между прямым и переносным значениями слова *рука* — это *segít* (он/она помогает) и *segítés* (помощь).

Сказанное представляет собой, конечно, только один из аргументов в пользу того, что подлинная образность, основанная на перцептуальных, выводимых на уровень сознания и потому наблюдаемых — путем ли ретроспекции или объективным путем в текстах — образах, коренится в когнитивном (тезаурусном) уровне. Доступность образа прямому наблюдению, именно как способа квантования когнитивного пространства и способа считывания информации в нем, можно показать тремя по крайней мере путями: с помощью анализа поэтической речи, с помощью анализа "потока сознания" и на примерах "сжатия" текста при его реферировании или интерпретации текста при его пересказывании. Рассмотрим вкратце два первых.

Стихотворение Б. Пастернака "Сложь весла" начинается такой строкой:

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в ключицы, — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

⁷ Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 1977. С. 83, 155.

⁸ Magyar verbálisasszociációk / Szerk. L.B. Ballo. Szeged; Budapest; Debrecen. Köt. 1 — 1983; Köt. 2 — 1985.

Здесь идет сопоставление, сближение двух смысловых рядов, двух когнитивных областей — материальной, внешне—ситуативной (лодка, плывущая по спокойной поверхности пруда под низко нависшими над водой ивами, в лодке двое — он и она, весла брошены, и лодка движется по инерции) и эмоциональный (он любит ее, он взволнован, переполняющие чувства толкают его к любимой, он хочет целовать ее, и хотя как будто это ветки хлещут по ключицам и локтям, но это и его желание целовать, которое одновременно нагнетает калейдоскоп образов — песня, пепел сиреневый, ромашка, на которой гадали о любви, губы, звезды, небосвод...). Смещение и сближение реальных, отражаемых в данный момент образов, которые точнее, вероятно, назвать представлениями (ряд ЛОДКА), с отсроченно отражаемыми идеальными образами из ряда ЛЮБОВЬ, сопровождающимися актуальными переживаниями лирического героя, создает сложное переплетение смыслов, индусирующее у читателя определенное эмоциональное состояние. Последнее усиливается тем, что оно вербализуется с помощью определенного модуса (о, погоди, Это ведь может со всяким случиться!). Так же как локти и ключицы — это и его и ее локти и ключицы, по которым ощутимо колотят ветки, но одновременно только ее локти и ключицы, которые он хочет целовать и мысленно целует вместе с касающимися их ветвями, так звезды и небосвод в одно и то же время идеальный, возникающий как отсроченное отражение образ из ряда ЛЮБОВЬ, и актуальный, реально отражаемый в данный момент и в данной ситуации образ — представление ночного неба из ряда ЛОДКА. С точки зрения нормальной семантики, т.е. в пределах вербально-ассоциативного уровня, первое предложение (строка) бессмысленно или во всяком случае косноязычно: лодка не может колотиться, а если от напряженной гребли — перед тем как брошены весла — колотится сердце, то уж грудь у влюбленного человека никак не может быть сонной. Однако это то, что называют прекрасным косноязычием, поскольку уже первой строкой задается пересечение, сближение (не ассоциативное, а тезаурусное, не семантическое, а когнитивное) смыслов, пересечение разных рядов, разных областей. Ассоциации, как принадлежность семантического уровня, стандартны, ординарны, общеприняты и общезначимы, образ же, возникающий на пересечении тезаурусных областей, индивидуален, не ординарен. Такой образ, облекаясь в слова — эти одежды вербально-ассоциативного уровня, придает ощутимую форму самому тезаурусу, делает воспринимаемой саму структуру когнитивного уровня, знаний о мире. Ассоциативно-семантический уровень всегда красноречив, схематично обнаженный тезаурус — всегда косноязычен. Это, я думаю, объясняет, почему мы способны понимать не только прекрасное косноязычие поэтической речи, но и просто косноязычие обычного общения. Последнее проявляется двояко — либо как дефицит средств ассоциативно-вербального уровня, приводящий к лакунам в поверхностной структуре и нарушениям грамматической правильности высказывания ("Ты это купить не забудь хлеб кончился завтракать"), либо как избыток этих средств, ведущий при сохранении грамматической — к нарушениям семантической правильности, к плеонизмам,

к гиперхарактеризации, к перенасыщенности высказывания семантически однородными единицами ("А при чем тут жалость или безжалостность, не в этом же вопрос рассмотрения причинности"; "Прежние факты отставания недоделок остались позади текущих завтрашних событий нашей современности..."⁹).

Поток сознания, передаваемый в художественном произведении, подобно поэтической речи, моделирует внутреннюю речь индивида и потому содержит как минимум два ряда сопоставлений — отсроченное (тезаурусное) отражение в образах и актуальное, текущее отражение в представлениях. Отделить одно от другого в текстовом потоке почти так же трудно, как в поэтической речи, но здесь помогает заданная заранее включенность в ситуацию, которая в случае поэтической речи сама еще требует расшифровки. "Зазоры" между двумя (или более) рядами сопоставлений в потоке подлежат знаковому (вербальному для воспринимающей личности) заполнению, и используемые личностью (говорящим, автором) вербальные знаки играют роль своеобразных "вех", позволяющих фиксировать "направление" потока сознания. Рассмотрим следующий текст, представляющий собой отрывок из романа, построенного как поток сознания главного действующего лица¹⁰. Текст размечен в соответствии с приводимой ниже схемой анализа; цифра в скобках, обозначающая номер предложения в тексте, стоит перед ним, буква с индексом, квалифицирующая тот или иной фрагмент как единицу соответствующего ряда, стоит после этого фрагмента.

(1) "Кафедра. А₁ (2) Виноградов А₁ — твой коллега А₂, твой молочный брат Б₁: последний аспирант профессора Штакаян А₂.

(3) — [Приветствую вас, товарищ Виноградов! А₄ = А_г (4) Громко и жизнерадостно. А₃ (5) [Больше никого на кафедре А₁, только зябнущая Б₁ лаборантка Нина А₁ с прозрачным лицом Б₁, но с ней ты уже виделся сегодня. А₃] В₃] В₁

(6) [Молочный брат Б₁ отрывается от журнала.] А₁ (7) [Роговые очки А₁, взгляд умен и серьезен. А₃] В₂

(8) — Здравствуйте. А_с

(9) [Прерогатива дураков — броско интеллектуальная внешность Б₂, но в данном случае перед тобой исключение] Б₃, В₂ (10) "Вы знаете, я верю в Виноградова. (11) Очень способный и, главное, большой труженик. (12) А как человек — прелесть. (13) Просто прелесть, вы согласны со мной?" Б_с, В₃ = В₂ (14) [Согласен, Маргарита Горациевна, и искренне [недоумеваю, чем не угодил] Б₆ своему молочному брату. (15) Видит бог, ни единой стычки не было между нами, и на зависть, по-видимому, он не способен.] Б_г, В₄

(16) — Как диссертационный марафон? А_г, Б₁ (17) — Ухмыляешься А₄, но не обращайтесь внимания, Маргарита Горациевна, это ровно ничего не значит. А₃ (18) [Он мне глубоко симпатичен, ваш последний аспирант, симпатичен.] В₁ [несмотря на обнаженную неприязнь] Б₁] Б₃ к моей плембейской роже Б₄, В₂

⁹ Жуков А. Повод // Новый мир. 1981. N 7. С. 78.

¹⁰ Киреев Р. Победитель // Р. Киреев. Победитель: Апология. М., 1980. С. 52—53.

(19) — Работаю А_с.

(20) [Видите, профессор, какой вызывающий демарш! А_з, Б₁ (21) [А ведь я ваш любимый ученик, ваш духовный сын и пресмник. Б₃ (22) Но и ревности, клянусь, я не подозреваю в нем. А₃] Б₃] В₄”

В тексте выделим три слоя — два на поверхностном уровне (А и Б), каждый из которых может иметь и вербальную и невербальную выраженность, и третий (В) — на глубинном, причем этот ряд принципиально не вербализуемый в данном тексте, присутствующий в нем имплицитно и выводимый к выражению лишь в метатексте; формальным показателем его наличия может служить композиционное расположение фрагментов исходного текста, определяющее “затекстовые” или “надтекстовые” имплицитивные суждения. Итак, схема такова:

АКТУАЛЬНОЕ, ПРЯМОЕ ОТРАЖЕНИЕ СИТУАЦИИ, СОБЫТИЙ (РЯД А)

Невербальный ряд

А₁ — отражение — констатация, номинация (“представление”)

А₂ — отражение — характеристика, предикация (“представление”)

А₃ — оценка констатации, оценка характеристики

А₄ — собственные действия (субъекта отражения)

А₅ — оценка собственных действий

Вербальный ряд

А_г — говорение субъекта отражения (внешняя речь)

А_с — аудирование, слушание

ОТСРОЧЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАНИЙ О МИРЕ СУБЪЕКТА ОТРАЖЕНИЯ (ТЕЗАУРУСНЫЙ УРОВЕНЬ — РЯД Б)

Невербальный ряд

Б₁ — эмоциональное переживание внешних событий, их соотнесение с субъективным тезаурусом и оценка на его фоне (метафора, переносное значение, “образ”)

Б₂ — манипулирование стереотипами тезаурусного уровня — генерализованными высказываниями

Б₃ — использование эксплицитных схем суждений, умозаключений

Б₄ — устойчивая, “тезаурусная” самооценка

Б₅ — возможная оценка субъекта отражения третьим лицом

Б₆ — “проблема”

Вербальный ряд

Б_г — говорение (внутренняя речь)

Б_с — слушание (отсроченное, выступающее в тексте как проговаривание чужой речи)

РЯД НЕВЫРАЖЕННЫЙ, МЕТАТЕКСТОВЫЙ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ (РЯД В)

В₁ — имплицитное умозаключение (схема скрыта, поддается частичной реконструкции)

В₂ — развитие ассоциаций, развертывание поля вокруг дескриптора, актуализация поля знаний

В₃ — аргументирование

В₄ — мотив, установка

Приписывание фрагментам текста индексов из схемы представляет собой опыт классификации потока сознания, опыт определения единиц различных уровней отражения при функционировании интеллекта в процессе общения. Эта задача является обратной по отношению к обычно рассматриваемой в психолингвистике задаче перехода от коммуникативного намерения через план речевого поступка к его вербализации — порождению текста на поверхностном уровне. Выделенные здесь невербальные единицы всех трех рядов следует трактовать как типы единиц так называемого "промежуточного" (в терминологии Н.И. Жинкина) языка, т.е. языка переходной ступени — между языком мозга, состоящим в передаче нервных импульсов, и естественным, словесным человеческим языком. Противопоставление трех типов единиц основано на следующих признаках. Единицы ряда А характеризуются известной текучестью, изменчивостью (т.е. разновременная актуализация одной и той же единицы одним и тем же субъектом не будет обладать абсолютной тождественностью) и в своей моментальности подобны "представлениям". Они носят, безусловно, знаковый характер, но их знаковость — непосредственного, прямого и потому, быть может, самого примитивного типа, это знаковость, основанная на прямом сходстве реального предмета и его отражения. Связь между единицами этого ряда и способами их вербализации не жесткая, довольно свободная, т.е. соответствующие им фрагменты текста достаточно просто могут быть переданы и с помощью других слов. Единицы ряда А назовем "единицами узнавания".

Принципиальное отличие единиц ряда Б от предыдущих — в их постоянстве, устойчивости, воспроизводимости для данного субъекта, данной языковой личности, в их тяготении к инвариантному характеру, т.е. здесь мы встречаем устойчивый образ, стереотип, стандартную пропозициональную структуру, с незамещенными местами, стабильное эмоциональное отношение, постоянный вербальный символ, способный к развертыванию в цельный фрагмент "картины мира" и выражаемый словом, морфемой, корнем, словосочетанием, "осколками" фразы, формулой генерализованного высказывания. Приведенная характеристика определяет, с одной стороны, как будто типично знаковую природу единиц этого ряда, но, с другой стороны, обнаруживает намекающий характер этой знаковости, ее тяготение к символизму, выявляет тип знака, выполняющего роль прерывателя, некоего начального стимула, роль, которая на деле ведет к размыванию знаковости в строгом смысле слова. Единицы этого уровня с учетом перечисленных, а также других своих свойств могут быть названы "единицами знания". Некоторые из этих единиц требуют пояснения. Так, в предложении (2) предикация *твой коллега* квалифицирована как простая характеристика, а, казалось бы, равная ей, синонимичная *твой молочный брат* отнесена к единицам

знания. Такое решение связано с переносным употреблением последнего словосочетания, обуславливающим его образный характер и эмоциональную насыщенность, а значит — его принадлежность тезаурусному уровню. Аналогично обстоит дело в предложении (5), где номинации *лаборантка Нина* присваивается индекс единицы узнавания, тогда как свойства называемого лица — *зябнущая* и *с прозрачным лицом* получают обозначения единиц знания, что объясняется постоянством, устойчивостью этих характеристик, их нераздельностью с их носителем и потому возможностью с помощью одного—двух скупых штрихов создать стабильный, воспроизводимый образ всегда зябнущей (кутающейся, вероятно, в теплый платок и даже набрасывающей на себя иногда пальто, сидя на кафедре), худенькой, бледной, с тонкой кожей, сквозь которую просвечивают синенькие прожилки, болезненной молодой женщины. К этому же уровню мы относим "проблему", которая с лингво-когнитивной точки зрения есть результат либо несводимости двух актуально отражаемых полей (областей реальности), которые в субъектном тезаурусе выступают как сопрягаемые и коррелирующие, либо, наоборот, как результат реальной корреляции областей, которые согласно существующей системе знаний (индивидуальной или коллективной) не должны, казалось бы, иметь между собой ничего общего.

Обращаясь к 3-му уровню — ряду В, мы не найдем здесь отчетливо выраженных "единиц", здесь нельзя провести границу между вербальным и невербальным способами оформления. Сознание оперирует здесь крупными блоками информации, лишенными, как представляется, всяких признаков знаковости и являющимися уже не единицами в собственном смысле слова, а скорее процессами. Тем не менее, оставаясь логически последовательными, мы должны назвать единицы этого уровня "единицами познания". Из приводимого ниже комментария к явлениям рассматриваемого ряда можно сделать заключение, что они представляют собой своего рода суперпропозиции с замещением каждого места целой цепочкой суждений, развернутой аргументацией, системой доказательств и умозаключений. Так, неявное умозаключение-объяснение В₁, скрывающееся за фразами (3), (4), (5), в метатексте выглядело бы следующим образом: "я поздоровался с одним Виноградовым (потому что на кафедре, кроме него, только лаборантка, с которой я уже здоровался), но поздоровался нарочито громче, чем этого требует обращение к единственному адресату, для того чтобы подчеркнуть объективистский, ровный характер моего отношения ко всем моим коллегам, что в этом случае на месте Виноградова мог быть любой другой или все вместе и ничего в моем приветствии ему (им) не изменилось бы, что я никак не выделяю его среди прочих, а если и замечаю его скептически-осуждающее отношение ко мне — моим принципам, ценностям, идеалам, целям, поступкам, то не придаю этому никакого значения, это меня несколько не трогает и не беспокоит, я всегда бодр, весел, жизнерадостен и уверен в себе". Из всего этого развернутого умозаключения в реальном тексте, т.е. в предложениях (3, 4, 5), в вербально-знаковом исполнении представлена лишь небольшая часть: (А,

однако А₃, хотя В₃) или "Виноградов, однако громко, хотя никого". Фраза (7), квалифицированная как В₂, содержит исходный пункт для направленного развития цепочки ассоциаций — *умный* — серьезный, интеллектуальная внешность, не дурак (исключение), верить в него, способный, труженик, прелесть, не завистлив (7—15). Причем внутри этой цепочки в качестве самостоятельного фрагмента включается аргументация (В₃) Маргариты Горациевны, также развивающая идею "умный", а кроме того цепочка получает антонимическое продолжение в скрытом противопоставлении "интеллектуальная внешность" (9) — "плебейская рожа" (18). Последнее подкрепляет формулировку проблемы "чем не угодил?" и позволяет четче выявить главное — мотив данной языковой личности, пусковой механизм гностического усилия, дающий энергию движения всему трехрядному потоку сознания. Мотив же заключается в потребности выяснить, понять, почему "умный" (я тоже умный), "преуспевающий и ценимый" (я тоже), "не завидующий мне" (а я? если да, то чему?), "не ревнующий меня к нашему руководителю" (а я его?), наконец "симпатичный мне" Виноградов относится ко мне неприязненно. Таким образом, выделяемые в ряду В приемы формирования этого незнакового уровня работы интеллекта — умозаключение, аргументирование, мотивация — отражают состав и структуру самого акта познания, подчеркивают его творческий характер и опережающий принцип функционирования. Это и опережение говорения, и опережение собственных действий, и опережение слушания. Такое опережение можно наблюдать, например, в реконструированном выше (гипотетическом, конечно) метатексте, содержание которого предвещает и коллизию формулировки "проблемы" (Б₅), и выявление мотива (В₄), рассматриваемой языковой личности.

Ясно, что список единиц в каждом ряду мог бы быть продолжен, но границы между рядами устанавливаются довольно четко. Сами эти ряды, или слои, потока сознания обнаруживают вполне определенную аналогию и корреляцию с тремя уровнями организации языковой личности, о которых речь шла выше. Практически совпадающими показывают себя единицы и их свойства, полученные при рассмотрении уровней языковой личности, и единицы, выведенные из анализа потока сознания. Результаты последнего позволяют, во-первых, подтвердить тезаурусный источник образности, а во-вторых, предложить такой вариант ответа на вопрос о способах и формах субъективирования гносеологии: на месте знака вопроса (см. с. 176) следует поставить "познавательные потребности личности", подразумевая под ними мотив, цель, интерес, установку, желание, которые относятся к ряду В и реконструируются из метатекста. Этот вывод, с одной стороны, может показаться достаточно тривиальным, поскольку, соотнося такие эмоционально заряженные единицы, как мотив, цель, интерес и т.п., с познавательной деятельностью личности, мы только подтверждаем общеизвестное положение о том, что без эмоции не может осуществляться человеческое познание. Но, с другой стороны, наш вывод обладает и известной долей неожиданности, ставя познавательные потребности, входящие в более широкую сеть коммуни-

кативно-деятельностных потребностей личности, в один ряд с вербально-ассоциативной сетью и тезаурусом (вертикальный ряд в схеме 1). Этот результат требует осмысления и дальнейшего развития.

Подводя итог нашим размышлениям, следует констатировать, что рассмотренная на уровне целостной языковой личности проблема соотношения семантики и гносеологии приводит к необходимости построения триады, системы, в которую в качестве среднего члена включается совокупность знаний о мире; эта трехчленная, трехуровневая система в ее субъективированном воплощении позволяет сделать предположение о специфике промежуточного языка, связывающего три ее уровня, и показать, как образ, образность может играть роль посредника в осуществлении этой связи; наконец, попытка реконструирования единиц гносеологического уровня путем построения метатекста заставляет поставить вопрос о необходимости рассмотрения операций компрессии, информационного сжатия, (в прикладных целях — от текста к реферату) и расширения, развертывания текста (от текста к метатексту) — как естественных лингво-когнитивных преобразований, постоянно осуществляемых человеком в процессе коммуникативно-познавательной деятельности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЯЗЫК — ЯЗЫК МЫСЛИ

То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно.

Л.С. Выготский

Проблема состоит в том, чтобы исследовать стык между языком и речью, узнать, в какой форме зарождается у человека мысль и как она реализуется в речи.

Н.И. Жинкин

Прежде всего о термине: он навеян идеями Н.И. Жинкина и я обозначаю им явление, которое стоит между звуковой, внешней речью и специфическим языком (языками) мозга в процессах интеллектуальной деятельности и ее вербализации, или, как говорят, в процессах речемыслительной деятельности. Понятие внешней, дискретной речи представляется интуитивно ясным, наблюдаемым и не требует пояснений для лингвиста, что же касается языка мозга, то это объект явно выходящий за пределы обычных его интересов и сферы деятельности, поскольку предполагает изучение нервных механизмов речеобразования, кодовых преобразований нервной импульсации в акустические параметры и обратно, различие в мозге ответственных за речь функциональных блоков, определение функций нейронов в речепроизводстве, анализ "диссипативных структур", образуемых возбужденными нейронами, использование методов "нейронной голографии". Так понимаемым языком мозга занимаются психологи, нейропсихологи и физиологи, тогда как звуковой речью — в первую очередь — лингвисты. Промежу-

точный же язык, т.е. по сути дела язык мысли, язык интеллекта, остается ничейной землей. С одной стороны, к этой проблематике как будто подбираются психологи, исследующие "внутреннюю речь", с другой стороны, к ней движутся психолингвисты, развивающие идеи "речевого мышления". Однако ни те, ни другие впрямую не ставят такой задачи, как изучение языка мысли, а широкий разброс используемой терминологии свидетельствует об отсутствии необходимой определенности и целостности в понимании этого объекта. Уже сам Н.И. Жинкин употреблял для обозначения промежуточного языка такие разные термины, как "смешанный код", внутренняя речь, универсальный предметный код (УПК), "язык внутренней речи", внутренний, субъективный язык, "изобразительный язык внутренней речи". В работах других авторов, обращавшихся к этому же предмету и ссылавшихся на идеи Н.И. Жинкина, встречаем такие трансформации термина: предметно-схемный код, предметно-изобразительный код, внутриречевой смысловой код, индивидуальный (предметно-схемный, изобразительный) код, УПК мышления, образный код, нейтральный язык, язык-посредник. Такой разницей в терминологии (при условии, конечно, что имеется в виду одно и то же явление) имеет и известное преимущество: приведенные именованья, характеризуя объект с разных сторон, выявляют существенные его свойства — универсальность, изобразительно-образную природу и, следовательно, непроизносимость, системное устройство, субъективность, нейтральность (в данном случае имеется в виду независимость от национального языка, т.е. вне-национальный характер УПК), посредничество (промежуточность) между деятельностью интеллекта и речепроизводством, предметность, знаковую сущность (ведь "код"!) и, наконец, в содержательном плане — опору не на семантику (значения), а на смысл (знания).

Как только мы сформулировали эти свойства столь определенно и все сразу, то, не страдая предвзятостью, должны признать, что они и суммарно, и попарно обнаруживают крайнюю противоречивость. Так, "универсальность" требует объяснения на фоне "субъективности"; "изобразительно-образная природа" (а значит, прямая зависимость от отображаемого, мотивированность) приходит в столкновение со "знаковостью", которая по определению в общем случае предполагает условность, конвенциональность единиц, но никак не их "изобразительность"; с другой стороны, "знаковость" плохо сопрягается со "смыслом", "знаниями", поскольку нормальным коррелятом знака (либо его составляющей в плане содержания) должно быть "значение", а не "знание"; "нейтральность", или независимость от национального языка, делает абсурдным употребление для обозначения этого феномена термина "внутренняя речь", которая не может не содержать в качестве отдельных элементов (очевидно, наряду с другими) также слов естественного, а значит национального, языка; "предметность" УПК, или промежуточного языка, при отождествлении его с внутренней речью не согласуется с представлениями о предикативном характере последней; его "про-

межutoчность" между процессом мысли и процессом говорения как будто ставит под сомнение правомерность номинации "УПК мышления", которая по сути должна означать "язык мысли", "язык интеллекта"; наконец, "ad hoc" овость" промежуточного языка трудно увязать с его системностью, равно как и с попытками обобщения и усреднения его единиц по наблюдениям за внутренней речью в психологических и психолингвистических экспериментах. Как же выводить из этих трудностей?

Характеризуя взаимодействие кодовых переходов в процессах понимания и производства речи, Н.И. Жинкин выделял четыре ступени на пути к языкам мозга: язык — звуковая речь — внутренняя речь — интеллект. "Противопоставленность двух дискретных кодов языкам интеллекта, — писал он, — породила смешанный код — внутреннюю речь, которую нужно рассматривать как универсальный предметный код, ставший посредником не только между языком и интеллектом и между устной и письменной речью, но и между национальными языками"¹¹. В этих словах скрыты все отмеченные выше противоречия, но одновременно цитата, на наш взгляд, содержит и ключ для их разрешения. Таким ключевым понятием является оценка промежуточного кода как смешанного: в нем есть сторона, обращенная к звуковой речи, — и это то, что называют "внутренней речью", и есть сторона, обращенная к интеллекту, — и это то, что можно назвать "языком мысли". Иначе говоря, две последние ступени в схеме Н.И. Жинкина должны быть слиты, "склеены" воедино таким образом, чтобы одной стороной, на которой написано "язык мысли", получившаяся в результате склейки "лента" была обращена к интеллекту, а другой стороной — "с надписью" внутренняя речь — она была бы повернута к реальному звуковому потоку, к звуковой речи. Тогда то, что я называю промежуточным языком, действительно будет занимать своеобразную прослочную позицию, выполнять посредническую функцию и допускать изучение и трактовку с двух противостоящих одна другой позиций — взгляд от текста, с позиций внешней речи, и взгляд от интеллекта, с позиций коррелирующих с наблюдаемой речью интеллектуальных (когнитивных) структур и процессов.

Еще несколько слов о термине, чтобы покончить с обоснованиями его введения и использования. Во-первых, он хорош тем, что будучи новым, не отягощен всеми теми противоречивыми коннотациями, которые связаны с другими перечисленными претендентами на эту роль. Во-вторых, с учетом того его наполнения, которое изложено в предыдущем абзаце, внутренняя форма термина становится прозрачной и содержательной. И наконец, в-третьих, промежуточность обозначаемого им феномена и его посредническая роль, определенные его положением между языком мозга и естественным языком, подкрепляются еще по крайней мере дважды: один раз при оценке его как средства перехода от знаний, ко-

¹¹ Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 18.

торыми оперирует интеллект, к значениям, являющимся прерогативой языка, и другой раз двуликостная природа его выступает на первый план при попытке (пока чисто предположительной) трактовать его как связующую прослойку, обеспечивающую возможность перехода, между синкретически-образными, "симультанными" продуктами деятельности правого полушария и вербально-дискретными, "сукцессивными" продуктами деятельности левого полушария.

Согласившись с предлагаемой гипотезой существования и функционального положения промежуточного языка, мы вправе, очевидно, поставить вопрос и о его структуре. Но и здесь мы сталкиваемся с логическими, методологическими и чисто методическими трудностями. К числу первых относятся разделяемые всеми лингвистами и психолингвистами посылки об индивидуальном, субъективном характере рассматриваемого феномена и его *ad hoc*-овости: коль скоро единицы такого языка сугубо индивидуальны, то как же можно их выделять, исчислять и структурировать? В методологическом плане серьезным препятствием на пути решения поставленного вопроса становится также широко распространенное убеждение, что единицы этого языка имеют знаковую природу, являются "знаковыми опосредователями мышления": что же это за "знаки", которые индивидуальны и не могут быть сведены в систему? Такой деспотизм знаковых представлений (ведь обязательно "знаки") отчасти навязывается самим термином "язык" или "код" — из-за некритического усвоения современной лингвистической парадигмой тезиса "язык есть знаковая система" и придания ему в ряде случаев абсолютного характера. Наконец, наблюдения над промежуточным языком, разнообразные экспериментальные методики по его выявлению, оказавшиеся малоэффективными, привели к выводу, что самым надежным средством в этом случае остается интроспекция. Но при всем уважении к этому методу и признании его равноправности в ряду других психологических и психолингвистических методов¹² лингвист, занимающийся изучением такого объекта, как "язык" (неважно промежуточный ли язык, вообще язык или конкретный национальный имеются в виду), не может опираться на интроспективные методики как основополагающие для его исследований.

Перечисленные трудности и привели к тому, что сама идея выявления единиц промежуточного языка и структурирования их набора стала рассматриваться как сомнительная, бесперспективная и даже не вполне научная¹³. В самом деле, создание каталога единиц, которыми оперирует человеческая мысль в процессах отражения сознанием объективного мира и вербализации его результатов, — задача безнадежная, ибо число единиц и их разнообразие столь же велики, сколь бесконечен и неисчерпаем окружающий человека мир. Т.е. эти элементы нельзя фиксировать так же

¹² Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985. С. 207—208.

¹³ Там же. С. 68.

как слова, и значит, промежуточный язык не имеет словаря в обычном смысле слова. Однако единицы промежуточного языка поддаются обобщению и типизации, их можно, как показывает опыт, усреднить и описать их нормативные свойства, что находит методологическую параллель, например, в статистическом усреднении свободных ассоциаций и установлении ассоциативных норм. Основная трудность в том, где и как, помимо интроспекции, зафиксировать это неуловимое нечто, этот промельк искры в нашем уме, след которой иногда остается на заднем фоне нашей внешней речи. Ведь промежуточный язык в чистом, так сказать, виде не наблюдаем, и текстов на промежуточном языке, или "промежуточных" текстов, не существует.

Итак, к чему же мы пришли? Промежуточный язык прямому наблюдению не дан, у него нет словаря, и текстов на нем тоже нет... Что же здесь делать лингвисту и должен ли он вообще этим заниматься? Поставить вопрос таким образом — это все равно, что спросить, должен ли лингвист заниматься языком: ведь на самом деле он оперирует данными речи, текста, а выводы делает о ненаблюдаемом феномене — человеческом языке, т.е. он в известном смысле "реконструирует" его. Ту же ситуацию мы имеем и в случае промежуточного языка — он недоступен наблюдению и его надо реконструировать, весь вопрос только в том — на какой основе. Прежде чем рассматривать источники его реконструкции, попытаемся коллекционировать и систематизировать те типовые элементы промежуточного языка, которые зафиксированы разными исследователями путем интроспекции или экспериментов.

Приводимые далее в перечне элементы промежуточного языка мы характеризуем как равноправные, принадлежащие языку мысли вообще, и не проводим различия между ними по их принадлежности к разным типам мышления. Убеждение, будто в техническом, например, мышлении преобладают символы, в образном — наглядные образы, а в речевом мышлении — языковые знаки, мы считаем ни на чем не основанным заблуждением. И живописец, работающий над пейзажем, в одинаковой мере использует и то, и другое, и треть, и теоретик, разрабатывающий новую физическую концепцию, может опираться не только на языковые знаки или специальные символы, но и на зрительные и акустические образы: вспомним признания Эйнштейна о роли музыки в его творчестве. И хотя лингвист занимается тем, что называют "речевым мышлением" (сам я стараюсь избегать употребления этого термина в моих собственных построениях из-за его амбивалентности), т.е. затрагивает определенные мыслительные процессы, результаты, продукты которых проявляются именно в речевой, а не в сенсомоторной или двигательной или вообще какой-то практической деятельности, тем не менее соответствующий мыслительный "ряд" на промежуточном языке, который при продукции речи движется параллельно внешнему ряду с большим или меньшим (что зависит от масштабности, величины единиц промежуточного языка) его опережением, содержит, по нашим представлениям, которые мы и попытаемся

обосновать ниже, все — или потенциально все — типы элементов этого промежуточного языка, а вовсе не языковые знаки (слова) предпочтительно, как это навязывается самим содержанием термина "речевое мышление". При этом мы, конечно, далеки от однозначного соотнесения дискретных единиц внешней речи с соответствующим рядом внутренних представлений, что казалось естественным в нашей науке, не обогащенной еще исследованиями внутренней речи и достижениями психолингвистики¹⁴, и отдаем себе отчет в том, что интериоризованный ряд элементов промежуточного языка связан одновременно сложными отношениями не только с внешним речевым потоком (через ассоциативно-вербальную сеть), но также с тезаурусом языковой личности и системой ее коммуникативно-деятельностных потребностей. Иными словами, в любом, даже элементарном речевом акте всегда проявляется взаимодействие всех трех уровней организации языковой личности — семантического (ассоциативно-вербальная сеть), лингво-когнитивного (тезаурус) и прагматического. Итак, после сделанных оговорок, можно перейти к характеристике элементов промежуточного языка.

ОБРАЗЫ

Образы восприятия — наиболее типичные и чаще всего упоминающиеся элементы промежуточного языка, которые возникают как отражение в сознании реальных предметов, действий и событий, отличаются наглядностью, синтетичностью и синкретизмом, недискретностью, а значит, отсутствием детализации и известной схематичностью, статистическим преобладанием среди них феноменов зрительной природы, хотя ряд исследователей указывает и на наличие акустических образов. Что касается терминологического обозначения, различных именовании этого типа элементов, то все они так или иначе эксплуатируют вынесенный в заголовок общий термин, снабжая его той или иной дополнительной характеристикой, подчеркивающей одно из существенных его свойств. Так, Н.И. Жинкин говорит от "образах реальных предметов" (ср. у него само название промежуточного языка — "универсальный предметный код"), зрительных и слуховых образах¹⁵; С.М. Шалютин оперирует термином "чувственно-наглядные образы"¹⁶; Ван дер Верден выстраивает ряд из акустических, двигательных и наглядных образов¹⁷. Развивая свою систему двуступенчатого кодового перехода от знаний к значениям, А. Пейвио единицу репрезентации знаний называет "имагеном", обозначая таким образом перцептивный аналог внешних явлений, т.е. тот же образ, характеризующийся икони-

¹⁴ См., например.: *Богородицкий В.А.* Статьи по начальному преподаванию грамматики. Казань, 1919. С. 33.

¹⁵ *Жинкин Н.И.* О кодовых переходах во внутренней речи // ВЯ. 1964. N 6; *Он же.* Речь как проводник информации. М., 1982.

¹⁶ *Шалютин С.М.* Язык и мышление // Новое в жизни, науке, технике, Сер. философ. 1980. N 10.

¹⁷ *Van Der Waerden B.L.* Denken ohne Sprache. // Acta Psychologica. Amsterdam, 1954. Vol. X. N 1—2. P. 170—172.

ческой природой и недискретностью¹⁸. Для ряда ученых предпочтительным в том же значении оказывается термин представление¹⁹, наглядное представление²⁰, конкретное (предметное. — Ю. К.) представление²¹, причем в этом случае обязательно подчеркивается первичность данного явления, его начинательность, зачаточность, потенциальность, я бы сказал, своеобразная невербальная заголовочность, чреватая перерастанием в более усложненный образ или развертыванием в целый текст. Так, для А. Валлона представление — это первая ступень символа, С.А. Аскольдов для характеристики представления использует понятия "эмбрионы мыслительных операций" и *primum movens* (первый шаг): «Произнося или услышав слово "справедливость", мы просто совершаем *primum movens* в направлении того, что мы уже многократно совершали. В этом *primum movens* имплицитарно заключено все то, что мы могли бы развернуть, если бы это потребовалось... Понимающий производит некоторый мгновенный акт, служащий зародышем целой системы мысленных операций над конкретностями справедливых поступков, вообще жизненных отношений»²². Ж. Пиаже также отмечает первоначальность представления, утверждая, что "ментальный образ вначале есть не что иное, как интериоризованная имитация, порождающая затем представление"²³. К сожалению, идея *primum movens* — сама по себе, безусловно, плодотворная, почему-то заставляя всех названных авторов от свойств "предметности" и "потенциальности" рассматриваемого элемента соскальзывать к свойству "знаковости", основываясь только на выполняемой им функции замещения, и потом рассуждать уже о символической или семиотической функции ментальных образов вообще, что вносит неразрешимые, на наш взгляд, противоречия в понимание соотношения семантики и знания. Так, некоторые исследователи, опираясь в качестве исходного момента на тезис о квазипредметности нашего мышления, приходят в итоге к тому, что отождествляют наглядные образы предметов с придуманными ими артефактами, называя последние "телами" знаков, которыми человек якобы оперирует в мыслительной деятельности²⁴, или "знаковыми опосредователями мышления". Не вдаваясь в дальнейший разбор, отметим, что образ как типовой элемент промежуточного языка является самым распространенным представителем рассматриваемого нами феномена и принадлежностью всех концепций, связанных с психологическим и лингвистическим изучением речемыслительной деятельности.

¹⁸ *Paivio A. Imagery, language and semantic memory // International Journal of Psycholinguistics. 1978. N 5.*

¹⁹ *Валлон А. От действия к мысли. М., 1956. С. 167.*

²⁰ *Kainz F. Vorformen des Denkens // Acta Psychologica. Amsterdam, 1954. Vol. X. N 1—2.*

²¹ *Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская речь. Л., 1928.*

²² Там же, С. 34, 36.

²³ *Piaget J. Schèmes d'actions et de l'apprentissage du langage // Théories du langage. Théories de l'apprentissage. P., 1979. P. 249.*

²⁴ См., например, *Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. N 7.*

ГЕШТАЛТЫ

Этот термин, как и предыдущий, своими корнями уходит в психологию, и лингвистическое его содержание покрывается его промежуточной ролью, ролью "мостика" или связующего звена между значениями (языковыми свойствами) и их коррелятами в действительности. В качестве примера такой корреляции приводится пара: БЫТЬ ПОДЛЕЖАЩИМ (грамматическое свойство) сочетается со свойством ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за событие (семантическое свойство). Разрабатывающий эту теорию Дж. Лакофф определяет гешталты как "структуры, используемые в процессах — языковых, мыслительных, перцептуальных, моторных или других"²⁵. Если исходить из тех многочисленных и подчас противоречивых характеристик, которые дает гешталтам этот автор, то, несмотря на значительную неопределенность понятия, в нем можно видеть нечто среднее между "образом" (в отличие от которого гештальт лишен прежде всего наглядности) и "схемой" (см. ниже). То общее, что, безусловно, объединяет гештальт и образ как единицы промежуточного языка, относится к их "сжатости", потенциальности, способности быть развернутыми в более или менее пространственный текст, т.е. свойство "прегнантности". В этом отношении в одном ряду с гешталтом должна быть рассмотрена и выделяемая некоторыми исследователями интегративная единица, называемая "блоком", или "глыбой" (chunk)²⁶, которая в зависимости от конкретных условий и намерений может функционировать как целостное образование или допускать аналитическое расчленение, детализацию и разворачивание в неопределенной длины текст. И гешталты, и блоки трактуются в рамках соответствующих концепций как универсальные структуры, с помощью которых организованы мысли, восприятия, эмоции, процессы познания, моторная деятельность и язык, т.е. по сути дела признается их двукоянусная природа, которая согласно нашим рассуждениям как раз и должна быть свойственна элементам промежуточного языка.

СХЕМЫ, ФРЕЙМЫ

Наличие такого типа единиц в качестве автономных элементов языка мысли констатируется также подавляющим большинством исследователей, причем это происходит независимо от методологических позиций, на которых стоят авторы тех или иных теорий. Понятием "пространственной схемы" в ряду других элементов УПК оперировал в упоминавшихся выше работах Н.И. Жинкин; исходящий из первичности интеллекта по отношению к языку Ж. Пиже использует в том же смысле понятие "интериоризованной схемы

²⁵ *Лакофф Дж.* Лингвистические гешталты // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981. Вып. X. С. 360.

²⁶ *Mandler G.* Integrative and elaborative organisation // XXII-nd International Congress of Psychology. Abstract Guide. Leipzig, 1980. P. 176.

внешних действий"²⁷, а исповедующий противоположный взгляд об определяющем влиянии языка на мышление Э. Холенштейн утверждает, что когнитивная психология не может согласиться, будто на уровне сознания представлены лишь образы и пропозиции, и в качестве равноправного, если не лидирующего, члена среди элементов сознания называет "схемы функциональных связей и правил действия", не представленные ни в образах, ни в пропозициях (например, связь руки, палки и груши, которую я хочу сбить этой палкой)²⁸. О схеме, схематическом представлении, проективном наброске в сознании говорит в этой связи С.А. Аскольдов в цитированном сочинении, а в концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина "схема ориентировочной основы действия" (второй этап) занимает центральное, определяющее положение среди всех шести этапов, задавая и содержание "громкой социализованной", т.е. внешней, и содержание генетически следующей за ней внутренней речи²⁹. Крупнейший авторитет в области исследования внутренней речи А.Н. Соколов развивает гипотезу о существовании "схемы мнемических опор", используемой, например, при запоминании текстов³⁰, а верификация этой гипотезы при анализе процесса последовательного перевода позволила выявить "схему смысловых опор" в тексте, материализующуюся в системе записей переводчика³¹. На этом фоне становится понятным, почему быстро распространившаяся после книги М. Минского идея использования фреймов (т.е. развернутых сетей из взаимозависимых схем функциональных связей и последовательности действий) для представления знаний³² при перенесении ее из сферы искусственного интеллекта легко была усвоена когнитивной психологией и лингвистикой, а сам фрейм был отождествлен с единицами языка мысли.

Однако, как может показаться, увлечение магией слова "схема" незаметно привело нас к тому, что мы поставили в один ряд вещи как будто принципиально разные. Ведь одно дело "интериоризованная схема внешних действий", или "схема ориентировочной основы действия", и совсем иное — "схема смысловых опор", или фрейм. Первого рода схемы относятся к действиям субъекта, личности, тогда как второго рода — персонифицируют действия от личности не зависящие и материализуются в тексте. Причем эти последние не имеют ограничений на сложность, и фрейм может быть построен как для отдельного предложения, так и для целого текста, а возможность объединения фреймов в сеть снимает огра-

²⁷ Piaget J. Le langage et la pensée du point de vue génétique // Acta Psychologica. Amsterdam. 1954. Vol. X. N 1—2. P. 59.

²⁸ Holenstein E. Von der Hintergebarkeit der Sprache: Kognitive Unterlagen der Sprache. Frankfurt a/M., 1980.

²⁹ Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. 1.

³⁰ Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1967.

³¹ Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. М., 1969.

³² Минский М. Фреймы для представления знаний. М., 1979.

ничения и на длину текста. С другой стороны, схему внешних действий субъекта всегда можно представить как фрейм. Но обратима ли эта процедура? Не зная ответа на вопрос, насколько правомерно во всех случаях приравнивать эти два рода объектов и потому полагая возможным оперировать терминами "схема" и "фрейм" в том числе и недифференцированно, отметим все же такой уровень их рассмотрения, на котором различие становится как будто наблюдаемым: речь идет об элементарных составляющих, компонентах того и другого. Развернутая во времени, значительная по объему схема действий, так же как развернутый (текстовый) фрейм, относятся к долговременной памяти индивида и складываются из набора, из последовательности некоторых простых действий или процедур, принадлежащих кратковременной памяти. При этом элементарными клеточками схемы являются, очевидно, простейшие двигательные образы и представления простых предметных действий. Думается, что этот элемент, как простейший, хотя и подчиненный глобальному "схема", мы вправе выделить в качестве единицы промежуточного языка. Рассмотрим его более подробно.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

При разбиении в практическом мышлении схемы действий, соответствующей, например, рутинной ситуации "почистить зубы", мы констатируем, что она складывается из следующих иерархизированных простейших движений — взять щетку, открыть водопроводный кран, намочить щетку, взять тюбик зубной пасты, отвернуть колпачок и т.д. Того же ранга схема действий "задать вопрос докладчику" включает такие двигательные представления — поднять руку, дождаться, когда тебе дадут слово, встать, произнести вопрос, сесть на место, выслушать ответ. Сформулированные здесь языковыми средствами, эти простейшие составляющие схемы, или ее узлы, на деле являются, конечно, именно двигательными образами и в нормальных ситуациях не вербализуются, не доходят до уровня внутренней, а тем более внешней речи, хотя в особых случаях такая вербализация может оказаться необходимой: так, все лингвострановедение строится на вербализации специфически национальных, но рутинных для носителя языка ситуаций. Итак, в общем случае узлы схем составляют двигательные образы.

Несколько иные условия мы обнаруживаем для фрейма. Скажем, фрейм "подготовка и организация профсоюзного собрания" составляется из таких операций (которые в свою очередь могут члениться на более элементарные, также образующие фреймовую структуру, вплоть, очевидно, до разложения каждой из них на простейшие двигательные представления), как "поручение подготовки доклада и проверка его готовности", "выработка проекта решения", "определение круга вопросов, выносимых на дискуссию", "планирование примерного числа выступающих" и т.д. Во фрейм, таким образом, не включаются двигательные образы, и особенность его в том, что узлы в нем обозначаются языковыми знаками — словами,

понятиями (ср. "схему смысловых или мнемических опор", которая тоже строится из слов). В целом же фрейм любого уровня обобщенности — от самого общего ("подготовить профсобрание") до элементарного ("поговорить с будущим докладчиком") может быть адекватно выражен переводом его в пропозициональную структуру, т.е. передан пропозицией, а фреймовая сеть соответственно — системой пропозиций. Следовательно, вторая подчиненная элементарная единица в рассматриваемом типе — пропозиция.

ПРОПОЗИЦИЯ

К. Гольдштейн, разрабатывая концепцию "грамматики мышления", в качестве единицы такой грамматики рассматривает "мыслительную схему", которая по его представлениям организована в форме предложения, однако такого предложения, в котором его составляющие не имеют прямого соответствия — ни в порядке их следования, ни в форме существования — со словами звукового языка, организуемыми предложением в естественном виде³³. Характеристика, даваемая "мыслительной схеме" в этой работе, в точности совпадает с тем, что мы теперь называем пропозицией.

Убежденность в универсальности пропозициональной структуры как элемента всех ментальных процессов и как формы репрезентации знаний разделяется многими авторами³⁴, и основания для такой убежденности, безусловно, есть. Для нас во всяком случае ясно, и выше мы показали это, что по поводу обратимости фреймовой и пропозициональной структур сомнений быть не должно. А если это так, то аналогичное отношение связывает с пропозицией и схему действий, складывающуюся из двигательных образов, что выявляется в случаях вынужденной (искусственной) вербализации схем. Например, в лингвострановедении при "оязыковлении" для иностранца схемы действий при проезде в городском транспорте: войди в автобус, подойди к кассе, которая находится у передней или задней двери автобуса, опусти пятак, если нет пятачка, опусти монету другого достоинства, попросив сдачу у того, кто берет билет рядом с тобой, оторви билет... С другим случаем искусственной вербализации такого рода схем мы встречаемся в художественной литературе, когда в силу условности словесного искусства при передаче событий внешней и внутренней жизни личности с помощью такого приема, как поток сознания, автор вынужден вербализовать в определенных ситуациях в том числе и двигательные представления действующего лица. Ср.: Стол, залпанный красками. "ГОГЕН В ПОЛИНЕЗИИ". (1) Брезгливо дуешь на пену, ждешь, пока осядет. (2) "Ты чего?" — "Пью". (3) Вливаешь в себя, не морщась, смакуешь, ставишь ополови-

³³ Goldstein K. Bemerkungen zum Problem "Sprechen und Denken" auf Grund Hirnpathologischer Erfahrungen // Acta Psychologica. Amsterdam. 1954. Vol. X, N 1—2.

³⁴ См., например: Anderson J.B. Language, memory and thought. N.Y., 1976.

ненный стакан не потому, что на большее духа не хватает, а дабы продлить удовольствие. (4).

Осмотришь: (5) может, не ты один, может быть, все так — лишь делают вид, что упиваются ресторанным смрадом. (6) Осмотришь, Рябов. (7) Бутылки, дым сигарет, парящее от счастья лицо блондина в круглых очках, улыбки ползут, упоение, восторг, ожидание. (8) Карнавал чувств, инсценировка страстей (9) — от скуки, от ленивой неповоротливости ума. (10). Но ведь и ты поедешь через три дня в Жаброво? (11)

"Пойдемте, я покажу вам Жаброво. (12)..."

Музыка. (13) Твое тело настороженно замирает. (14) И в Жаброво поедешь, и пригласишь сейчас свою даму (15)...

Gestatten Sie? (16)³⁵.

Перед нами отрывок, в котором вербализован поток сознания Станислава Рябова в один из моментов разговора за столом в ресторане с двумя собеседниками — братом Андреем и его знакомой. Период времени, в который укладывается весь этот фрагмент потока, занимает не больше, чем интервал между двумя репликами в неспешно ведущемся разговоре, тем не менее объем информации достаточно велик — именно за счет использования средств языка мысли, т.е. промежуточного языка. Данный фрагмент выбран потому, что в нем есть примеры вербализации в пропозициональной структуре именно двигательных представлений: это прежде всего отрезки (5), (7), (15). Как видим, форма глагола в этих пропозициях не фиксирована, т.е. вовсе не обязательно здесь должен быть императив, но что представляется показательным и в известной степени парадоксальным, так это употребление глагольного вида при вербализации соответствующих представлений. Оказывается, там, где есть антиципация, где двигательное представление предшествует внешнему действию, оно оформляется при вербализации совершенным видом (см. указанные отрезки), там же, где оно идет вслед за действием и только констатируется сознанием как отражение некоторого двигательного результата, используется наоборот вид несовершенный (см. отрезки (2), (4) и (14)). Возможно, мы имеем здесь дело со специфическим гештальтом русского языка, согласно которому совершенный вид (грамматико-семантическое свойство) сочетается с антиципацией двигательным представлением внешнего действия (психо-когнитивное свойство), а несовершенный — с отражательной постфиксацией первым второго. Не настаивая на категоричности такого вывода, обратим внимание только на то, что попытка перевода, например, предложения (4) в императив, без изменения вида — "Вливай в себя, не морщась, смакуй, ставь ополовиненный стакан (и делай так) не потому, что на большее духа не хватает, а (как бы для того) дабы продлить удовольствие", — не меняет констатирующего статуса всей пропозиции, не создает у читателя впечатления антиципации внешнего действия, остается вербализованным отражением

³⁵ Киреев Р. Победитель. М., 1980. С. 119—120.

даже не совершающегося, а уже совершившегося. Аналогично обстоит дело и во втором случае: пропозиция (14) фиксирует результат двигательного представления, мотивом для которого послужил акустический образ, вербализованный в (13), тогда как двигательный образ в (15), в вербализованном воплощении переданный совершенным видом, непосредственно предшествует самому акту приглашения в (16), т.е. совершенный вид и антиципация действия коррелируют друг с другом.

Чтобы закончить с наблюдениями над этим гештальтом, рассмотрим другие примеры вербализации двигательных образов, взятые на этот раз из романа В. Богомолова "В августе сорок четвертого..." В кульминационных главах романа, содержащих описание хода проверки документов у остановленных в лесу офицеров, часть текста дана в виде потока сознания Алехина. Во всех приводимых ниже случаях вербализации двигательного представления (все случаи помечены маленькими буквами после соответствующей пропозиции) императив от несовершенного вида глагола фиксирует действие уже произведенное (которое, правда, может быть возобновлено или продолжено), тогда как императив совершенного вида обязательно указывает на антиципацию действия (речевого или моторного):

"Кто они и как оказались в лесу?... Зачем?... Морщи лоб и шевели губами..." (а)

"Чего же он молчит?... Он что, забыл?... Спроси сам!... (б) Спокойнее... (в) Играй!... (г) Попроще... (д) Фиксируй лица!... (е) Так... Вазомоторами и не пахнет... Проверки они не боятся... Что же, естественный вопрос... Представься... (ж) Хорошее у него лицо... Документов у них достаточно... Кто же они?... И что делаю в лесу?... Шевели губами... (з)

"Поговори с ним... (и) насчет довольствия... Так... Фиксируй лицо!..." (к)

"Где они были сегодня ночью?... Так... Поговори и с этим... (л) Качни его на косвенном... (м) Вспомни кого—нибудь... (н) Улыбку... (о) Доверительней... (п) Фиксируй!... (р) Так... Покраснел!... С чего бы?... Успокойся!... (с) Байку им посмешнее... (т) Простачка играй, простачка!..." (у)

"Помогае снять... Затянул узел!... Ловко!... Не подавай виду... (ф) Освободи руки, верни документы..." (х)

В реплике (а) внутренней речи Алехина осуществляется как бы подведение итогов предыдущего поведения, констатируется наличное состояние напряженности мышц лица, отражается в сознании уже имеющая место собственная мимика. Тогда как вслед за внутренней репликой (б) во внешней речи (которая по условиям композиции вынесена в другую главу) сразу идет тот самый вопрос к старшему в группе — капитану; пропозиция (ж) непосредственно предшествует называнию себя и предъявлению Алехиным своих документов. То же самое во всех остальных случаях: после (л) следует обращение к другому офицеру, после (н) — воспоминание о поварихе, после (о) появляется улыбка, а за (х) следует передача

пачки документов капитану. Все эти реальные действия и движения зафиксированы в другой главе, представляющей собой как бы отчет о внешней стороне событий, данный глазами посторонних наблюдателей — Таманцева и Блинова. И наоборот, (у) во внутренней речи Алехина напоминает скорее оценку событий и поощрение собственного поведения, но никак не предвращение каких-то действий, а часто повторяющаяся пропозиция "фиксируй (лица)" выступает как подведение итога своих действий за какой-то промежуток времени.

Сделанные наблюдения как будто подтверждают наличие типично русского (поскольку он основывается на использовании особенности национального языка) гештальта и одновременно демонстрирует следующие свойства рассматриваемых единиц промежуточного языка:

— двигательные представления внешних действий могут выражаться пропозицией, так же как фрейм, иными словами, мы можем констатировать отношения обратимости между двигательным представлением и пропозицией, а значит, в более общем случае — между схемой и фреймом;

— двигательное представление может быть связано как с моторной реакцией (ср. выше — шевели губами, улыбку, освободи руки, верни документы), так и с речевой (ср. — спроси сам, успокой, байку им посмеешь), что служит аргументом в пользу нашего утверждения о равноправности всех единиц промежуточного языка и их относительной независимости от типа мышления — речевого, образного или сенсомоторного (см. выше, с. 188);

— если двигательное представление у говорящего связано с моторной реакцией, то оно может предшествовать ей (и тогда в случае вербализации используется совершенный вид) или следовать за ней (при вербализации мы имеем тогда несовершенный вид);

— если двигательное представление связано с речевым действием, то оно всегда только предшествует ему (совершенный вид).

Теперь вернемся к фрагменту потока сознания в отрывке из романа Р. Киреева "Победитель", приведенному выше, с целью вычленив по результатам вербализации этого потока лежащие в его основе другие элементы промежуточного языка. Пока мы взяли из него только двигательные представления, стоящие за отрезками (2, 4, 5, 7, 14, 15). Внутренней пружиной всего этого отрывка от одной реплики диалога (3) до другой (16) является конфликт между субъективным переживанием и оценкой ситуации со стороны рефлектирующего Станислава Рябова и отношением к этой ситуации других — брата Андрея и его девушки, прочих окружающих. Содержание конфликта — степень искренности поведения: "делают вид"? "инсценировка"? или на самом деле "упоение", "восторг"? Поэтому с одной стороны, "брезгливо", а с другой, — "смакуешь" и "продлить удовольствие", с одной стороны, опять-таки "восторг", а с другой, — "от скуки". Стрела внутреннего, субъективного времени в этом фрагменте берет начало в прошлом (1), проходит через синхронную ситуацию (3—10), захватывает будущее (11, 12) и снова возвращается в актуальное настоящее (13, 16).

Соответственно отрезок (1) — это отсроченное отражение в образах недавнего посещения мастерской брата-художника, а актуализировано это отражение ассоциацией с "пивом" и "пенной" (пропозиция 2), которые тоже были представлены накануне в мастерской. Вот почему двигательный образ, вербализованный в (2), выступает как результат, а не как антиципация соответствующих действий: он уже вызвал, стимулировал ассоциацию, выступив как ее предварение (1). Последняя же оказывается не просто свободной ассоциацией, а содержит в зародыше, как бы символизирует тот внутренний разлад, тот конфликт, на котором строится весь отрывок: стол, залепанный красками VS альбом "Гоген в Полинезии". А дальше конфликт развивается в обмене репликами (3), в скрытой оппозиции внешних атрибутов якобы удовольствия подлинно переживаемому отвращению (4), в оксюморонных сочетаниях — "упиваться" и "смерд" (6), в несколько неожиданной постановке своего намерения поехать в Жаброво, чтобы встретиться с понравившейся ему девушкой, — в один ряд с такими оценками, как "делать вид", "инсценировка страстей", т.е. в приписывании этому намерению атрибута "быть как все".

Вслед за двигательным представлением (7) в тексте отражен результат совершения соответствующего действия — (8). Он составляется из отдельных, неупорядоченных образов, которые вербализуются с помощью имен существительных и в своей совокупности воссоздают ресторанный "картину". Об образах, как единицах промежуточного языка, речь шла выше, что же касается "картины", то последняя может рассматриваться как самостоятельная, но комплексная единица промежуточного языка.

КАРТИНА

Как комплексный фрейм складывается из элементарных фреймов или пропозиций, как сложная схема действий слагается из элементарных двигательных представлений, так и комплексная "картина" имеет своими составляющими отдельные образы восприятия, — либо упорядоченные некоторым системным способом, либо расположенные без определенной системы, просто во временной последовательности.

Именно такую случайную временную последовательность мы видим во фразе (8), и только прикрепленность к известной нам ситуации превращает этот случайный набор имен в связную картину, придает ему статус "смысловой канвы высказывания", его "семантической записи", превращает его из простого набора в "смысло-комплекс"³⁶.

Что касается вербализации отдельных элементов смыслокомплекса, или единичных образов целостной картины, то здесь, кажется, мы можем констатировать еще один гештальт, определяющий устойчивую связь между единицей промежуточного языка и единицами внешнего языка: образом как элементам языка мысли соответствует

³⁶ Термины в кавычках взяты из ст.: *Зимняя И.А. Функциональная психологическая схема формирования и формулирования мысли посредством языка // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985. С. 93.*

именительный падеж темы в поверхностной конструкции естественного языка. Особенно наглядна эта связь в спонтанной речи: А *трамвай*/ он как идет? *Муж*/муж еще не приходил. Они пачкаются / *эти чернила*/ ужасно. *Каша*/ посмотри// Боюсь что горит³⁷. Соединение таких именительных в цепочку и создает "картины", которые становятся художественным приемом в словесном искусстве, вызывающим при восприятии, благодаря веренице сочетающихся образов, определенное настроение у читателя:

Корыта и ушаты,
Нескладница с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера.
Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.
и ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие полочки,
И все как в сентябре.

.....

или

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана

(Б. Пастернак)

Подобная фиксация образов как единиц промежуточного языка и их соединение в картины-смыслокомплексы доступны не только средствам вербализации (как это имеет место в словесном искусстве), но могут достигаться с помощью других видов искусств, в том числе изобразительного. В этом случае происходит как бы вторичное опредмечивание образов, составляющих смыслокомплексы: то, что раньше было пропущено сквозь сознание автора-художника как говорящего и в свое время вербализовано, отразившись затем в восприятии того же художника, но уже как адресата и пройдя через его память в виде отсроченных образов-отражений, теперь снова получает материализацию. У Георгия Месхишвили — грузинского художника-декоратора — есть коллаж "История одной жизни", составленный из набора старых вещей и обрывков документов, которые расположены подобно словам в тексте — в несколько "строк". Здесь пропуск в поликлинику, разорванное свидетельство о рождении, часть служебного удостоверения, пенсионная книжка, рецепт врача, справки, пуговицы, ключи, обрывок вышивки, вязальные спицы, осколок зеркала, кусочек письма и т.п. В расположении этих вещей—образов (соответственно, "имен") нет хронологического или какого-то иного порядка, однако они производят впечатление связанной "картины", поскольку размещены в рамке, причем сама эта рамка образована повешенным на стену

³⁷ Русская разговорная речь. М., 1973. С. 241—248.

раскрытым деревянным чемоданчиком, который есть самостоятельный и в то же время объединяющий образ ("В жизни мы как на вокзале..."). Образ старых вещей, каждая из которых легко развивается зрителем в результате рефлексии за рамки чемоданчика, дополняется другими образами, частично вербализуется и может разрастаться до целого текста (т.е. служит *primum movens*) — и создает подвижный, динамичный, глубоко индивидуализированный, но в то же время очень обобщенный образ ("картину") истории нашей и любой жизни и ее печального, неизбежного конца. Этот коллаж можно в известной мере рассматривать как предметную модель промежуточного языка в целом, где цепочка овеществленных ментальных образов выступает в роли прецедентных (т.е. стандартных и системных) "следов", оживляющих, активизирующих движение и развитие, во-первых, всех других типов единиц промежуточного языка и, во-вторых, его внешней параллели — языка звукового, вербализованного.

В психологической литературе воспроизведение объекта в образе рассматривается как познавательное отношение, а сам образ, или "субъективный образ восприятия", синонимизируется терминами "копия", "снимок", "уподобление" (объекту), "информационный эквивалент" (объекта), "нервная информационная модель внешнего мира"³⁸. Человек устроен так, что знание неотделимо от языка, и поэтому приобретает представление о внешнем мире, совершенствуя, обогащая, детализируя и развивая свою картину мира (в онтогенезе), человек одновременно овладевает языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику, развивает свою языковую способность, или компетенцию. Образ как единица промежуточного языка эволюционирует, прогрессирует вместе с углублением и детализацией знаний о мире и знания языка, приобретает все большую адекватность своему оригиналу в реальности. Причем эта закономерность, присущая и онтогенезу и филогенезу, сохраняет свою силу и для крайнего, вырожденного случая — развития слепоглохонемого ребенка, который может овладеть языком, по многочисленным наблюдениям соответствующих специалистов, лишь в том случае, если у него уже сформирована система образного отражения мира. В частности, А.И. Мещеряков пишет: «Называя одно из психологических образований "мышлением с использованием жестов и слов", мы намеренно не квалифицируем его как "словесное мышление", так как убеждены в том, что "реальное мышление" никогда не сводится к оперированию символами, каковыми в известном смысле являются жесты и слова, а всегда предполагает оперирование образами предметов и действий»³⁹.

В лингвистике к образам и картинам, соотносимым с единицами промежуточного языка, прибегают при создании картинных словарей лексикографы. Отражаемые в такого рода словарях глубина зна-

³⁸ *Чуприкова Н.И.* Психика и сознание как функция мозга. М., 1985. С. 42—54.

³⁹ *Мещеряков А.И.* Слепоглохонемые дети. М., 1974. С. 8.

ний о мире и степень владения языком могут колебаться в очень широких пределах — от картинных словарей для первоначального обучения неродному языку до разноязычных словарей энциклопедического характера в серии Duden. Независимо от их масштаба все они сохраняют принципиальную особенность — верность отмеченному выше гештальту, устанавливающему нерасторжимую связь между именем (вербального языка) и образом (промежуточного языка). Этот гештальт и обуславливает неустранимый недостаток картинных словарей для обучения языку: любое изображение в них при его вербализации может быть передано либо именем существительным, либо целым предложением, другие части речи "неизобразимы". Нельзя самостоятельно передать рисунком, картиной глагол или наречие. Так, желая изобразить "плывет", мы должны нарисовать либо плывущего человека, тогда это будет "пловец", либо пароход, тогда это будет "пароход плывет", либо, наконец, какую-нибудь водоплавающую птицу, но тогда это будет "утка", например. Точно так же нам не удастся изобразить "пожалуйста" или "здравствуйте". Поэтому вполне естественно, что всякого рода Bildwörterbuch и Pictorial Dictionary содержат лишь имена существительные. Тем не менее использование образных информационных эквивалентов объектов при обучении языку оказывается эффективным средством и на него — вкуче с другими приемами — широко опираются при построении учебников для начального этапа обучения неродному языку. При этом говорят только о наглядности, не отдавая себе отчета в глубинной связи "картинок" с единицами промежуточного языка, оперирующего не просто семантикой, но знаниями о мире.

В связи с этими рассуждениями становятся понятными непрекращающиеся, но пока не дающие заметного результата попытки лингвистов приспособить разного рода идеографические классификации лексики и идеографические словари к целям обучения. Ясно, что лексика, сконцентрированная вокруг той или иной идеи, актуализирует и соответствующие знания, и пласты чисто языковой семантики, связанной со взаимоотношениями собственно слов. Следовательно, в статье словаря идеографического типа (тематическом, идеологическом, аналогическом, ассоциативном) происходит, с одной стороны, сложное наложение картин и образов, а с другой, взаимодействие грамматических пластов и свойств слов, что дает нам основания говорить о своего рода "тезаурусной наглядности". Очевидно, исключительная сложность этих картин мешает пока успешному применению идеографических закономерностей и приемов к обучению языку, но совершенно ясно также, что "тезаурусный метод обучения" — как новый и самостоятельный — именно теперь требует энергичной разработки.

Из других достаточно широко упоминаемых в литературе "претендентов" на роль единиц промежуточного языка, нам осталось рассмотреть небольшое число, но особенность их в том, что все оставшиеся характеризуются большей или меньшей неопределенностью. Среди них символы, диаграммы, формулы, жесты, слова.

СИМВОЛЫ

Символ по содержанию самого понятия занимает промежуточное положение между знаком и образом, являясь как бы эмбрионом, *primum movens* последнего. Недаром поэтому нередки двойные обозначения — "образ-символ" и "символ-знак", которые не разъясняют этих бинарных отношений, а еще больше их затумачивают. Рассмотрению взаимоотношений символа и знака посвящена исключительно богатая литература, и мы не в состоянии ни обозреть ее, ни хотя бы перечислить главные точки зрения по этому вопросу. Для наших целей важно отметить следующее: в психологической и психолингвистической литературе, где так или иначе в связи с символом дело касается промежуточного языка, символ трактуется скорее как функция того или иного "знакового опосредователя мышления", чем как конкретная единица, как средство языка мысли⁴⁰. И здесь я не могу не процитировать созвучных этим представлениям мыслей, порожденных вовсе не конкретно-психологическими наблюдениями и выводами, а явившихся следствием историко-философских размышлений: "... попытки установить определенное интеллектуальное или психологическое содержание символа принципиально не могут быть обоснованы и, как правило, кажутся произвольными и неправдоподобными.

Так символ способен увлекать мысль в двух направлениях. Он может вести мысль по пути последовательной сегментации, дискурсии и анализа, познания мира в его знаковом аспекте. И он может являть ей неопределенное единство мира в его непосредственном бытийственном аспекте. В первом случае каждый шаг мысли что-то открывает в мире, во втором, напротив, — что-то скрывает; пониманию же истины как достоверности противопоставляется истина как внутренняя уверенность или правда. Кроме того, два указанных подхода означают соответственно конструирование искусственного языка описания и реабилитацию обыденного языка⁴¹. Оставляя пока без комментария интересный и многообещающий, как нам представляется, поворот к осмыслению роли "обыденного" языка, подчеркнем еще раз двойственную — знаковую и образную одновременно — природу символа, и именно с этой позиции будем рассматривать место данного понятия на фоне ряда единиц промежуточного языка: как функцию тех или иных из них.

В качестве примеров единиц промежуточного языка, которые можно было бы идентифицировать как символы, чаще всего, вероятно, фигурируют условные обозначения из разных профессио-

⁴⁰ Ср., например: *Валлон А.* Указ. соч. С. 167—189; *Брунер Дж.С.* О познавательном развитии // Исследование развития познавательной деятельности. М., 1971. С. 25—98; *Гамезо М.В., Рубахин В.Ф.* Психологическая семиотика: методология, проблемы, результаты исследований // Психологический журнал. 1982. N 6. С. 31; *Величковский Б.М., Зинченко В.П.* Методологические проблемы современной когнитивной психологии // ВФ. 1979. N 7. С. 77; Исследование реального мышления в психолингвистике. М., 1985. С. 54.

⁴¹ *Малаян В.В.* Чжуан-цзы. М., 1985. С. 78.

нальных сфер. Это могут быть буквы-символы (в термодинамике: H — гамильтониан, E — энергия, ω — угловое ускорение), способы передачи в техническом чертеже соединения деталей (зачерненный треугольничек — это сварка, а пунктирная линия — резьба), изображение замыкания или размыкания электрической цепи в электротехнике, косая черточка над гласной буквой, обозначающая силовое ударение, или знак " $>$ ", указывающий на, символизирующий направление эволюционных изменений либо синхронных преобразований форм в лингвистике. Далее, в качестве символов, которыми может оперировать мышление, называют различные плоские или пространственные геометрические фигуры — треугольник, ромб, эллипс, конус. Наконец, в этом ряду мы встречаем и жестовую символику, когда, например, растопыренные в виде буквы V указательный и средний пальцы передают смысл "победа!" или число "два", приставленные в той же конфигурации к голове означают "рожки", но в индивидуальном наполнении или же для какого-то замкнутого коллектива могут символизировать некий особый, локально расшифровываемый смысл. Не менее часто под символами понимают также слова естественного языка, как правило, слова, несущие какой-то очень глубокий, поддающийся масштабному, практически неограниченному развертыванию смысл. Легко видеть, что во всех перечисленных случаях то, что претендует на роль символа, без всякого ущерба может быть отнесено либо к знакам (все научные и технические условные обозначения, как и знаковые жесты), либо к образам (образы геометрических фигур). Что касается слов, то они составляют самостоятельную группу единиц промежуточного языка, которые будут рассмотрены ниже и которым символическая функция (именно как функция) присуща в той же мере, как и другим его единицам.

Таким образом, символы мы не можем считать самостоятельными единицами и трактуем связанные с ними признаки как особое свойство, которое потенциально, при определенных условиях характеризует любые единицы промежуточного языка.

ФОРМУЛЫ

Когда говорят о формулах как единицах языка мысли, то в первую очередь имеют в виду, очевидно, мышление математика или физика, хотя, конечно, и химические процессы могут осмысливаться специалистом тоже на уровне формул. Если же понимать формулу не только как краткую запись некоего процесса с помощью условных буквенно-цифровых обозначений, но расширительно — как определенную логическую структуру, как рамку зависимостей, членами которых могут стать любые другие элементарные единицы промежуточного языка, то формула распространится на другие области знания и на сферу обыденного языка, будучи соотносимой с аналогичной сложной, комплексной единицей — фреймом, слагающемся на предельном уровне анализа, как было показано выше, из простейших двигательных представлений. При таком понимании

формула связывает друг с другом причину и следствие, условие и результат, посылку и вывод. Значит, формула в широком смысле обозначает научную закономерность ("У птиц одного вида, живущих на юге, клюв и лапы длиннее, чем у живущих на севере"; "Размеры рыб одного вида находятся в прямой зависимости от размеров водоема, где они обитают"), выражает религиозно-этическое содержание ("Не судите да не судимы будете"), несет ритуальный смысл, является генерализованным высказыванием, т.е. передает в сжатой афористической форме какое-то жизненное правило ("Никогда не разговаривайте с неизвестными"; "Встретив человека впервые, не говори ему, как ты похудел"). Таким образом, на уровне обыденного языка формулы представлены пословично-поговорочным фондом и набором крылатых фраз и выражений, но в промежуточном языке так понимаемым словесным формулам должны соответствовать некоторые невербальные, естественно, единицы. Скорее всего они состояются из основных элементов типовых ситуаций — наглядных образов и двигательных представлений, однако для более определенного суждения на этот счет необходимы специальные анализы.

ДИАГРАММЫ

Это специфические единицы, безусловно, используются в мыслительных процессах, относящихся к соответствующим областям знания. Они по сути дела выражают те же зависимости, что и предыдущие единицы, но фиксируют их в иной, графической форме. Распространенность их гораздо меньшая, чем прочих, они свойственны узкопрофессиональным сферам и, видимо, полностью отсутствуют в обыденном мышлении. Так, всякий инженер-теплотехник или физик-термодинамик отчетливо представляет себе "картину" (т.е. диаграмму, или график) классического "цикла Карно", а современный лингвист довольно стандартно "видит" мысленным взором графическое отображение соотношения синхронии и диахронии как двух взаимно перпендикулярных осей. Вообще в лингвистике охотно прибегают к графической передаче различных соответствий и закономерностей, скорее всего с целью усиления доказательности рассуждений и выводов исследователя, которые в других отношениях не обладают строгостью математизированной аргументации. Излюбленной фигурой в лингвистической графике является параллелепипед, с помощью которого передаются падежные отношения, отображается фонологическое пространство, моделируются семантические отношения в лексике и даже фиксируется структура речевых готовности языковой личности⁴². Такая многофункциональность этой фигуры, в частности, наводит на мысль, что дело здесь не в адекватности ее структуры разнообразию передаваемых с ее помощью отношений, а только в наглядности

⁴² По поводу последнего см.: *Богин Г.М.* Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов. АДД. Л., 1984.

самого приема, его образности. Поэтому есть основания считать, что рассматриваемые элементы, т.е. диаграммы, представляют собой лишь частный случай наиболее распространенной единицы промежуточного языка — образа восприятия.

СЛОВА

Наличие языковых знаков — слуховых ли образов слов, зрительных их образов или моторно-артикуляционных, в сокращенном ли виде или в полном объеме — в процессах мыслительной деятельности, т.е. в общем потоке, комбинациях и рекомбинациях образов, двигательных представлений, пропозиций, гештальтов, фреймов, символов, формул и диаграмм, не вызывает, как правило, сомнений у исследователей, независимо от того, на вербалистских или антивербалистских позициях в понимании мыслительной деятельности они стоят. Вопрос заключается в том, какие это слова и в каком виде они появляются в этом потоке, в этой "книге бегущего ручья" (К. Лоренц).

Ясно, что это слова ключевые, обладающие высокой смысловой прегнантностью, облеченные символической функцией, т.е. выступающие в качестве символа для большого семантического комплекса, играющие роль смысловых вех, мнемических опор при понимании и продуцировании текста. О таких их свойствах писали многие исследователи⁴³. Л.С. Выготский установил другое свойство слов во внутренней речи (мы бы сказали, в потоке мысли или в промежуточном языке), а именно, их предикативность: "В виде общего закона мы могли бы сказать, что внутренняя речь по мере своего развития обнаруживает не простую тенденцию к сокращению и опусканию слов, не простой переход к телеграфному стилю, но совершенно своеобразную тенденцию к сокращению фразы и предложения за счет опускания подлежащего и относящихся к нему слов. Пользуясь методом интерполяции, мы должны предположить чистую и абсолютную предикативность как основную синтаксическую форму внутренней речи"⁴⁴. И та работа, откуда взята цитата, и другие исследования, содержащие ссылки на идею предикативности внутренней речи, заставляют предположить, что Л.С. Выготский имел в виду прежде всего процесс производства речи и говорил о предикативности "потока", служащего предтечей, предпосылкой вербализации во внешней речи. Обратный же процесс, т.е. процесс понимания и запоминания речи или текста, сопровождающийся компрессией в свернутую форму и соотносением с единицами индивидуального тезауруса, как нам представляется, не может быть предикативным, поскольку сам тезаурус по природе своей

⁴³ Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968. С. 89—101; Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982. С. 68; Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985. С. 55—59. Книга А.Н.Соколова переизд. в URSS в 2007 г.

⁴⁴ Выготский Л.С. Мышление и речь. (М., 1934) // Цит. по кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М., 1981. С. 166.

апредикативен, и поток промежуточного языка в процессе понимания должен быть, следовательно, номинативным по преимуществу.

В этом рассуждении неясным остается соотношение внутренней речи, понимаемой в классическом смысле — по Выготскому и Соколову, с потоком других элементов промежуточного языка в процессах продуцирования и восприятия речи. Прежде всего, по нашим представлениям, внутренняя речь и промежуточный язык есть явления одного порядка, более того, внутренняя речь составляет часть, образует отдельные звенья общего промежуточного потока, формируемого рассмотренными выше единицами. Внутренняя речь противостоит остальному потоку как вербализованная или квазивербализованная, т.е. составленная из так называемых внутренних слов (А.Н. Соколов) его часть. Доля внутренней речи в потоке на промежуточном языке может колебаться, очевидно, в очень широких пределах и зависит как от субъективных факторов (особенностей личности, типа мышления), так и от факторов объективных — продуктивной или рецептивной направленности потока, ситуации общения, области знаний или темы, от того, зрительный или акустический канал передачи информации используется. Вплетенность так понимаемой внутренней речи в промежуточный поток объясняет, с одной стороны, ее сокращенность и телеграфность, поскольку смысловая целостность достигается за счет других элементов промежуточного языка, с которыми элементы внутренней речи находятся в отношениях дополнительности; с другой стороны, делает понятной отмечающуюся многими авторами утрату "внутренним словом" типичных свойств слова как единицы естественного языка, т.е. превращение его из детерминистски обусловленного, знакового по природе, носителя значения — в носитель знаний, связанный со своим наполнением, со своим содержанием уже не на основе строго определенных, детерминированных закономерностей, а вероятностно-статистически. Это триединое свойство слова, а именно — детерминизм связи означающего и означаемого, знаковый характер этой связи и то, что слово есть носитель семантики, значения и последующий распад этого единства при переходе внешнего слова во внутреннее, и определяют известные особенности последнего, отмечающиеся многими исследователями. Среди этих особенностей решающая роль отводится так называемому "расширению значения" — расширению его до "смысла"⁴⁵, а мы бы теперь сказали — до знания (о мире). Значит, внутреннее слово, становясь в один ряд с единицами промежуточного языка, приобретает одинаковые с ними свойства: у него не только появляются "заголовочный характер" (свойство *gratum movens*), символическая функция, непосредственная соотношение с единицами тезауруса личности, но и возникает момент уподобления с соответствующими свойствами объектов внешнего

⁴⁵ *Выготский Л.С.* Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 375—381; *Соколов А.Н.* Указ. соч. С. 100, 101; *Леонтьев А.Н.* Проблемы развития психики. М., 1972. С. 206—227.

мира, уподобления, которое является неотъемлемой чертой основных единиц промежуточного языка — образов и двигательных представлений⁴⁶. Приобретая статус единицы промежуточного языка, внутреннее слово теряет свой грамматический облик, сокращается до нескольких букв (звуков), превращается в отрывок слова, в намек, но намек уже не на слово внешнего языка, а на целый семантический комплекс, блок знания, представителем и носителем содержания которого оно теперь становится. Что касается "уподобления", то оно может идти как по линии звукосмысла и звукосимволизма⁴⁷, так и по линии приобретения внутренним словом, так сказать, вторичной образности, т.е. устойчивой и обратимой связи с каким-то индивидуальным образом, для которого данное внутреннее слово используется как постоянная, закрепленная за ним навсегда мнемическая опора, так что образ при его появлении неизбежно влечет за собой появление внутреннего слова и наоборот. И поэтому, когда речь заходит об "образах слов" (А.Н. Соколов) или образах "других символов", это вовсе не значит, что они возникают на экране сознания подобно загорающейся неоновой рекламе, предстают перед мысленным взором словно напечатанные крупным шрифтом или звучат в ушах в исполнении диктора с хорошо поставленным голосом. "Образом" здесь может быть соответствующее зрительное или слуховое наглядное представление, носящее комплексный, синкретический характер, свойственный всякому образу восприятия, и накрепко связанное с данным внутренним словом. Так, слово *лукоморье* (индивидуальный облик его в форме внутреннего слова не поддается фиксации) в представлении современного носителя языка связано в первую очередь с образом дуба, кота и цепи, а уж потом языковое сознание (при известной его развитости) может обнажить внутреннюю форму слова, установив его связь с морем и изгибом побережья. (Здесь непредумышленно возникла игра слов — "форма внутреннего слова" и "внутренняя форма слова", которая, мы надеемся, не введет читателя в заблуждение).

Завершая этот маленький раздел, посвященный слову как элементу промежуточного языка, хотелось бы сделать три замечания. Во-первых, предлагаемое понимание внутренней речи — как некоторых специфически организованных отрезков общего потока, составленного из разных единиц промежуточного языка, объединяемых принципом отражения внешнего мира и уподобления его объектам и их свойствам, снимает необходимость однозначного ответа на вопрос о вербализованном или невербализованном характере мышления. Поскольку поток на промежуточном языке, если он достаточной длины, всегда содержит такие отрезки, в

⁴⁶ Говоря об уподоблении в этом случае, мы опираемся на расширительное толкование идеи И.М. Сеченова о том, что траектория движущейся руки при ошупывании предмета "уподобляется" контуру предмета.

⁴⁷ Здесь имеются в виду результаты исследований по выявлению связи между звучанием слова и его принадлежностью к соответствующей сфере смысла: Журавлев А.П. Звук и смысл. М., 1981.

которых в качестве материала, в качестве основы уподобления используются определенным образом трансформированные единицы естественного языка — внутренние слова, то этот поток вербализован в большей или меньшей степени, а значит, мышление человека носит вербальный характер. Но поскольку внутреннее слово при этом трансформируется и в плане выражения и в плане содержания до такой степени, что сохраняет со своим оригиналом только генетическую связь и перестает быть словом в обычном смысле, мы с таким же успехом можем сделать вывод о том, что мышление невербально.

Во-вторых, обозрев типы элементов промежуточного языка, мы не нашли оснований говорить о знаковости этих единиц, единиц языка мысли. Этот вывод касается всех единиц, в том числе, как мы только что видели, и слова, пусть в его преобразованном виде, каким является внутреннее слово. Следовательно, использование термина "знаковые опосредователи мышления", как и связанных с ним представлений, нельзя считать оправданным. Знак отливается в свою чеканную форму, становится знаком, только выйдя из промежуточного языка во внешнюю речь, только облекшись в одежды социальности, без которой нет знаковости вообще. И "индивидуальный" характер УПК Жинкина надо видеть прежде всего в его асоциальности, но не в отсутствии типического, не в отсутствии повторяемости от индивидуума к индивидууму, а значит, до какой-то степени воспроизводимости, которые определяются общими свойствами вида гомо сапиенс. Но опять же воспроизводимость единиц промежуточного языка поддерживается их связью со знаковым уровнем языка, с внешней речью. Без такой связи эти единицы оказываются необратимыми: мысль, которую мы не успели хотя бы частично вербализовать, т.е. "ознаковать", ускользает и не воспроизводится, не повторяется. Единицы внешнего языка являются носителями значения и характеризуются асимметричностью. Единицы промежуточного языка являются носителями знания и обладают свойством необратимости. Поэтому там, где Н.И. Жинкин говорит об *ad hoc*-овости УПК, правильнее, на наш взгляд, было бы видеть необратимость единиц промежуточного языка. Парадокс заключается в том, что, не будучи знаковыми по природе, зафиксированы эти единицы могут быть лишь с помощью знаков (и не обязательно слов).

И наконец, третье замечание заключается в том, что обоснованность развиваемых здесь положений поддерживается, как нам кажется, теми представлениями, которые достигнуты в соответствующих отраслях психологии, психолингвистики и собственно лингвистики. Я имею в виду прежде всего уже упоминавшуюся тенденцию к расширению, разбуханию значения, которая в собственно лингвистических штудиях отражается в неукротимом стремлении включить в семантическую структуру слова и культурно-исторический компонент, который обычно выносится в лингвострановедческий и исторический комментарий к слову, и социальный компонент, который возникает как классово-идеологическое приращение и оценка значения в ходе исторического

развития, и, наконец, эмотивный компонент значения, в основе которого лежит индивидуально выражаемая эмоциональная оценочность. Т.е. лингвистика стремится максимально растянуть границы значения, внося в него значительную долю информации, относящуюся по своей природе к знаниям. Другую позицию в решении остро ощущаемой задачи разграничения знания и значения занимают исследователи-психолингвисты, старающиеся развести способы существования, способы хранения слов в сознании носителя языка и выделяющие образную (по нашим представлениям относящуюся к сфере знаний) и вербальную, т.е. относящуюся к сфере значений, системы хранения слов в памяти⁴⁸. Близка к изложенной точка зрения А.А. Залевской, которая при рассмотрении устройства лексикона человека трактует слово (т.е. носитель значения) как средство доступа к информационному тезаурусу (как носителю знания, образа мира) личности⁴⁹. Идея раздельного хранения языкового тезауруса и тезауруса мира, естественно, при условии их тесного взаимодействия, кажется привлекательной и заслуживающей дальнейшей разработки. В качестве заключения всего этого раздела подведем некоторые итоги нашим размышлениям.

Промежуточный язык — это язык представления знаний в человеческом интеллекте, а перечисленные и охарактеризованные выше единицы — это способы представления знаний. Возможности и пути материализации знаний — с целью передачи их от человека к человеку и от поколения к поколению, т.е. коммуникации в широком смысле слова, различны: это могут быть навыки и умения, это могут быть артефакты, предметы материальной культуры, это могут быть определенные ритуалы, зафиксировавшие в последовательности внешних действий ту или иную программу целесообразного поведения. Наконец, мысль, знание может передаваться от человека к человеку непосредственно, как бы минуя стадию материализации, в тех случаях, когда она представляет собой выводное значение, предпосылки для выведения которого содержатся в данной конкретной ситуации, в общем для адресата и адресанта внешнем сиюминутном опыте. Среди этих способов вербализация, языковое оформление выступает как важнейшее знаковое средство материализации духовных знаний, причем для осуществления акта передачи, акта коммуникации знания должны быть трансформированы в значения, должны быть переданы средствами языковой семантики. Знание само по себе внеграмматично, а модально и синкретично по отношению к предмету и действию (его или над ним), значение же всегда опосредовано грамматикой, отягощено частеречными, категориальными, модальными ограничениями, на нем лежит печать межзнаковых отношений. Процесс понимания есть процесс перехода от значений к знаниям, тогда как обратный

⁴⁸ Paivio A. Op. cit.

⁴⁹ Залевская Л.А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.

процесс — речепроизводства (или объяснения, изложения) направлен противоположным образом — от знаний к значениям. С этих позиций выглядит вполне обоснованной тенденция к "разбуханию" значения, которую можно наблюдать в работах исследователей — лингвистов, психологов, психолингвистов, занимающихся проблемами понимания: мы встречаем здесь "расширение значения во внутренней речи", оперирование "семантическими комплексами", большими смысловыми группами, такими терминами, как смысл и информация, там, где в обычном употреблении можно, казалось бы, обойтись "значением". В конце концов, и стремление лингвистов — прежде всего лексикологов и лексикографов — от изучения значения в связи с отдельным словом перейти к изучению значения в лексико-семантических группах прямо поддерживает указанную тенденцию, характеризующую общее движение науки и все более растущий интерес к области формирования, бытования и передачи человеческих знаний. Эту ситуацию можно оценивать и иначе: лингвисты, разочаровавшись в возможности точно, детерминистски установить и описать значение отдельно взятого слова, обратились к более крупным единицам, ансамблям значений — семантическим, лексическим, понятийным, ассоциативным полям, лексико-семантическим, тематическим группам. Такой ансамбль явно или неявно приравнивается к некоему мыслительному комплексу, которым оперирует человек, строя высказывание и выбирая слово. Подобный взгляд лежит в основе функционально-вариативного подхода к описанию языка, пришедшего на смену детерминистскому подходу, но не отменившему последний, поскольку лингвистический детерминизм мил нашему сердцу, представляется естественным, например, на этапах овладения языком, а обыденному сознанию — просто необходимым.

НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О КОММУНИКАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЛИЧНОСТИ

Мотивационный уровень в организации языковой личности, который является предметом рассмотрения в этой главе, многогранен и много сложен по своему устройству и, без сомнения, играет главенствующую роль в иерархии уровней. Одновременно он оказывается наиболее труднодоступным для исследователя, поскольку мотивы, интересы, устремления, интенциональности, цели, как и творческие потенции человека, в значительной доле строятся на аффектах и эмоциях, а языковое выражение последних, не говоря уже о психической сущности, исследовано недостаточно. Вовсе не надеясь ответить на многочисленные вопросы, связанные с функционированием данного уровня, хотелось бы осветить лишь некоторые его аспекты, имеющие, как представляется, четко выраженное языковое соответствие.

Прежде всего о единицах мотивационного уровня: в схеме 1 (см. с. 56) они обозначены как коммуникативно-деятельностные потребности, объединяемые в регистрирующую структуру — коммуникативную сеть. Последнюю можно представить себе и зрительно, как сетку из линий, связывающих данную языковую личность актами коммуникации с некоторым набором партнеров по общению. Такую сеть можно было бы воспроизвести, зафиксировав, например, все разговоры какого-нибудь персонажа художественного произведения с другими действующими в нем лицами. Подобная сеть оказывается не слишком густой и не слишком сложной даже для главного действующего лица, если отсечь те ветви, которые отображают единичные акты коммуникации, т.е. содержат однократные реплики, обращенные к случайным партнерам. Для Андрея Старцова, например, героя романа К. Федина "Города и годы", число таких устойчивых коммуникативных линий немногим больше трех десятков. Конечно, для реальной личности картина должна выглядеть гораздо сложнее. Но вот вопрос, какие же коммуникативные потребности личности отражает построенная таким образом сетка?

Потребности человеческие вообще безграничны и неисчислимы, безграничны не в том даже смысле, что их много, а в том, что тонкая варьируемость их не дает возможности найти столь емкие именования, которые не допускали бы в дальнейшем введения каждый раз еще одной новой потребности, не покрываемой уже существующей классификацией, а затем еще одной, и еще... Так, наряду с потребностью в полноте реализуемых личностью социальных и индивидуальных функций, возникает вдруг трудно объяснимая "потребность быть

неоптимальным", а рядом с потребностью в адаптивности — потребность в риске. Иными словами, число потребностей оказывается потенциально бесконечным. Это положение находится в полном соответствии с марксистским пониманием закономерностей исторического развития общества и человека, поскольку "сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом"¹. Источником потребностей является не имеющий границ процесс общественного производства духовных и материальных ценностей, деятельность в широком смысле слова, и умножая свои потребности, человек и общество накапливают ценностный резерв, увеличивают свой ценностный потенциал. Таким образом, попытка исчислить человеческие потребности вообще обречена, как кажется, на неудачу. Тем не менее в каждой специфической сфере жизнедеятельности — биологической, психической, языковой, познавательной или социальной — исследователи стремятся установить достаточно определенный круг потребностей, выделенный с таким расчетом, чтобы неизбежное появление новых потребностей или модификация старых не вносили принципиальных изменений в установленный тип. Можно оспаривать успешность, например в зарубежной социальной психологии, выделения пяти типов потребностей, удовлетворяемых в речевом общении: в человеческих связях, в самоутверждении, в привязанности, в самоосознании, в системе ориентации.

Понятно, что перечисленные типы тесно связаны с коммуникативными, но было бы неправомерным отождествлять их с последними, поскольку перечисленные потребности отражают прежде всего отношения между людьми, которые реализуются, в частности, также и в общении, в коммуникативных ситуациях². С другой стороны, столь широкие обозначения потребностей позволяют как будто подвести под выделенные типы и любые другие, в том числе, очевидно, и собственно коммуникативные, коль скоро их удастся выделить в чистом виде.

Можно, далее, не соглашаться с попыткой объяснить разновидности речевого поведения личности распределением их среди трех фундаментальных ее ролей, выполняемых в разных ситуациях общения, — ДИТЯ, РОДИТЕЛЬ, ВЗРОСЛЫЙ. Так, каждому из нас знакомы отдельные признаки состояния и поведения "ребенка", в роли которого мы выступаем в разговоре, например, со старшим, уважаемым, признаваемым авторитетным по положению или возрасту собеседником. Иначе строим мы свое поведение в разговорах с детьми или зависимыми от нас собеседниками, естественно присваивая себе

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах: Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966. С. 37.

² Ср.: Мясцеев В. Н. О взаимосвязи общения, отношения и отражения как проблеме общей и социальной психологии // — Социально-психологические и лингвистические характеристики общения и развития контактов между людьми: (Тезисы симпозиума). Л., 1970. С. 114—115.

роль "родителя". Неадекватность между "ведением роли" и ситуацией тотчас ощущается наблюдателем (перехватчиком) или исследователем. Это происходит, например, в тех сценах кинофильма "Сатурн", где актер, исполняющий роль Крамера, разговаривает в своей первой встрече с офицерами абвера. Ситуация общения типологически требует включения в его поведение элементов, характеризующих позицию "ребенка" по отношению к "родителю": они старше по званию и хозяева положения, а он всего лишь перебежчик, ищущий убежища. Но желание актера подчеркнуть внутреннее достоинство и глубокое человеческое превосходство советского разведчика над фашистами заставляет его исключить из своего поведения даже малейшие признаки "ребенка". В результате сцены выглядят ходульными, неправдоподобными. В повести Г. Семенова "Ум лисицы" муж героини — Наварзин, которому принадлежит добрая половина прямой речи во всем тексте, в своих высказываниях и монологах выступает всегда в роли "родителя", которому свойственна уверенность в собственной правоте, безапелляционность суждений, доступна истина в последней инстанции, и потому его отличает способность к авторитетным, поучающим суждениям и окончательными "приговорами". В оппозиции же к нему оказывается рассказчик ("Васенька"), который в диалогах с Наварзиным играет не роль "ребенка", а роль "взрослого", характеризующуюся дуалистическим восприятием действительности, постановкой под сомнение устоявшихся истин и моральных требований, пониманием относительности многих, кажущихся другим незыблемыми установлений:

"Продолжая спор с Наварзиным, которого я не сумел убедить в открытом диалоге, я ему, в общем-то, сказал, вызывая посостязаться в софистике:

— Убеждения можно менять, а цель никогда, — зная, что с этим не согласится Наварзин, и не ошибся.

— Вы путаете два несовместимых понятия. Цель в жизни — одно, а убеждения — другое.

— Нет, это вы не хотите понять меня, — возразил я ему. — С помощью убеждений я выбираю себе цель и стремлюсь к ней. Я убеждаю себя... Если же обстоятельства заставляют поменять убеждения, если вдруг оказывается, что путь выбран неверно и ведет в болото, то почему бы не остановиться и не пойти другим путем? Убеждения, что путь и цель выбраны правильно, оказались ложными. Зачем же мне верить слепо и лезть в болото? Я постараюсь переубедить себя и пойти к цели другим путем.

— То есть вы пойдете против своих убеждений. А это последнее дело.

— Почему же против, почему последнее дело? Мне до цели дойти надо! А если даже против своих убеждений, так что же? Я ведь не изменяю цели. Я убежден, что цель прекрасна и достигнуть ее надо во что бы то ни стало. Но чтобы дойти до нее, нужно уметь менять убеждения...

— Нельзя идти против собственных убеждений, — сказал Наварзин и прищурился.

— А если они ложны? Убеждения всего лишь стимул к поиску кратчайшего пути к цели. Не более того!

— Это называется цель любыми средствами, — говорил Наварзин, не слушая меня. — В понятие "любые средства" входят и недозвоненные, а значит, ваша цель, как бы прекрасна она ни была, не стоит того, чтобы к ней идти³.

Конечно, квалификация языковой личности в соответствии с выполняемой ею в той или иной ситуации одной из трех названных ролей дает известные основания для характеристики ее речевого поведения, но такая квалификация мало помогает в выявлении собственно коммуникативных потребностей. Когда за перечисление их берутся лингвисты, то речь в основном идет о трех типах — контактоустанавливающей, информационной (необходимость получить или сообщить сведения) и воздейственной. А при дальнейших уточнениях и детализациях возможны два экстремальных случая. Либо число коммуникативных потребностей начинает умножаться и в итоге они регрессируют в бесконечность, совпадая с речевыми готовностями (например, потребность в аргументации, потребность в оперировании текстами духовной культуры, потребность в использовании разных подязыков и т.п.). Либо наоборот, идя по линии типизации и укрупнения их, исследователи сближают коммуникативные потребности с функциями языка, и тогда говорят о фатической, номинативной, познавательной, эмотивной, апеллятивной, волюнтаривной потребностях. Но и этот ряд, как легко заметить, не является ни законченным (почему бы не добавить к перечисленным потребность в оценке, например, или потребность в выражении модальности и т.п.), ни логически последовательным, поскольку номинативная, например, — функция ли, потребность ли — не существует сама по себе, а входит составной частью во все другие (без номинации нельзя осуществить ни познавательных, ни апеллятивных, ни каких-то иных актов); эмотивная и волюнтаривная потребности, без сомнения, составляют часть или являются разновидностью апеллятивной, воздейственной и т.п.

В основе человеческого общения лежит "взаимная нуждаемость": "Недостаточность личности в каком-либо отношении является как бы импульсом, побуждающим искать восполнения ее в другой личности"⁴. В этой "взаимной нуждаемости" людей, понимаемой в широком социальном смысле, и надо искать истоки коммуникативных потребностей. Впрочем, если быть точным, то следует, очевидно, говорить не о чисто коммуникативных потребностях, а о потребностях коммуникативно-деятельностных, поскольку общение существует не само по себе, а связано с производственной деятельностью людей, определяющей социальные отношения. В советской психологической науке принято различать три стороны процесса общения — коммуникативную, интерактивную и перцептивную. Первая отвечает задачам установления и развития контактов между людьми, вторая предполагает обмен информацией и выработку единой стратегии

³ Семенов Г. Ум лисицы // Новый мир. 1986. N 7. С. 23.

⁴ Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. Пг., 1912. С. 102.

взаимодействия в совместной деятельности и третья направлена на восприятие и понимание другой личности. Как видим, это трехаспектное деление фактически неплохо коррелирует с лингвистическими представлениями о трех типах коммуникативных потребностей — контактоустанавливающей, информационной и воздейственной. Другое дело, что используемую при этом терминологию едва ли можно признать удачной: термин "коммуникативная" — в психологической классификации разновидностей общения — по сути дела является родовым, соотносимым с процессом общения в целом, и должен покрывать своим содержанием и все прочие его аспекты. Аналогичная ситуация возникает и при выделении разных функций языка, среди которых первой обычно называют "коммуникативную" (т.е. по сути дела родовую его характеристику), а затем перечисляют как бы ее разновидности: номинативную, познавательную, апеллятивную функцию и т.д.

Но, оставив в стороне терминологию, можно констатировать, что помимо корреляции трех типов коммуникативных потребностей с тремя сторонами процесса общения, в них можно усмотреть известный параллелизм и с развиваемой здесь концепцией трехуровневого устройства языковой личности. В самом деле, контактоустанавливающая потребность удовлетворяется как будто вербально-семантическим уровнем, реализуется в обычном употреблении языка (см. схему 1, с. 56), информационная — покрывается тезаурусом личности, а воздейственной потребности отвечает прагматикон.

К сожалению, такая классификационная ясность не выдерживается при столкновении с реальным функционированием языковой личности. Обратившись к коммуникативной сети упомянутого вначале Андрея Старцова из романа К. Федина "Города и годы", мы обнаруживаем в ней такие линии, такие коммуникативные акты, которые не могут быть продиктованы ни одной из трех названных выше коммуникативных потребностей. Например, в эпизоде ночного разговора с Сергеем Львовичем, в результате которого неотдохнувший и невыспавшийся Андрей отправился вместо него на рытье окопов⁵, дискурс последнего нельзя подвести ни под контактоустанавливающую, ни под информационную, ни под воздейственную потребность. Очевидно, опираться в анализе подобных случаев на чисто коммуникативные потребности было бы неверным, поскольку включение личности в процессы общения определяется не только коммуникативным заданием, но всей парадигмой ее социально-деятельностного поведения, охватывающей также интенциональности, интересы, мотивы, цели и ценности. Поэтому мы и считаем необходимым говорить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности как основных единицах мотивационного уровня, лингвистическим коррелятам которых могут служить, в частности, образы прецедентных текстов.

⁵ Федин К. Города и годы: Роман // Собр. соч.: В 12 т. М., 1982. Т. 1. С. 49—50.

Человек живет в мире текстов. Тексты эти разнообразны по содержанию, по жанрам, тематическим сферам, объему, необходимости многократного обращения к ним или разового их использования, а также по большому числу иных своих характеристик. И даже употребив ограничительное прилагательное "прецедентные", мы, очевидно, еще не смогли очертить для читателя достаточно определенно тот круг текстов, о котором пойдет здесь речь. Назовем прецедентными — тексты, (1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности. Ясно, что под это определение не подходит, скажем, "заявление об отпуске", поскольку этот жанр, будучи повторяющимся по характеру, не обладает эмоциональной и познавательной значимостью. Трудно было бы отнести к прецедентному и текст газетного фельетона — не только в силу кратковременности его жизни, но и из-за недостаточной одновременной информированности членов общества (не говоря уже о предшественниках) о его содержании: несмотря на "массовость" средств массовой информации (ведь не все читают, пересказывают и комментируют фельетоны) и в окружении любой языковой личности всегда найдется значительное число лиц, не сталкивавшихся именно с этим текстом, что мешает ему стать прецедентным. Для ученого не должны считаться прецедентными тексты специальных работ — по тем же самым причинам. В то же время было бы неправомерным связывать прецедентные тексты только с художественной литературой. Во-первых, потому что они существуют до нее — в виде мифов, преданий, устно-поэтических произведений, а во-вторых, и в наше время в числе прецедентных, наряду с художественными, фигурируют и библейские тексты, и виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и т.п.), и публицистические произведения историко-философского и политического звучания. Прецедентные тексты можно было бы назвать хрестоматийными в том смысле, что если даже они не входят в программу общеобразовательной школы, если даже их там не изучали, то все равно все говорящие так или иначе знают о них, — прочитав ли их сами или хотя бы понаслышке. Знание прецедентных текстов есть показатель принадлежности к данной эпохе и ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, есть предпосылка отторженности от соответствующей культуры. Так, для средневекового русского читателя в число прецедентных текстов входила "Александрия", а для образованной части общества начала XIX в. их неотъемлемую часть составляли, например, оды Ломоносова. Естественно, этого не скажешь о современном русском читателе, среднестатистической языковой

личности наших дней: названные тексты утратили для нее свое значение, и в необходимых случаях она апеллирует совсем к другим прецедентам. Хрестоматийность и общеизвестность прецедентных текстов обуславливает и такое их свойство, как реинтерпретируемость: как правило, они перешагивают рамки словесного искусства, где исконно возникли, воплощаются в других видах искусств (драматическом спектакле, поэзии, опере, балете, живописи, скульптуре), становясь тем самым фактом культуры в широком смысле слова и получая интерпретацию у новых и новых поколений. Причем жанровые переходы здесь возможны самые неожиданные, ср., например, положенные на музыку записные книжки Ильфа. В самом общем случае можно было бы сказать, что состав прецедентных текстов формируется из произведений русской, советской и мировой классики, имея в виду, что сюда входят и фольклорные шедевры.

Способы существования и обращения прецедентных текстов в обществе довольно однообразны, и их всего, как кажется, три: это натуральный способ, при котором текст, так сказать в первозданном виде, доходит до читателя или слушателя как прямой объект восприятия, понимания, переживания, рефлексии; другой способ можно, очевидно, назвать вторичным, и он предполагает либо трансформацию исходного текста в иной вид искусства, опять-таки предназначенный для непосредственного восприятия, либо вторичные размышления по поводу исходного текста, представленные в критических и литературоведческих (искусствоведческих) статьях, рецензиях, исследованиях; наконец, последний способ следует охарактеризовать как семиотический, когда обращение к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой, признаком, и тем самым в процесс коммуникации включается либо весь текст, либо соотносимые с ситуацией общения или более крупным жизненным событием отдельные его фрагменты. В этом случае весь текст или значительный его фрагмент выступают как целостная единица обозначения. Если два первых способа существования доступны любому тексту, то семиотический присущ только прецедентному. Ср., с одной стороны, употребленную говорящим цитату —

“В мои лета не должно сметь Своё суждение иметь”,

а с другой стороны, предупреждение Щедрина о том, что в пореформенной России “ожили господа Молчалины”, или, высказанную, например, в лекции или статье мысль о том, что Грибоедов беспощадно высмеял низкопоклонство, деячество, “умеренность и аккуратность” тех, “кто на всех глупцов похож”. В каждом из приведенных случаев в речь (дискурс, текст) говорящего, в его аргументацию вводится текст “Горя от ума”, и ввод этот осуществляется подобно замыканию наведенной в сознании слушающего рефлекторной дуги, дуги условного рефлекса: намек (цитата или имя) — и вот уже определенное явление социально-психологического характера или какое-то событие общественно-политического, исторического значения оживает, активизируется в сознании слушателя, прецедент вступает в игру.

Из этих трех способов существования прецедентных текстов нас будет интересовать последний, ибо именно он имеет языковую природу — не социальную только, не психологическую главным образом, но лингвосемиотическую по преимуществу. Прием, с помощью которого прецедентный текст вводится в дискурс языковой личности и тем самым актуализируется в интеллектуально-эмоциональном поле коммуникации, оказывается в чем-то сродни языковой номинации. И хотя эта аналогия внешняя и довольно поверхностная, она позволяет тем не менее прояснить некоторые особенности оперирования прецедентными текстами в процессе употребления языка. В самом деле, в дискурс языковой личности прецедентный текст редко вводится целиком, а всегда только в свернутом, сжатом виде — пересказом, фрагментом или же, как было показано выше, намеком — семиотически. Исключения составляют малые виды словесности — притчи, анекдоты, побасенки, сказки (естественно, в случае их "прецедентности"), которые в качестве вставных новелл могут фигурировать в дискурсе без сокращений. Для пояснения аналогии между номинацией и способом ввода прецедентного текста проведем следующие параллели:

ИМЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕНОТАТЕ
или СИГНИФИКАТЕ

ПОНЯТИЕ

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

ЗАГЛАВИЕ или

ЦИТАТА или

ИМЯ ПЕРСОНАЖА или

ИМЯ АВТОРА

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ

Слева в этой колонке указано языковое средство⁶, справа — потенциально актуализируемое в коммуникативном пространстве (т.е. и для говорящего и для слушающего) этим средством интеллектуально-лингвистическое целое. Таким образом, при восприятии имени (слова) актуализируется представление о соответствующем явлении, при восприятии понятия актуализируется его семантическое поле, а при восприятии названия произведения, цитаты из него, имени персонажа или имени автора актуализируется так или иначе весь прецедентный текст, т.е. приводится в состояние готовности (в меру знания его соответствующей личностью) для использования в дискурсе по

⁶ Ясно, что эта предельно утрированная схема может вызвать у читателя ряд серьезных возражений, связанных с тем, что по сути дела каждое имя (первая строка) может выражать понятие, а с другой стороны, в языке как будто нет специальных средств, предназначенных исключительно для выражения понятия, противопоставленного в этом случае значению (вторая строка). Не вдаваясь в обсуждение этих принципиальных и сложных вопросов, отметим попутно, что на самом деле в случае понятийно ориентированного языкового выражения всегда можно указать определенные формальные средства, использованные именно с этой целью — актуализации собственно понятийного содержания. Другая слабость предложенной схемы в том, что неочевидной является корреляция по вертикали — между единицами в левом столбце и между интеллектуально-лингвистическими блоками в правом. Тем не менее, при всех ее недостатках, схема эта хорошо иллюстрирует основную идею — номинативную природу соотношения прецедентного текста и средств его включения в дискурс языковой личности.

разным своим параметрам — либо со стороны поставленных в нем проблем, либо со стороны своих эстетических (содержательных или формальных) характеристик, либо как источник определенных эмоциональных переживаний, либо как источник сходных ситуаций, либо как образец для подражания или антиобразец и т. п.

Перечисленные здесь (а также в схеме) четыре способа ввода прецедентных текстов представляют собой стереотипы (и исчерпывают их), находящиеся на верхней ступеньке иерархии среди тех стереотипов, которыми оперирует всякая языковая личность в процессе употребления языка. В их числе а) типовые структурные схемы предложений, то, что называют "паттерны"; б) генерализованные высказывания, отражающие основные узлы и особенности устройства индивидуальной и соответствующей социальной "картины мира", и наконец, в) указанные способы ввода прецедентных текстов, играющие роль своеобразных "ярлыков", символов, намеков, если угодно — знаков, тогда как сами тексты при этом в зависимости от особенностей их использования могут выполнять целый набор разнообразных функций — от сугубо номинативных, фактически приравнивающих текст к слову, от оснащения с их помощью аргументации персонажей и использования их как полигона для развития мысли героя, вплоть до повторения и метафоризации в их столкновении и противопоставлении основного конфликта произведения, в тексте которого они используются (т.е. как прецедент в буквальном смысле слова).

Для достижения цели, сформулированной в заглавии статьи, обратимся к конкретному материалу, взяв для анализа роман Руслана Киреева "Подготовительная тетрадь" (М.: Молодая гвардия, 1983), и попытаемся ответить на следующие вопросы:

— как в целом можно оценить обращение того или иного персонажа к прецедентным текстам и что дает такое обращение?

— какие тексты вводятся в дискурс героя и как? (классификация)

— для чего они используются? (типология).

Рассматривая возможный ответ на первый вопрос, я хочу напомнить одну мысль Горького, вложенную им в уста Клима Самгина: Самгин заметил как-то, что думать о мыслях легче и удобнее, чем размышлять о людях и фактах. Два эти объекта — факты и другие мысли — исчерпывают все объекты и соответственно характеризуют все виды мыслительной деятельности: каждый человек, отражая в своем сознании объективно существующий реальный мир, неизбежно осмысливает его, переносит в свою "голову", переводит его в ментальную сферу; равным образом каждый человек оперирует не только отраженными и "пересаженными в голову" фактами, но и феноменами собственно ментальной сферы — ранее сформулированными (им или другими) мыслями. И того и другого рода объекты по значимости и масштабности могут колебаться, естественно, от самых низменных и прозаических на бытовом, так сказать, уровне, до таких, которые составляют высочайшие завоевания человеческого духа, включая, естественно науку и искусство. Однако принято считать, что подлинная духовность связана с объектами второго рода — мыслями по поводу мыслей, т.е. включает в себя рассуждения о книгах, произведениях

искусства, этических и эстетических проблемах, научных теориях, философских концепциях. Думается, это очевидное заблуждение: подобная "рафинированная духовность" (говоря словами героя рассматриваемого нами романа — Виктора Карманова) едва ли не опаснее "грубого и жадного гурманства" (с. 244). Это утверждение вовсе не подразумевает противоположной крайности, а именно, будто истинная духовность удовлетворяется "мыслями о фактах". Приведу отрывок из романа, характеризующий такую экстремальную позицию, занимаемую антиподом Карманова Петром Свечкиным:

«Свечкин мыслил.

— Как было бы хорошо, произнес он, напряженно усмехнувшись, — если б все на земле думали только о хольнителех и пуговицах.

Сигарета замерла в моей руке. Что подразумевал Свечкин? Я прямо спросил его об этом, и он, помедлив, ответил. Все грандиозные идеи, все изнуряющие поиски истины, все хитроумные построения философов и праздных сочинителей ("Ваша заумь" — так кратко и зло охарактеризовал он то, что я пространно развернул сейчас) — все это принесло людям неисчислимыя беды. Только беды и ничего кроме. Горстка очкастых умников, вместо того, чтобы шить плащи, стряпать рассольник по-ленинградски, ломает голову над чепухой, от которой большинству — подавляющему большинству! — ни холодно ни жарко. Пусть ломают, если им это нравится, все хитроумные построения философов других, которым надо заниматься делом. И те идут за ними, как доверчивые бараны...» (с. 227—228).

Развивая диалектическое столкновение этих крайностей (Карманов VS Свечкин), можно было бы вспомнить проводимое А. Франсом различие "мыслителей" и "действователей" в истории цивилизации (Декарт и Наполеон), или нерешаемый спор "физиков" и "лириков", или, наконец, противопоставление "двух культур" Ч. Сноу. Но для рассматриваемой нами задачи достаточно дать рабочее, не претендующее на решение этого "вечного" вопроса, определение духовности. Итак, подлинная духовность, на наш взгляд, предполагает включение "мыслей о фактах" в контекст "мыслей о мыслях". А в этом процессе важная роль принадлежит как раз прецедентным текстам, причем это не означает, что последние представляют собой единственный путь такого включения. Раскольников (как, впрочем, и остальные герои "Преступления и наказания") вообще не оперирует прецедентными текстами, но его размышления о реальных повседневных событиях, людских характерах, с которыми он сталкивается, и человеческих взаимоотношениях постоянно выходят на великие проблемы добра и зла, жизни и смерти, смысла бытия, справедливости, т.е. включаются в контекст общечеловеческих мыслей о мыслях. Прецедентные тексты, представляя собой готовые интеллектуально-эмоциональные блоки — стереотипы, образцы, мерки для сопоставления, используются как инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляемое языковой личностью переключение из "фактологического" контекста мысли в "ментальный", а возможно, и обратно.

Если обратиться к персонажам рассматриваемого нами романа, то приходится констатировать, что практически прецедентными текста-

ми широко оперирует только главным герой — В. Карманов — журналист и писатель, хотя в дискурсах других действующих лиц встречаются, как правило однократно, а в совокупности использованы все указанные выше виды отсылок к прецедентным текстам. Так, Алина Игнатьевна, глава местной писательской организации и автор "многопланового" романа "Молодые люди", всеу называет имя Гоголя как символ классика вообще, выдающейся вершины мирового искусства ("какой-нибудь Гоголь" — с. 236). Другой писатель — Иванцов-Ванько, рассказы которого сами выступают в роли прецедентных (для действующих лиц) текстов в дискурсе Карманова, однажды ссылается на аббата Прево и его героя кавалера де Грие (с. 129); Мальгинов осведомляется о "Мифе о Сизифе" А. Камю (с. 110), Володя Емельяненко дважды (с. 76 и 174) цитирует Вакенродера, Эльвира сообщает, что читала Мопассана (с. 194), а Аристарх Иванович, директор шашлычной "Шампур", упоминает Лира (с. 116) и Омара Хайяма (с. 210). Все эти случаи, число которых ничтожно мало на фоне более чем 50 прецедентных текстов, использованных в дискурсе Карманова (причем к нескольким из них герой обращается многократно), играют минимальную роль для понимания или характеристики прибегающих к этим упоминаниям языковых личностей, по сути дела ничего не добавляя, а только подкрепляя уже известные читателю особенности соответствующих персонажей: интеллектуальное гурманство и арбузно-потребительскую жизненную позицию Иннокентия Мальгинова, фаталистически-индивидуалистскую философскую настроенность Володи Емельяненко или принципиальную несводимость парадоксально соединяющихся в мировидении Эльвиры романтических ожиданий и прагматически-трезвого подхода к жизни. А кроме того, перечисленные отсылки даются соответствующими персонажами в ситуации общения с главным действующим лицом — В. Кармановым. Таким образом, эта языковая личность и будет в центре нашего внимания.

Ясно, что при такой распределенности само отсутствие в дискурсе той или иной личности обращения к прецедентным текстам оказывается значимым. Прецедентными текстами не оперируют, помимо Петра Свечкина, кредо которого отчасти охарактеризовано приведенной цитатой, также такие далеко не эпизодические персонажи, как его отец — Иван Петрович, заместитель главного редактора газеты Алахватов, да и сам Василь Васильич — главный редактор, который, впрочем, в силу удаленности от основных коллизий романа дан несколько схематически. Естественно, что названные действующие лица ничего и не читают, хотя подчеркнута эта особенность в романе лишь в отношении Свечкина, Лидии Кармановой (бывшей жены героя), ее матери — "этажного администратора" гостиницы (она читала только отрывной календарь) и Яна Калиновского — читателя единственной книги — "Популярной медицинской энциклопедии".

Итак, рассмотрим использование прецедентных текстов в дискурсе В. Карманова. Первый и простейший тип (распадающийся впрочем на несколько разновидностей) составляет обращение к ним в целях номинации, когда знак, вводящий прецедентный текст, указывает

на какое-то характерное свойство, типовую примету, отождествляется с наиболее заметной, запоминающейся и потому всем известной чертой лица (персонажа, писателя) или всего произведения в целом. "Что Достоевский! Этажные администраторы гостиниц — вот лучшие психологи мира!" (с. 43). Т.е. Достоевский — как психолог в превосходной степени, психолог с большой буквы, критерий и непревзойденный образец знатока человеческой души. Имя Ларошфуко присваивается В. Кармановым его приятелю Сергею Ноженко как автору сентенции, понравившейся нашему герою (с. 215), Мальгинов видится ему современным Ясоном (с. 212), а Спинозой он называет, конечно по контрасту, от противоположного, П. Свечкина: "Вот! Деловой и практичный, с сугубо утилитарным мышлением администратор заделался вдруг Спинозой" (с. 171). Имя Елены (гомеровской) употребляется как обозначение эталона красоты (с. 23, 29) и, в частности, по отношению к Лидии, жене В. Карманова (далее В.К.); "отечественным Арганом" он называет коллекционирующего собственные несуществующие болезни Яна Калиновского; Гулливер упоминается в связи с резким изменением представлений о размерах окружающего пространства: "В квартиру, где притаилось такое обилие жизненного пространства, я входил с робостью. Отныне я понимал чувства Гулливера, попавшего из Лилипутии к гигантам Бробдингнега" (с. 64). Название книги "Граф Монте-Кристо" употреблено для родового обозначения романтических произведений с увлекательным сюжетом (с. 194), а имя Артура Хейли — для родового обозначения модных авторов, читательское увлечение которыми (не всегда оправданное) может временно принимать массовый характер (с. 150); Морьяк и Моравия приводятся в качестве прецедентов, с которыми сравнивается творчество Иванцова-Ванько (с. 135). Толстовский Иван Ильич появляется в дискурсе как персонафикация страха смерти, философское раздумья о которой В.К. хочет пробудить в насквозь эмпирическом и, казалось бы, неуязвимом для подобных размышлений сознании Свечкина, который, "судя по всему, собирался жить вечно": "Хорошо, он не читал книг, а стало быть не имеет понятия о том утробном ужасе, какой испытывают разные Иваны Ильичи, навсегда исчезая" (с. 138).

От обычной номинации средствами апеллятивной лексики приведенные здесь случаи, как и последующие примеры, отличает обязательная эмоциональная нагруженность такого рода отсылки, а значит, наличие в этой номинации дополнительного экспрессивного оттенка. Что касается качественной характеристики этого оттенка, то она может быть весьма разнообразной, однако в нем всегда можно констатировать присутствие элемента преувеличения, гиперболизма, сдобренного часто большей или меньшей долей иронии. Так, Сергей Ноженко, превратившийся в Ларошфуко благодаря единственному сочиненному им афоризму, все-таки — "лохматый и опухший Ларошфуко"; сравнение самого В.К. с Гулливером, попавшим (в новой квартире) в страну великанов, тем более комично, что в романе постоянно подчеркивается "баскетбольный" ("двухметровая фигура") рост героя; и уж совсем гротескно выглядит решительно утверждаемое превосходство "этажного администратора" как знатока человеческой души

над Достоевским. Этот экспрессивный остаток при апелляции к прецедентному тексту рассмотренными здесь способами станет вполне очевидным, если мы мысленно произведем замены и попытаемся подставить в соответствующих фразах на место названия произведения, на место имени персонажа или автора передающие тот же смысл словосочетания и конструкции, составленные из нейтральной лексики. Подобные трансформации оказываются принципиально возможными почти во всех случаях, за исключением тех, когда имя, использованное для актуализации прецедентного текста, выступает одновременно в двойной функции — и знака-актуализатора, и прямого наименования конкретного лица: "Я никогда не был ловеласом, но и у меня выпадали дни, когда все Джульетты, Беатриче и Лауры, вместе взятые, становились ничто по сравнению с какой-нибудь рыжеволосой примадонной со Второго Каленого переулка" (с. 38).

"Как ни упителны были рыжеволосые красавицы, все они обладали одним странным качеством: однажды вопреки всяким законам диалектики они вдруг переставали меняться. Оставьте их на час, день, месяц или год — вернувшись, вы застанете их в той же позе, и с теми же словами на устах. Просто напасть какая-то! И вот тут снова оживали Джульетты, Беатриче, Лауры, и — что самое поразительное! — они менялись. Они-то как раз и менялись, хотя, казалось, мертво застряли в своих средних — или каких там еще! — веках. При каждой новой встрече я обнаруживал в них что-то новенькое. Мадам Бовари, например, некогда почти старуха, вдруг волшебным образом, а Гретхен произносила фразу, которую я прежде почему-то не слышал: Какой ты равнодушный стал..." (с. 40). "Во всех версиях "Севильского озорника" герой в конце концов терпит наказание, но давайте разберемся: за что? Его ли вина, что сегодня ему нравится Шарлотта, а завтра — Матюринна?" (с. 178). "Что думаете вы о женщинах?" — вопрошал я. — Не о Мееде, Клеопатре, а о женщинах современных" (с. 211).

Завершая рассмотрение первого типа использования прецедентных текстов, отметим еще три частных случая, которые характеризуются всеми указанными выше особенностями (а именно, частичная номинативная функция, акцентирование только одного свойства, экспрессивная насыщенность), но при этом позволяють решать и некоторые дополнительные эстетические задачи, выступая в роли своеобразных "усилительных" средств в раскрытии художественного образа. В первом из этих случаев названия произведений, заключающих в себе величайшие духовные ценности мировой культуры, как бы присваиваются языковой личностью, становятся принадлежностью духовного мира соответствующего персонажа, обозначают составляющие его духовного богатства, представляя собой реинтерпретированный и тем самым — вдвойне прецедентный текст и делая соответствующее лицо причастным к соавторству (речь идет о художнике-графике Володе Емельяненко, о котором В.К. говорит следующее): «...но даже я чувствую мощную экспрессию его "домашних" работ... Все дело, думаю я, в первоисточнике, ибо при всем прилежании "Молодые люди" Алины Игнатьевны не вдохновят на рисунки, которые подарило ему

"Слово о полку Игореве" или андреевский "Иуда Искарriot". Эти лаконичные и страстные наброски потрясают...» (с. 237). Другой случай можно назвать "испытанием прецедентности", когда свойственная данному типу гипербола доводится до абсурда, и сам в высшей степени прецедентный текст становится той лакмусовой бумажкой, которая позволяет выявить состояние и уровень духовной организации той или иной языковой личности. (О Свечкине): "...обладал расторопным умом и по-крестьянски универсальной приспособляемостью, но был сер, как мышь. Учеба давалась ему туго. Я подозреваю, что он не осилил до конца даже "Хоря и Калиныча" — дюжину страниц, которая, бесспорно, является одной из самых ослепительных вершин русской прозы" (с. 112). (Об "этажном администраторе"): «Зато самоуверенность, с какой я признавался в своем невежестве, была сродни апломбу моей тещи, которая, увидев в отрывном календаре портрет Блока, возмущалась: "Блок? А что это такое"» (с. 115). (Об Алахватове): «Он действительно способен прочитать что бы то ни было и шесть и шестьдесят раз. Однажды он выучил наизусть рассказ "Муму" и даже теперь, спустя тридцать лет, может продекламировать его без запинки» (с. 14).

Вероятно, к этим характеристикам, но уже с другим знаком, в другом, так сказать, экстремуме, следует отнести и ситуацию с книгой "Марсель Швоб. Вымышленные биографии", за которой главный герой "тщетно гоняется уже несколько лет" и которую он неожиданно получает в подарок к дню рождения от того же Свечкина (с. 84—85). Это симптоматичный показатель, ибо человек (т.е. В.К.), который широко и свободно оперирует материалом русской и мировой литературы, прекрасно осведомлен об особенностях не только упоминаемых им художественных произведений, но и о закономерностях литературного процесса соответствующего периода, специфике и творческой индивидуальности того или иного автора, способен оценить тонкость литературных приемов и воздействующую силу художественных образов, и при этом сохраняет живой, чисто юношеский интерес к еще не прочитанной им книге, надежду, что она-то и откроет ему нечто новое и совершенно неизвестное (кстати, книге, которую никак нельзя отнести к разряду "прецедентных" текстов), такой человек, безусловно, выглядит как обладающий мощным духовным потенциалом, динамическим зарядом творческой энергии, направленной на вечные поиски нетленной и непреходящей, такой близкой, но часто ускользающей от него истины.

Можно полагать далее, что к рассматриваемому случаю примыкают ситуации обращения к "антипрецедентным" текстам, которые опять-таки используются в "усилительных" целях. Подобных текстов немного, и к ним я бы отнес уже упоминавшийся (в данном случае "вымышленный") роман Алины Игнатьевны "Молодые люди", отсылки к которому и его оценки в дискурсе В.К. встречаются многократно (см. с. 10, 137, 171—172, 195, 213, 237), но содержание которого нигде не раскрывается и который на фоне прецедентных текстов согласно этим оценкам выступает как "антироман", а также, как это ни странно, может быть, упоминание имени Теккеря. Это случай,

когда явно прецедентный текст, не являясь таковым для определенной среды, выступает в дискурсе В.К. в несвойственной ему роли антипрецедентного. Речь идет о том, что швейная фабрика из соображений "финансовой обрядности" не может материально поощрить хорошего работника: "Но вы не горюйте, мастер! Вот вам дефицитный ковер, вот автомобиль вне очереди, а еще лучше — подписка на Уильяма Теккерея, английского реалиста. Аж двенадцать томов в прекрасном переплете... И мастер, слыхом не слыхавший никогда о таком классике, рад до смерти и готов на новые подвиги" (с. 93).

На этом примеры, которые можно отнести к первому типу использования прецедентных текстов, кончаются, за исключением двух малоинтересных случаев, связанных — один — с упоминанием имени американского драматурга О'Нила (с. 186), другой — названия серии "Литературные памятники" (с. 182). Собственно два эти способа — имя собственное (персонажа, автора) и заголовок и составляют ядро формальных средств для первого — номинативно-семиотического типа обращения к прецедентным текстам. Оба средства, наряду с отмеченными выше у каждого случая их употребления специфическими свойствами, обладают одним общим качеством — заметной тенденцией к метафоричности, т.е. в большей или меньшей степени сближаются с обычными образными средствами — тропами и позволяют достичь того же художественного эффекта. Ср., например выше, чисто метафорическое использование имен Ларошфуко или "отечественный Арган" и названий произведений, скажем, "Муму" и "Граф Монте-Кристо". Степень метафоричности падает, когда имя употребляется вместе с заглавием, и возрастает при самостоятельном употреблении того или другого. Парадоксальность ситуации заключается в том, что и имя, апеллирующее к прецедентному тексту, и его название являются "общим местом", именно в силу прецедентности данного текста, но, являясь общим местом, выполняют тем не менее функцию оригинального тропа в дискурсе языковой личности, а значит, примыкают к системе образных средств, становятся приемом создания художественного образа. Истоки метафоричности у того и другого способа одни и те же: и имя, и заглавие как бы заряжены (я бы сказал прегнанты) содержанием текста, к которому они отсылают, вмещают в себя в свернутом виде богатые возможности для раскрытия, развертывания широкого круга познавательно- и эмоционально-оценочных аспектов, содержащихся в прецедентном тексте, служат показателем готовности языковой личности — говорящего (автора) и слушающего (читателя) — в любой момент осуществить такое развертывание, материализовать, объективировать метафору. Однако пути к полному превращению в метафору у них различны.

На этом пути имя стремится освободиться от всех живых черт и признаков лица, к которому оно относится, переливая их в одну гипертрофированную особенность, которая и становится символом соответствующего персонажа. Ср., например, употребленные выше, в цитатах из дискурса В.К., имя "ловеласа" (уже как нарицательное) и женские имена Джульетты, Беатриче, Лауры, находящиеся здесь как бы на полпути к метафоре и выступающие только в роли сим-

вола прекрасной возлюбленной, хотя и сохраняющие функцию отсылки к соответствующим прецедентным текстам. В большей степени последняя функция (при одинаковой общей их роли символа возлюбленной) выражена в именах Шарлотты и Матюрины (в следующей цитате на той же странице), поскольку здесь назван и исконный прецедентный текст ("Севильский озорник"), тогда как имена Меды и Клеопатры (там же, ниже) призваны метафоризировать не просто сему женщины и возлюбленной, но женщины и возлюбленной, способной к определенным поступкам.

Иное развитие к метафоре проходит само название прецедентного текста. Получившее в последнее время заметное распространение изучение заголовков в их соотношении со своим текстом продиктовано не только нуждами научно-технического прогресса, озабоченного проблемами сжатия информации и компрессии текста, но и углублением филолого-герменевтического подхода к трактовке, в частности, художественного текста. Тропеические и иные корни заголовка в тексте не ограничиваются, естественно, его метафорической ролью, но это специальный вопрос, которым занимаются другие исследователи и на ином материале. Мы же лишь в качестве иллюстрации попытаемся проследить на примере названия рассматриваемого романа "Подготовительная тетрадь", как конструируемая в дискурсе языковой личности (В.К.) скрытая метафоричность заголовка получает дальнейшее развитие и приобретает расширительное толкование по мере развертывания текста. "Тетрадь" была вполне реальной и представляла собой один из приемов борьбы "системы" (последовательности, ясности, четкости, определенности, т.е. космоса) Свечкина с хаосом, "беспардонностью" неожиданно свалившейся на него, навязываемой ему и ставшей уже навязчивой рефлексии по поводу бренности бытия, конечности человеческой жизни, неизбежности гибели всего ныне живого. Далее следует объяснение скрытой метафоричности, так сказать, первого порядка, даваемое В.К.: «...Эпитет "подготовительная" принадлежит мне. Однако не полностью. За некоторое время до меня Сенека обмолвился в одном из своих писем, что нужно подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни.

Свечкин готовил. Спрятаться от меня было некуда, поэтому поневоле приходилось мудреть, т.е. учиться соотносить все, что ни происходит окрест, с неминуемостью смерти.

Учиться...Это никогда не было страстью Свечкина, но жизнь предостерегающе грозила ему пальцем, и, внимая ей, он с грехом пополам окончил техникум, а затем и институт. И вот теперь, насильно воткнутый мною в аспирантуру, грыз науку, на которой в свое время пообломали зубы Цицерон и Гете.

Приметливый и находчивый, Свечкин методично записывал в свою тетрадь все, что можно было противопоставить смерти. Или даже не смерти, а страху смерти. Это был жестокий поединок» (с. 166).

Но дальше в тексте происходит расширение переносного значения названия, возникает метафоричность другого уровня, второго порядка, в свете которой главный персонаж, от чьего лица ведется повествование, переосмысливает свою жизнь, — теперь уже жизнь,

а не смерть! — и в этом пункте героя автора, т.е. Р. Киреева (имеется в виду В.К.) снова превосходит героя повествователя (героем же повествователя является Свечкин). Таким образом, наблюдается отчетливая переключка между уровнями метафоричности заголовка романа и его композицией, причем метафорическое переосмысление названия бросает определенный свет и на основную коллизию романа, и на авторскую позицию писателя: "Так же неслышно будет приоткрываться дверь, так же за полночь будет гореть свет в кухне и Свечкин в галстук и костюме великодушно стеречь ее (Эльвиры. — Ю.К.) невинное возвращение. У него вообще не может что-либо разрушиться или сорваться: он пишет свою жизнь набело, без помарок, в то время как у меня — сплошная подготовительная тетрадь. Вот только к чему подготовительная?" (с. 197).

Охарактеризованная таким образом роль имен собственных и названий произведений как способов введения в дискурс прецедентных текстов могла бы создать впечатление о функциональном равноправии указанных средств. Однако такой вывод был бы поспешным. Прежде всего обращает на себя внимание количественное несоответствие одного другому: имен оказывается в три-четыре раза больше, чем заглавий, причем это нельзя объяснить перечислением нескольких действующих лиц из одного произведения — такого нет. Дело в том, что имена собственные, помимо рассмотренных выше функций, решают важнейшую и принципиальную задачу, какая стоит перед всяким произведением искусства — помогают читателю включить мысли о рассказываемых фактах в контекст мыслей о мыслях. Правда, в данном случае положение осложняется тем, что повествователь (В.К.), из дискурса которого извлекаются обращения к прецедентным текстам, по сюжету является писателем, поэтому в его речи границы между литературным фактом и фактом жизни часто оказываются зыбкими. Однако на этом этапе наших рассуждений таким смещением можно и даже нужно пренебречь, поскольку, как я писал об этом в другом месте, воздейственная роль художественных образов на читателя увеличивается именно тогда, когда они воспринимаются как реальные лица, как факты, т.е. когда осуществляется обратное переключение из ментального контекста в фактологический. Итак, переходим к рассмотрению второго, более сложного типа использования прецедентных текстов в дискурсе языковой личности, способа, который в противоположность предыдущему — номинативному и образно-семиотическому — может быть назван референтным.

Такое название происходит от чисто внешнего как будто эффекта, связанного с количественным увеличением числа лиц, к которым апеллирует языковая личность, расширяя тем самым рамки своей референтной группы. В социологии референтной называется группа, с которой индивид чувствует себя связанным наиболее тесно и в которой он черпает нормы, ценности и установки своего поведения. Для В.К. как действующего лица и повествователя реальную референтную группу персонажей в романе, с мнениями, оценками, образцами действий которых он соотносит собственные мысли и поступки, составляют: Володя Емельяненко, Сергей Ноженко,

Алахватов, Иванцов-Ванько, мать В.К., Эльвира, а также в какой-то степени Василий Васильевич (главный редактор) и Лидия Карманова. Ср. прямые признания главного героя: "Все в чем-то превосходят меня. Иванцов-Ванько — в таланте, Василь Васильич — в мудрости, моя жена, дважды бывшая, — в доброте, а Алахватов — в целеустремленности и стойкости; в духовности — Володя Емельяненко. И потому можно ли осуждать Эльвиру, избравшую безошибочным инстинктом женщины человека объявленного?" (с. 238). "А Ян Калиновский, а Сергей Ноженко, а Володя Емельяненко и даже, кажется, Алахватов считают меня мужественным человеком. Мужественным и честным. Почти кристально... Знали б они..." (с. 242). Эта группа расширяется за счет имен, вводящих прецедентные тексты, — Гете, Слепцов, Толстой, Гессе, Пушкин, Сенка, Чернышевский, Дон Жуан, Дон Кихот, — причем роль их не зависит от того, принадлежит ли имя исторически реальной личности или персонажу художественного произведения, меняется несколько лишь способ характеристики соответствующего прецедентного текста: в случае апелляции к имени автора применяется цитирование или пересказ, при обращении к персонажу последний выступает либо как собеседник говорящего (автора дискурса), либо как объект сопоставления с представителем реальной референтной или антиреферентной группы. Последняя формируется по тому же принципу, что референтная, но с обратным знаком. Для В.К. такую группу составляют в романе: Свечкин, Алина Игнатьевна, Мальгинов, мать Лидии (этажный администратор), Гитарцев (директор совхоза) и Лапшин; дополняют антиреферентную группу Монтень, Руссо и Жан-Батист Кламанс — герой повести Камю "Падение". В соответствии с нашей задачей нас будут интересовать только дополнения обеих групп.

Включение в референтную (антиреферентную) группу исторического лица, великого деятеля культуры прошлого, широко известного автора прецедентных текстов в общем понятно и оправдано. Такое расширение круга лиц, вовлекаемых автором дискурса (повествователем) в обсуждение возникающих как повседневных жизненных ситуаций, так и общезначимых вопросов существенно обогащает идейно-проблемное содержание произведения, наращивает его духовный заряд, увеличивает воздейственную эстетическую и этическую мощь. Тот же эффект дает и введение персонажа художественного произведения в состав референтной группы той или иной языковой личности. Разница только в том, что имя персонажа прецедентного текста обладает потенциальной метафоричностью в большей степени, чем имя конкретного исторического лица. Так, имя Дон Жуана легче могло бы использоваться в переносном смысле, чем имя Ларошфуко. Однако условием вхождения в референтную группу должно быть полное отсутствие метафоричности у имени собственного, что способствует усилению иллюзии подлинности, реальности соответствующего лица. Вторым условием является очень хорошее знание говорящим этого лица, очень тесное знакомство с ним, почти ин-

тимная близость. Фактически у всех членов его реальной референтной группы В.К. бывал дома и даже, как он говорит, "живал в семье". Так же близки ему и вымышленные члены референтной группы, и эта их "домашность" объясняет проскальзывающие иногда в дискурсе фамильярные нотки по отношению к ним, несколько не умаляющие, впрочем, а скорее еще резче оттеняющие высокое уважение к их авторитету. Ср. вольное, даже несколько небрежное упоминание письма Сенеки, чуть ли не как своего корреспондента (с. 166), или лукавый и отчасти издевательский смех Толстого в рассказе о нем, написанном автором повествования, т.е. В.К. (с. 107—108). Соответственно с Дон Жуаном, как героем собственной комедии, которую он "вот уже два года пишет втайне от всех", он тоже сроднился: герой говорит его языком, развивает свойственные самому В.К. аспекты мироощущения, например теорию "уравновешивания" добра злом в мире (с. 94, 163). Здесь надо сказать, что Дон Жуан его комедии не просто соблазнитель женщин, а дерзкий экспериментатор, который бросает вызов самому небу, ставя на чашу весов собственную жизнь в надежде, что на другой чаше окажется, и тем самым ему откроется, правда. Поэтому естественным становится сопоставление позиции этого героя с отчаянным поступком пятнадцатилетнего Васи Слепцова (оба — члены одной референтной группы), шагнувшего во время церковной службы в алтарь, чтобы проверить, правда ли, что гнев божий должен испепелить нечестивца (с. 103). "Дон Кихот" — это книга, в общении с героем которой В.К. черпает духовные силы для противопоставления жизненным неурядицам (с. 190), причем даже в этом — в обращении к книгам в трудную минуту — он как бы бессознательно проводит параллель между собой и Алонсо Кихано: она также и в подчеркивании собственной долговязости и нескладности, и в способности, "очертя голову", с ржавым мечом бросаться на борьбу со злом ("с открытым забралом идти против начальства" — с. 121), и в сути последнего из странствующих рыцарей, которая "не в том, что он добрый, а в том, что он рыцарь" (с. 190).

Проверка мыслей и действий на соответствие идеалам и образцам референтной группы путем подстановки членов группы на свое место постоянно осуществляется рассматриваемой языковой личностью и по отношению к своему литературному творчеству. Так, осуждая себя за приверженность к броской форме, достигаемой иногда за счет точности, а значит, в ущерб правде (в частности, в очерке "Великий Свечкин"), В.К. говорит, что Слепцов "ни за что не позволил бы себе этого", что "ни у Гирькина, ни у Иванцова-Ванько вы не найдете ее следов" (с. 113).

Оценкой своих мыслей, чувств, переживаний и действий с позиций членов референтной группы, самооценкой на их фоне и даже отождествлением себя с некоторыми из них, попыткой применить найденные ими ответы к вопросам, которые жизнь ставит перед данной языковой личностью или личность адресуется жизни ("фактологический контекст") и даже "небу" ("ментальный контекст"), естественно, не ограничивается их роль в дискурсе В.К. и тексте романа в целом.

Подобно фигурам на шахматной доске языковая личность сталкивает их друг с другом и членами антиреферентной группы как носителей определенных духовных начал, вечных истин или вечных проблем, резко обнажая конфликты и используя эти фигуры как "золотой ключик", отмыкающий сокровенные тайны человеческого духа. Так, Дон Кихот выступает как антипод Монтеня с его философией умеренности и созерцательного спокойствия (с. 116, 188), а с другой стороны, противопоставляется Христу ("Дон Кихот гуманнее Христа, потому что последний своими муками взывал прежде всего к отщению, а первый — к совести" — с. 191). У Дон Жуана, как ни неожиданно это, находятся точки соприкосновения со Свечкиным — по их "терпимому" отношению к женским слабостям и приверженности обоих к "системе" (с. 102). Свечкин в его отношении к вопросам жизни и смерти оказывается "победителем" в мысленном столкновении его позиции (в дискурсе В.К.) с позицией Гете, Монтескье и Толстого (с. 160—161). С героем Камю Жан-Батистом Кламансом сближается Иннокентий Мальгинов, у которого, по мысли В.К., был в жизни "свой мост Руаяль" (с. 117), Монтень в одном из своих этюдов противостоит королю Лиру (с. 115—116), а Руссо в его "Исповеди" проигрывает в искренности и бесстрашии Иванцову-Ванько (с. 133).

Есть еще один способ введения прецедентных текстов в дискурс языковой личности, способ, которого пока мы не касались, — это цитирование. Функции этого способа оказываются двоякими. В самом деле, один результат возникает в случае, если в речь включается некое высказывание (приписываемое или не приписываемое определенному автору), носящее характер формулы, правила (например, "Понять, сказал Рафаэль, значит стать равным" — с. 6), и другой эффект наблюдается, когда цитата как бы естественным образом продолжает и развивает течение оригинального дискурса, но главная ее роль состоит в облегчении способа аргументации говорящего и в подкреплении выраженной в ней мысли ссылкой на авторитет, т.е. опять-таки в апелляции к члену референтной (антиреферентной) группы: "И я удовольствием цитировал престижного Германа Гессе, который, как и следовало ожидать, тоже был кумиром Мальгинова и который еще полвека назад определил мещанство как "стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полными человеческого поведения" (с. 115). В первом случае и с точки зрения читательского восприятия такого рода цитаты не предполагают обязательной атрибуции. Их роль совсем другая: они служат своего рода "указателями", обозначают специальное "русло", особого рода "канал", по которому развиваемая в дискурсе языковой личности мысль как бы вливается в широкий "ментальный контекст" духовного арсенала произведения, читателя, эпохи. По своему статусу в структуре языковой личности и по особенностям их использования такого рода цитаты сближаются со стереотипами иного уровня — генерализованными высказываниями, аккумулирующими в виде формул, правил, афоризмов,

сентенций сумму знаний о мире и упорядоченными в индивидуальном тезаурусе. Надо сказать, что в дискурсе В.К., как впрочем и в текстах, принадлежащих другим персонажам, генерализованных высказываний довольно много, и они удачно разнообразятся и дополняются рассматриваемого типа цитатами. Формальным показателем принадлежности цитаты к данному типу является в основном не прямое, а косвенное указание на ее источник либо отсутствие всякого указания, т.е. эти цитаты готовы оторваться от своих корней и войти в корпус генерализованных высказываний. Такова цитата из Чернышевского, где автор может быть лишь угадан ("из магистерской диссертации молодого русского разночинца, который обладал великим умом и великой совестью..." — с. 18), таковы мысли "высокомерного веймарского советника" (с. 160), такова знаменитая фраза пушкинского Сальери "Нет правды на земле, но правды нет и выше" (с. 102), которая давно оторвалась от своего источника и стала крылатой, и ряд других (с. 39, 59, 238).

Особую разновидность этого типа составляет скрытое цитирование, в том числе трансформированные цитаты, т.е. измененные говорящим, данной языковой личностью применительно к случаю, но в твердой убежденности, что они остались узнаваемы, восстанавливаемы. В подобном употреблении ощущается отчетливая аналогия с пословично-поговорочными выражениями, обладающими одновременно и генерализующими и ситуативно-оценочными возможностями, а также заметной экспрессивной окраской. Ср. употребленное применительно к оценке одного из рассказов, знаменитое пушкинское "Ай да Иванцов! Ай да сукин сын!" (с. 60), где сама допустимость подстановки имени Иванцова на место имени Пушкина говорит и о качестве рассказа, и о степени восхищенности читателя (т.е. В.К.) гораздо больше, чем можно было бы выразить длинным, многословным и тогда уж наверняка скучным пассажем, вложенным в уста персонажа. Точно так же, характеризуя словами "Он же гений, как ты да я" исходную посылку в размышлениях Иванцова-Ванько о том, почему он — Карманов — не пишет или во всяком случае не обнародует свои произведения, В.К. тем самым однозначно соотносит ситуацию их разговора с соответствующей сценой пушкинского "Моцарта и Сальери" (с. 135), подставляя себя на место Сальери и не называя ни автора, ни источника, а опираясь только на аналогию.

Что касается цитирования второго типа, иллюстрированного выше ссылкой на Гессе, то оно, как правило, лишено экспрессивного ореола, его роль более определена и состоит в усилении аргументации в дискурсе языковой личности и расширении референтной (антиреферентной) группы. Таких цитат тоже достаточно много, и здесь мы встретим имена Толстого, Монтескье, Стендаля, Монтеня, Руссо.

Чтобы охватить все случаи обращения к прецедентным текстам в дискурсе характеризуемой здесь языковой личности, нам осталось рассмотреть специфическую область, связанную с профессиональными интересами В. Карманова как литератора. В этой сфере

прецедентные тексты дают образцы, служат критериями оценки, стимулируют собственные эстетические решения языковой личности, очерчивают инвентарь художественных приемов, достойных подражания. Одновременно для филологически не искусленного читателя, читателя не профессионала, каким является В.К., его наблюдения и размышления расставляют некоторые акценты, открывают нечто новое в том или ином прецедентном тексте, играя тем самым чисто познавательную роль, не говоря уже о мощном катарсическом эффекте от встречи и обобщения с выдающимися произведениями мировой классики, от обновления и актуализации в читательской рефлексии эстетических и этических переживаний, связанных с острыми коллизиями и яркими характерами знаменитых литературных героев. Но и сказанным не ограничивается роль текстов данного ряда: особенность их использования еще и в том, что к ним В.К. обращается на протяжении своего дискурса по два-три раза, и, становясь легко опознаваемым, каждый такой текст превращается для читателя в прямую реминисценцию, а это в свою очередь позволяет автору (т.е. уже Р. Кирееву) создавать на их основе особые символические образы и проводить сложные, не прямые, но благодаря прецедентности текстов расшифровываемые читателем аналогии. В целом эти приемы обогащают образный строй романа и дают возможность автору выйти за рамки избранного им жанра (т.е. "исповеди"), не нарушая его законов, но в то же время показав своего протагониста как бы со стороны.

Обратимся к материалу романа и приведем для начала размышления В.К. об одной реплике у Шекспира. «Когда, например, Макдуф сообщает сыну Дункана Малькольму "Убит ваш царственный родитель" и Малькольм в ответ не ахает, не хватается за сердце, не восклицает "Папа!", а гневно и лаконично вопрошает "Кем?", то у вас мурашки бегут по коже — так много вмещено в эту краткую реплику. Тут и характер молодого человека, уже воспламенившегося для мести, и очерк времени, когда политические убийства были явлением каждодневным, и сюжетная перспектива, и та высшая театральность, которую иные современные авторы подменяют унылым жизнеподобием. И все в одном слове! Ну что, казалось, стоит произнести его?» (с. 5). В этом первом обращении к нему прецедентный текст "Макбета" выполняет все те традиционные функции, о которых говорилось раньше, а кроме того использующая его языковая личность осуществляет с его помощью аналогию, как бы подставляя себя на место члена референтной группы⁷ (в данном случае — Шекспира) и задавая вопрос типа "А я бы так смог?" Но второе

⁷ Надо сказать, что референтная группа, к которой В.К. апеллирует чисто профессионально, как литератор, не совпадает с упоминавшейся выше референтной группой В.К. как личности, хотя частично и пересекается с нею. Вторую референтную группу составляют Пушкин, Шекспир, Гете, Гомер, Аксаков, Гончаров, Иванцов-Ванько, Гирькин. Распределение "обязанностей" здесь такое: протагонист

упоминание того же текста играет совсем иную роль. Использованный как реминисценция, он позволяет провести иную аналогию, которая добавляет новые штрихи к облику В.К., характеризуя еще один ракурс, в котором он воспринимает жизнь: фактологический контекст идет перед его глазами как сплошное театральное действие, которое либо можно, либо нельзя перенести, зафиксировав его в слове, в текст собственного художественного произведения. И в этом отношении реминисценция становится инструментом, прибором для испытания жизненной ситуации на ее художественную адекватность. «А теперь внимание! Это прежде герои проверялись информацией типа: "Убит ваш царственный родитель", и мы, затаив дыхание, ждали, что ответит сын. Современная драма предлагает другой текст. Герой сидит перед телевизором и смотрит самого себя — случай, который простому смертному выпадает раз в жизни, а то и реже, — и тут бесцеремонная и тщеславная жена, в широко раскрытых глазах которой светится по крохотному экранчику, требует отправиться на кухню мыть яблоко. Не лихо ли?

Как поведет себя в такой ситуации простой смертный?» (с. 170).

Подобным образом обстоит дело с использованием реплики пушкинского Дон Гуана. При первой встрече с ней на страницах романа читатель видит лишь простую аналогию между В.К., пишущим своего "Дон Жуана", и одним из членов референтной группы: «...никогда не выхватить мне для своего героя те единственные слова, которые произносит у Пушкина умирающий Дон Гуан. Это конец, больше он не проронит ни звука, но в этой краткой реплике весь он. "Дона Анна..." — говорит он. Дона Анна...» (с. 6). Однако все последующие ее упоминания (а это имя приводится еще три раза — с. 104, 108, 178) выполняют гораздо более сложную функцию. Во-первых, далее оно всегда встречается рядом, в одном контексте с именем Эльвиры, что позволяет установить в восприятии читателя устойчивую связь Эльвиры ↔ Дона Анна, а, во-вторых, записки самого В.К. заканчиваются описанием постоянно преследующей его картины - "наваждения", картины, в центре которой образ Эльвиры, и приученный читатель, легко осуществляя прецедентную подстановку, слышит в этой концовке переключку с отчаянно-страстными последними словами пушкинского героя.

Но на этом порождаящая прецедентными текстами символическая образность не кончается. Высокое чувство, которое испытывает В.К. к Эльвире, вдохновляет его на новые поэтические аналогии, и читатель, гордый доверием автора к его догадливости, легко реконструирует эти не прямые аналогии, устанавливая отношения, открытые им в паре Эльвира — Дона Анна, также между Эльвирой

(В.К.) автора (Р. Киреева) акцентирует внимание на каком-то художественном приеме, а автор (Р. Киреев) прибегает к реминисценции, чтобы в свете этого приема отчетливее выпелить характер своего протагониста и одновременно замкнуть композицию таким образом, что читатель самостоятельно делает вывод, который не позволяет сформулировать самому автору избранный им жанр исповеди героя.

и фаустовской Гретхен (ср. ее реплику "Какой ты равнодушный стал", повторенную дважды: один раз приводимую как образец художественного приема, а второй раз — в тексте рефлектирующего героя применительно к ситуации его нелегкой любви); между Эльвирой и Анной Карениной (ключевой здесь становится художественная деталь — породистый завиток Анны Карениной (с. 23), противопоставленный "обесцвеченным злым реактивом мертвым волосам Эльвиры", завиток, который трансформируется в "завиток табачного дыма, напомнивший в какой-то миг округлость ее (Эльвиры. — Ю.К.) живого уха, что проглядывает сквозь безукоризненно уложенные, обесцвеченные злым реактивом мертвые волосы..." — с. 129); наконец, может быть наиболее спорную параллель — между Эльвирой и гомеровской Еленой. В этом случае, как и в остальных, первое упоминание прецедентного текста связано с обсуждением и оценкой приема ("Гомер нигде не описывает внешности Елены, но кто из нас смеет усомниться в ее красоте!" — с. 23), а дальше на основе того же приема проводится прямое сопоставление Елены с совершенно другим персонажем — бывшей женой В.К. Лидией. Но глубинная и уверенная аналогия между Эльвирой и Еленой основывается не на поверхностных уравнениях ($x=y$), а на своеобразном развитии, усилении гомеровского художественного приема и заключается не в отсутствии сведений о предмете, облик которого читателю предлагается восстановить с помощью воображения, а в наличии сведений прямо противоположного характера, которые тем не менее должны приводить к тому же самому читательскому эффекту. Это своеобразный прием "доказательства от противного", который и позволяет восстановить "обратную" аналогию Эльвиры — Елена. В дискурсе В.К. Эльвира получает только отрицательные (прямые) характеристики практически во всех ситуациях, положительной (а иногда и восторженной) является лишь реакция на нее В.К., которая впрочем тоже проявляется часто довольно парадоксально. Приведем некоторые оценочные перифразы и эпитеты, к которым прибегает В.К., рассказывая и показывая читателю Эльвиру: этакое созданыце, пигалица, генеральская дочка, неверная белоручка, пещерный интеллект, тщеславная ветреница, неумна, внешние данные оставляют желать лучшего, тонкие губы, эгоистична и т.п.

Этот ряд использования прецедентных текстов можно было бы продолжить, включив сюда реминисценции из рассказов Иванцова-Ванько (причем эти реминисценции по своей "направленности", если можно так выразиться, не похожи на другие, поскольку, будучи взяты из текста — пусть вымышленного, они переносятся на поведение героя (В.К.), отражаются в его поступках, хотя бы и потенциальных), или "самореминисценции" Р. Кирсева, связанные с введением персонажей из других его романов — Мальгинов и Гирькин из "Апологии", Рябов из "Победителя". Однако это, как кажется, не добавит уже ничего принципиально нового к характеристике прецедентного текста как особого приема создания художественного образа, хотя и подкрепит представление читателя о характере референтных и антиреферентных групп.

Теперь, окидывая взглядом сделанные наблюдения, приходим к довольно неожиданному выводу. Если априорно, до проведения конкретного анализа можно было утверждать, что да, литература, особенно в лице прецедентных текстов, способствует формированию определенного образа мыслей, помогает установить нравственные позиции личности, укрепляет ее ценностные ориентации, но при этом роль ее в структуре личности, в характеристике ее речеупотребления в известной мере декоративна, орнаментальна, существо же и основу духовно-ценностных параметров личности образует совокупность ее отношений и взаимодействий в реальном мире, проекция этих параметров на жизненную позицию и поведение личности, т.е. ее социально-поведенческий контекст. Однако результаты анализа начисто отвергают представление о прецедентных текстах как некоем декоруме в организации и функционировании языковой личности. Как показывает проделанный опыт, прецедентные для данной языковой личности тексты сплетаются в довольно плотную сеть, "пропустив" через которую ее дискурс (т.е. некоторый, достаточно представительный массив порожденных самой ею текстов) мы получаем "в остатке" те проблемы, которые данная личность считает жизненно важными, самыми главными для себя как представителя человечества и над разрешением которых она бьется; мы получаем набор черт ее индивидуального характера, отраженный с помощью тех же прецедентных текстов; мы получаем, наконец, систему и чисто прагматических критериев и оценок, с которыми языковая личность подходит к жизненным ситуациям и коллизиям, а соответственно, и совокупность мотивов, определяющих ее позицию и образ действий. Если же мы распространим приемы анализа прецедентных текстов на художественное произведение в целом, то помимо перечисленного мы извлечем представление о конфликте в данной вещи, о приемах построения художественных образов и особенностях ее композиции, о путях ее воздействия на читателя. Иными словами, анализ прецедентных текстов может играть не только вспомогательную, побочную роль, но использоваться в качестве самостоятельного средства в изучении и характеристике персонажа как отдельной языковой личности и художественных особенностей всего произведения в целом.

Теперь самое время сделать несколько сдерживающе-ограничительных, самокритических замечаний, чтобы предупредить естественные вопросы и недоумения нашего читателя. Первый вопрос связан с правомерностью трактовки и соответственно изучения персонажа художественного произведения как языковой личности, ведь реальной языковой личностью является автор, а не его персонаж. Возражение справедливое и довольно основательное. Конечно, персонаж любого, даже очень большого по объему произведения всегда "дефектен" в языковом отношении, т.е. его дискурс не обладает полнотой с точки зрения представленности в нем всех языковых средств и закономерностей их употребления. Такая полнота достигается в совокупности произведений, и известным приближением к ней может служить творчество писателя в целом. А кроме того,

персонаж — это искусственное создание, это конструкция ума, языковой Пигмалион автора, и обособление его в качестве самостоятельного объекта изучения столь же искусственно, как его построение автором. Тогда естественной альтернативной персонажу в качестве полноценной языковой личности выдвигается сам автор. Однако в этом рассуждении упускается из виду одно обстоятельство. Когда мы концентрируем исследовательское внимание на авторе и занимаемся "языком писателя", мы получаем лишь классификационные результаты, итогом такого изучения оказывается своеобразный "гербарий", мертвый перечень языковых средств, лишенный широкой функциональной панорамы. В тех же случаях, когда включается функциональная перспектива, исследователь вынужден обращаться опять-таки к персонажу, к "языку" действующего лица. Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить довольно распространенный тип исследования "языка писателя" или языка отдельного произведения. В этом смысле не расширяет наших исследовательских возможностей и введение в качестве объекта "образа автора". Дефектность этих объектов как языковых личностей в другом: при достаточной полноте охвата языковых средств и возможностей их употребления писатель, автор анализируемых текстов как личность лишен в своей характеристике прагматической составляющей, он совершенно изолирован от социально-поведенческого контекста, в котором только личность и может полностью раскрываться. Как правило, мы ничего или довольно мало знаем об авторе как о человеке, как об индивидуальности, а то, что мы знаем, оказывается либо недостаточным, чтобы воспроизвести его социально-поведенческий контекст, соответствующий языковому, либо никак не связанным с последним. Изучение языковой личности — в соответствии с ее трехступенчатой структурой, состоящей из структурно-семантического (на нем-то и застывают исследования типа "язык писателя"), когнитивного и прагматического уровней, — требует обязательного рассмотрения ее языковых характеристик на фоне социально-поведенческого контекста, обязательного включения языкового поведения личности в ее социально-поведенческий контекст. Так, в данном случае мы не имеем возможности включить в такой контекст автора — Руслана Киреева, но вполне можем так поступить по отношению к его протагонисту Виктору Карманову. Однако было бы неправомерным поставить полноценный знак равенства между языковой личностью и персонажем художественного произведения: последний дефектен не только в языковом, но и в поведенческом отношении, и читатель — как при построении графика по данным эксперимента — всегда "достраивает" траекторию поведения, образа действий героя по заданным автором "точкам" — критическим ситуациям, характерным поступкам, отдельным сценам. Таким образом, персонаж, в силу условности словесного искусства, обладает неполной определенностью (или принципиальной схематичностью) двух родов — языковой и поведенческой. Но того и другого рода даже неполные сведения о нем как о личности взаимосогласованы в художественном произведении, и это дает исследователю основания

соотносить эти два ряда (т.е. дискурс и образ действий) друг с другом, подходя к персонажу как к модели языковой личности.

Практически языковая личность — это такой объект, который может быть исследован только на моделях. При попытке прямого изучения реальных лиц, конкретных индивидуальностей как языковых личностей мы сталкиваемся с двумя экстремальными случаями: либо мы обладаем исчерпывающей протокольной фиксацией произведенных этой личностью текстов, имея дело с творчеством писателя, например, либо, наблюдая за поведением конкретного человека, мы можем располагать достаточно полной картиной его действий, его поведения, его поступков на протяжении определенного отрезка времени, но лишены при этом необходимых данных о его речупотреблении. (Сравните с этим отсутствие в нашем языкознании удовлетворительного описания хотя бы одного идиолекта реального носителя языка). Соединить же эти два контекста при наблюдении за реальными объектами не удастся, а каждый из них в отдельности оказывается необходимым, но недостаточным для обобщения и типизации, для воссоздания структуры и закономерностей функционирования языковой личности. Методологически здесь прослеживается известная аналогия с традиционной задачей описания различных уровней и аспектов грамматического строя: для выявления устройства фонетического уровня достаточной оказывается 50-часовая запись звучащей речи, для описания морфологических правил и закономерностей объем исследуемых текстов должен быть существенно увеличен, а изучение синтаксической организации языка требует нового значительного расширения материала; при обращении же к семантике исследователю приходится оперировать материалом, покрывающим практически уже весь словарь и грамматику. Когда же объектом изучения становится языковая личность, то в действие вовлекается, помимо структурных характеристик языка, и его прагматический аспект, а это требует параллельного и взаимосвязанного описания речупотребления и условий его реализации, что поддается наблюдению на достаточно большом отрезке пространства и времени, охватывающем целый период жизни индивидуальности. Ясно, что такие массивы информации для их эффективной обработки могут быть только смоделированы.

ТЕКСТОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АССОЦИАТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

I

Текстовые преобразования — это различные способы введения в дискурс готовых текстов, известных и говорящему и слушающему и потому не требующих полного воспроизведения в процессе общения. Эти тексты, как правило, не приводятся целиком, в отличие от других — клишированных видов словесности, которые нуждаются в пересказе (анекдот, притча, загадка, афоризм), еще по двум причинам: во-первых, из-за достаточно большого их объема, сравнимого с объемом всего

дискурса личности¹, и во-вторых, по причине их "прецедентности", т.е. включенности в фонд обязательных знаний в данной национальной культуре и в силу этого — общезвестности, знакомости каждому носителю данного языка. В структуре языковой личности образы прецедентных текстов занимают особое место, выполняя роль типовых, стандартных средств (знаков, символов, "ярлыков" и т.п.) для оценки определенных фактов, отношений и ситуаций. Любая оценка или самооценка есть модальная реакция и как таковая относится к прагматическому уровню речи как деятельности или прагматическому уровню в организации самой языковой личности. В связи с этим — несколько слов о структуре последней.

Структуру языковой личности можно рассматривать — в лингводидактических и теоретико-лингвистических целях — как складывающуюся из трех уровней. Уровни эти таковы:

— вербально-семантический, или лексикон личности; лексикон, понимаемый в широком смысле, включает, по нашим представлениям, и фонд грамматических знаний личности;

— лингво-когнитивный, представленный тезаурусом личности, в котором запечатлен "образ мира", или система знаний о мире;

— мотивационный, или уровень деятельностно-коммуникативных потребностей, отражающий прагматикон личности, т.е. систему ее целей, мотивов, установок и интенциональностей.

Итак, в структуре языковой личности различаются лексикон, тезаурус и прагматикон. Теоретически такое деление выглядит вполне убедительно: каждый уровень характеризуется своим набором единиц и отношений между ними, уровни противоплагаются один другому и определенным образом взаимодействуют в процессах речевой деятельности индивида. Однако на практике, при исследовании конкретных, индивидуальных лексикона, тезауруса и прагматикона взаимодействие этих уровней оказывается настолько сильным, что границы между ними размываются, теряют ту четкость, которая присуща им в теоретических построениях. Разберем их отношения в связи с осмыслением и интерпретацией результатов психолингвистического эксперимента.

II

В ассоциативных экспериментах мы исследуем, как принято считать, индивидуальный лексикон. Он выступает как интраиндивидуальный, если в серии опытов испытуемым является одна и та же личность, или как интериндивидуальный, когда ассоциативный эксперимент носит массовый характер (как, например, при построении ассоциативных словарей). В результате такого рода исследований мы

¹ Под дискурсом личности в данном случае я понимаю весь процесс говорения и зафиксированный за относительно длительный отрезок времени результат этого процесса. В качестве образца такого дискурса можно иметь в виду, например, всю совокупность реплик какого-то действующего лица пьесы или же совокупность произведенных во внешней и внутренней речи высказываний одного персонажа прозаического художественного произведения.

строим вербальную, ассоциативно-семантическую сеть, которая и структурно, и по составу должна репрезентировать именно лексикон, т.е. отражать самый первый, низший уровень организации языковой личности — лексико-семантические и грамматические связи единиц. Однако при попытках интерпретировать полученную в результате ассоциативных экспериментов вербально-семантическую сеть, т.е. проанализировать ее состав и связи единиц, мы обнаруживаем в ней причудливое переплетение собственно языковых, содержательно-строительных элементов (лексико-семантических, лексико-грамматических данных) одновременно и со знаниями о мире, и с единицами высшего уровня — прагматикона личности. Так, рассмотрение в ассоциативном словаре отдельного поля, которое представляет собой фрагмент вербально-семантической сети (или интериндивидуального лексикона), показывает, что связи между стимулом и реакциями на него квалифицируются по четырем разделам: семантические, грамматические, тематико-ситуативные (т.е. отражающие тезаурусные отношения, или знания о мире) и оценочно-прагматические. Проиллюстрируем это положение материалом статьи "лес" из ассоциативного словаря⁹. Семантические реакции представлены здесь синонимическими, антонимическими, гиперонимическими и др. отношениями (бор, чаща, дубрава, луг, тундра, ель, дуб, деревья...). Грамматические связи являются доминирующими в реакциях, формирующих словосочетания, "модель двух слов": лес — дремучий, лес — вырублен, лес — шумел и т.п. Я говорю о доминировании здесь именно грамматических отношений, имея в виду, что в такого рода реакциях как минимум представлено еще одно, может быть менее ярко выраженное, отношение — чаще всего семантическое, но оно может быть также тезаурусным либо прагматическим. Собственно тезаурусные реакции распадаются на три группы: тематические (ягода, грибы, болото, тропинка, поляна...), образно-ситуативные, представляющие собой вербализацию индивидуальных зрительных, слуховых или иных образов (река, отдых, палатка, тишина, прогулка), и клишированные элементы знаний о мире, оформленные в виде генерализованных высказываний (лес — наше богатство, лес рубят — щепки летят, берегите лес). Наконец, реакции, которые могут быть отнесены к прагматикону, характеризуются либо лексически выраженной эмоционально-оценочной составляющей (прохладно и ягоды, замечательно, люблю, прелесть, страшно, отдыхать хорошо...), либо эта оценочность оказывается скрытой (именно скрытой, поскольку подчас требует расширения) за обращением испытуемых к прецедентным текстам:

лес — венский (аллюзия на название известного вальса "Сказки венского леса");

лес — русский (название романа Л. Леонова);

лес — Островского;

лес — "У лукоморья дуб зеленый" (начальная строчка из поэмы Пушкина);

⁹Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Изд. МГУ, 1977. С. 113.

лес — дол (скрытая цитата из того же вступления к поэме "... там лес и дол видений полны...");

лес — Шишкин (имеется в виду, очевидно, "главный герой" большинства полотен художника).

Помимо обязательного эмоционально-оценочного момента, который присущ всякому обращению к прецедентным текстам и использованию их в дискурсе говорящей личностью, такое обращение всегда есть показатель проявления творчества потенциала личности. Это утверждение требует, очевидно, пояснения, поскольку клишированная, шаблонная форма отсылки к прецедентным текстам и введения их в дискурс кажется несовместимой с представлением о творчестве.

III

Когда говорят о творческом отношении к языку, о творческом начале в использовании языка человеком, о речевой деятельности как творчестве и человеке—творце языка, то имеют в виду прежде всего способность человека каждый раз заново порождать завершённое оригинальное высказывание из стандартных строевых элементов. Наиболее выразительной иллюстрацией языкотворчества является обычно создание новых слов (например, "словозвучие"), новых сочетаний и переносов значений (например, "в их глазах горела люта я справедливость"), обогащение значения привнесением в него элементов субъективного смысла. Сюда же, к средствам творческого развития языка, относят иногда речевые ошибки, оговорки, окказионализмы. Однако все эти явления, будучи, безусловно, показателями творчества (сознательного или бессознательного) индивида в языке, относятся к самому низшему уровню функционирования языка — обыденному, повседневному его использованию, представляют собой то, что можно квалифицировать как лексико-семантические и лексико-грамматические преобразования, и вовсе не исчерпывают всех возможностей творческого подхода к языку. Ведь язык является важнейшим средством познания, и оперируя элементами "образа мира", элементами знаний с помощью языка, человек осуществляет когнитивные преобразования в процессах отражения сознанием объективной реальности и взаимодействия этого субъективного отражения с миром-объектом его деятельности. Когнитивные преобразования представляют другой богатейший источник языкотворчества. Но начинать рассмотрение языка как творческой деятельности личности следует, вероятно, с прагматического уровня, имея в виду, что каждый человек для выражения даже простейших личностных (хотя и социально детерминированных, но индивидуально переживаемых) интенциональностей, таких, как, скажем, досада, возмущение, подобострастие, удивление, всегда находит собственные, неординарные средства и способы. Потому человек и выступает как творец языка практически в каждый момент построения высказываний, которые не могут не содержать модального, интенционального компонента, а последний как раз и является предпосылкой творчества.

Таким образом, говорить о речевой деятельности человека как

о творчестве и о языке как источнике и продукте творчества, надо, имея в виду все осуществляемые говорящим (да и слушающим тоже — в активном процессе понимания) виды преобразований, — лексико-семантико-грамматические, когнитивные и интенциональные, относящиеся соответственно к трем уровням организации языковой личности. Рассматриваемые здесь текстовые преобразования, естественно, составляют часть последних, т.е. интенциональных.

Введение в дискурс прецедентных текстов обладает еще одной характеристикой творческой акции: оно всегда означает выход за рамки обыденности, повседневности, ординарности в использовании языка. В самом деле, составляясь из слов обыденного языка и подчиняясь грамматическим правилам их сочетаемости, отсылка к прецедентным текстам ориентирована не на обычную коммуникацию, не на сообщение какой-то информации в первую очередь, но имеет прежде всего прагматическую направленность, выявляя глубинные свойства языковой личности, обусловленные либо доминирующими целями, мотивами, установками, либо ситуативными интенциональностями.

IV

В том или ином виде прецедентными текстами данной культуры оперирует каждый носитель языка, хотя размах их использования колеблется в очень широких пределах. Одно дело писатель, литературовед, специалист-филолог, для которых обращение к таким текстам составляет, помимо всего прочего, еще и область их профессиональных интересов, и другое дело, скажем, первокурсник-биолог, который хотя и приобрел хрестоматийный объем знаний в средней школе, но фактически еще не полностью сформировался как языковая личность. Тем не менее, текстовые преобразования оказываются обязательной принадлежностью любого дискурса, и образы прецедентных текстов входят тем самым в прагматикон каждой языковой личности. Об этом, в частности, может свидетельствовать следующее наблюдение. Из 400 проанализированных анкет психолингвистического эксперимента по составлению ассоциативного тезауруса русского языка¹⁰ было выделено немногим менее 200 случаев, которые можно квалифицировать как использование испытуемым прецедентных текстов. Если исходить из того, что каждая анкета содержит 100 пар стимул—реакция, то общий процент таких случаев среди всех реакций окажется невелик (<0,5%), т.е. в среднем одно текстовое преобразование приходится на две анкеты. Но при этом надо учитывать, что анкета ассоциативного эксперимента — это далеко не дискурс, и хотя в ней встречаются относящиеся к прагматикону модальные реакции (ср. выше на стимул "лес" реакции типа прелесть, страшно, отдыхать хорошо и т.п.), преобладающими все же остаются реакции диктальные, т.е. по нашей классифи-

¹⁰ Такая работа проводится сейчас в Институте русского языка и Институте языкознания АН СССР.

кации — семантические, грамматические или тематико-ситуативные. Естественно, что дискурс открывает больше возможностей для модальных реакций, чем ассоциативная анкета. Поэтому указанные цифры, несмотря на их небольшое значение в абсолютном измерении, представляются относительно существенными, тем более, что они отражают только часть всех модальных ассоциативных реакций, а именно, связанных с обращением к прецедентным текстам.

Что касается способов такого обращения, или разновидностей собственно текстовых преобразований, то они и на ассоциативно-экспериментальном материале исчерпываются 4-мя описанными ранее на материале дискурса вариантами: название произведения, имя автора, имя героя, цитата. Экспериментальные данные оказываются беднее дискурса, поскольку не позволяют устанавливать мотивационные истоки использования прецедентных текстов личностью, но в другом отношении они предоставляют исследователю дополнительные возможности, обнажая сам механизм текстового преобразования при актуализации образа прецедентного текста. Разберем эти случаи в соответствии с указанными вариантами.

V

В рассматриваемых ниже примерах слева дан стимул анкеты, справа приводится реакция испытуемого.

1. Название произведения:

три — сестры	дядя — Ваня
доктор — Фаустус	лампа — Аладина
слово — о полку Игореве	женщина — в белом
тихий — Дон	отцы — и дети
белый — пароход	мастер — и Маргарита
белый — Бим	последний — из могикиан
человек — амфибия	длинный — чулок
скупой — рыцарь	встреча — на Эльбе
сердце — Бонивура	ну — погоди!
король — Лир	кино — Чучело

Как видим, при апелляции к названию произведения исключительно активным оказывается механизм "модели двух слов", даже если название и не укладывается в бинарную структуру, как в случаях: Белый Бим (черное ухо) и Пеппи (длинный чулок). В этой разновидности текстового преобразования встретился лишь один пример, не укладывающийся как будто в "модель двух слов": он стоит в списке последним. Здесь сделан переход от родового обозначения искусства к индивидуальному названию, что в принципе является разновидностью довольно распространенного семантического отношения типа род — вид или множество — элемент множества. Но этот пример не исключает одновременно и возможности объяснения его по модели двух слов.

2. Имя автора:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. ель — Ахмадуллиной | 3. период — Фурье |
| 2. быть — Шекспир | 4. а) картина — Тициан |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| б) картина — Рембрандт | 12. по — Эдгар |
| в) картина — Васнецова | 13. дядя — Пушкин |
| 5. бедный — Демьян | 14. о деревнях — Овечкин |
| 6. горький — великий писатель | 15. бедствовать — Достоевский |
| 7. выстрел — Чехов | 16. о трудах — Маркса |
| 8. воскресенье — Толстой | 17. книжка — Бестужев |
| 9. метель — Пушкин | 18. литература — Хемингуэй |
| 10. мать — Горького | 19. о песнях — Марк Минков |
| 11. носам — Гоголь | |

Ввиду разнообразия моделей в этой разновидности текстового преобразования — для его комментирования — случайным образом сведенным в один список реакциям разных испытуемых присвоены порядковые номера. Самый простой и распространенный ассоциативный ход — от стимула, воспринимаемого как название произведения, к имени автора (1, 8, 9, 10, 11), причем грамматическое согласование, как в 1 и 10 оказывается вовсе не обязательным. Если же оно имеет место, то тем самым предельно конкретизирует обозначение, переводя его в разряд "модели двух слов" и придавая объекту сугубо индивидуальный характер. Другой, как выясняется, не менее распространенный для этого способа обращения к прецедентным текстам путь — от родового обозначения искусства (например, литература) или произведения (например, картина, книжка) — к его индивидуализации, к имени автора (4а, б, в, 16, 17, 18, 19); роль грамматического согласования (4в, 16) здесь та же, что в предыдущем случае. Более сложную семантическую модель текстового преобразования представляют собой реакции 3, 7, 14 и 15, модель, которую в целом можно квалифицировать как осуществляющую ассоциативную связь между характерным понятием, ключевой темой, типичным образом, т.е. единицами тезауруса, элементами "картины мира", знаний соответствующей личности, и именем этой личности. Так, реакция 3 допускает двойную интерпретацию: 1) если имеется в виду социалист-утопист Ш. Фурье, то понятие периода в его учении связано с ростом индустриальной мощи человечества и выделением в его истории "периодов" эденизма, дикости, патриархата, варварства и цивилизации; 2) если же испытуемый имел в виду математика Ж. Фурье, то известные "ряды Фурье" представляют собой способ разложения почти-периодических функций, так что связь понятия "периода" с именем Фурье и в этом случае представляется обоснованной. Реакция 7 тоже имеет неоднозначную интерпретацию: ведь во всех пьесах Чехова идея "выстрела" играет существенную роль и реализуется, как правило, за сценой. Более облегченными способами интерпретации данной связи были бы либо синонимизация этого понятия с названием повести "Дуэль", либо предположение о "незнании", об ошибке испытуемого, приписавшего пушкинское произведение с таким заглавием Чехову. Что касается реакции 15, то она кажется довольно прозрачной, обусловленной прямой связью и с повестью "Бедные люди", и с осмыслением судьбы маленького человека в творчестве Достоевского.

Две реакции — 2 и 13 — можно расценить как модель "от цитаты —

к имени автора", хотя "цитата" в обоих случаях дана лишь намском *быть* (иль не быть) и (мой) *дядя* (самых честных правил). Наконец, три оставшихся реакции — 5, 12 и 6 вписываются в общую "модель двух слов", в которой первым, т.е. стимулом, выступает слово, воспринятое как фамилия автора, а реакцией на него является имя того же лица — Демьян, Эдгар и могло бы быть Максим, но испытываемым вместо этого дана просто квалификационная оценка.

3. Имя героя:

1. товарищами — Васек Трубачев
2. прекрасный — Елена
3. личность — Петра I
4. кино — Челентано
5. носов — Незнайка
6. повеса — Онегин
7. кандалы — тюрьма и Жюльен Сорель

Этот способ текстовых преобразований, несмотря на количественную незначительность, тоже характеризуется известным разнообразием ассоциативных связей между стимулом и реакцией. Здесь представлен прежде всего переход от родового обозначения феномена, понятия, характеристики к его конкретному воплощению, т.е. дана индивидуализация некоторого стандарта, или типового представления, по принципу "от тезауруса к прагматикону": в частности, в реакциях 2, 3, 6. С правомерностью последней (6) индивидуализации можно соглашаться или не соглашаться, но характер ассоциативной связи от этого не меняется. Другие модели иллюстрируются единичными реакциями: как перифраз заглавия, или "от заглавия к герою" интерпретируется реакция 1; "от имени автора к имени героя" — реакция 5; как развитие образа ситуации и его индивидуализация — реакция 7; наконец, связь в четвертой паре "кино — Челентано", при большом соблазне считать ее проявлением субъективного смысла испытываемого, может быть интерпретирована также по аналогии с реакциями типа "книжка — Бестужев", т.е. как переход от родового обозначения искусства к имени.

4. Цитата:

- утро — туманное (начало романа)
о песне — "Вставай страна огромная"
быть — или не быть
крыша — дома моего (из песни)
это — мы не проходили (из песни)

Этот способ текстопреобразования в проанализированном материале оказался небольшим по объему и довольно однородным по составу: как видим, здесь преобладают отсылки к одному из самых массовых видов искусства — к песне, что обусловлено контингентом испытуемых — ими являются студенты 3—4 курсов (в возрасте 21—23 лет) разных специальностей. Механизм ассоциирования тоже довольно однообразный — это "модель двух слов", за исключением второго примера, где связь между стимулом и реакцией квалифицируется как "индивидуализация типового представления", на этот раз с помощью цитаты.

Рассмотрев способы текстовых преобразований, представленных в индивидуальной ассоциативно-семантической сети в виде стандартных единиц, отражающих образы прецедентных текстов, мы можем сделать предварительные выводы. Текстовые преобразования представляют собой разновидность модальных реакций и могут быть отнесены к проявлениям творческого начала в использовании языка индивидуумом. Ассоциативные механизмы текстовых преобразований выявляют повышенную ассоциативную энергию ономастикона, т.е. имен — авторов ли, персонажей ли, которые отличаются наибольшим богатством моделей связи. Если теперь взглянуть на разобранные выше ассоциации не от стимулов, а от реакций, то следует констатировать, что к имени автора, например, можно прийти и от цитаты (быть — Шекспир), и от заглавия (метель — Пушкин), и от элементов картины мира или знаний о мире (период — Фурье) и, наконец, от компонента самого имени (бедный — Демьян). Эта активность ономастикона объясняется его социально-прагматической ценностью, поскольку он очерчивает референтную (и антиреферентную) группу всякой языковой личности. Подобный ономастикон, составленный на материале полного ассоциативного словаря (число анкет для этого должно быть увеличено втрое), так же как и извлеченный из последнего перечень названий произведений и ходовых цитат, поможет воссоздать набор прецедентных текстов, характеризующих интериндивидуальный прагматикон русской языковой личности.

СПОСОБ АРГУМЕНТАЦИИ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Argumenta, non argumentatio

Как ясно из предыдущего, языковой личностью можно называть совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определенной целевой направленностью (см. схему 1). Аргументация диалогична по форме¹¹, она разворачивается в тексте, у которого может быть не один, а два или более авторов (диалог или полилог), и все три намеренных выше уровня рассмотрения текста — а) собственно языковой, б) отражательно-когнитивный, в) целевой — могут быть источниками, "поставщиками" аргументации.

Включая в себя целевой момент, т.е. момент индивидуально-субъективный, аргументация всегда адресована — адресована определенной личности или группе людей. В этом отношении ее можно противопоставить доказательству¹², которое бывает безадресным, универсально приложимым к любому кругу оппонентов и универсально

¹¹ Брутян Г.А. Аргументация. Ереван, 1984. С. 26.

¹² Там же. С. 8—10.

используемым любым кругом проponentов. Доказательство является конечным, поскольку исходит из принципа формальной логики *salva veritate* ("истина неуничтожима") и направлено к обоснованию объективной, логической истины. Аргументация потенциально бесконечна, поскольку исходит из принципа предпочтительности преференциальной логики, довольствуется промежуточными результатами (согласием оппонента или отказом от продолжения спора, т.е. в любой момент может быть возобновлена), и движущей силой ее является субъективный (индивидуальный ли, групповой ли) мотив и интерес. Иными словами, аргументация всегда заинтересованна, доказательство же — бескорыстно.

После предварительных рассуждений, характеризующих понимание автором этих строк того, что такое аргументация, представляется соблазнительным сделать следующий шаг и ввести используемое иногда философами противопоставление истины объективной, логической, не зависящей от целей, мотивов и заинтересованности человека, и так называемой "истины выживания", целиком определяемой человеческой заинтересованностью¹³. И тогда, казалось бы, "доказательство" можно соотнести с первой истиной, а аргументацию — со второй. Доказательством завершаются бескорыстные, незаинтересованные поиски "конечной" истины, а аргументация оправдывает определенный человеческий интерес и подбирается на случай. Но такой шаг и такой жесткий схематизм были бы неверны по следующим соображениям. Во-первых, всякое доказательство строится на аргументации, складывается из последовательного развертывания аргументации, и последняя выступает как средство доказательства. Во-вторых, система бескорыстной аргументации в пользу объективной истины и ее доказательство зачастую вынуждены рядиться в одежды "заинтересованной" аргументации, как бы прикрываться субъективными мотивами и целями, пряча объективную истину за фасадом "истины выживания". Так, Архимед, прикрывая своим телом чертежи на песке от подбегавшего воина, защищал объективную истину, тогда как отрекшегося Галилея, как могло бы показаться, заботила лишь "истина выживания". Поэтому в каждом конкретном случае целесообразно различать *argumentatio ad veritatem*, с одной стороны, и *argumentatio ad hominem*, с другой.

Рассмотрим следующий пример из романа Д. Гранина "Картина". В тексте, предшествующем приводимому отрывку, речь идет о подготовке в г. Лыкове — во время отсутствия председателя горисполкома Лосева — к уничтожению с помощью военных саперов старин-

¹³Ср., например: *Steiner G. Has Truth a Future? // The Bronowski Memorial Lecture. L., 1978.* Этому противопоставлению можно дать и лингвистическую интерпретацию, введя временной параметр и обозначив "истину выживания" как синхроническую, как "истину-сейчас" или "истину момента", а объективно-логическую — как истину диахроническую или "истину-всегда". Строго говоря, зная марксистское положение об относительности и конкретности всякой истины, ни проводимое Г. Стайнером различие, ни его лингвистическую интерпретацию нельзя признать истинными, и поэтому прием развития автором этих строк указанных идей надо воспринимать как *reductio ad absurdum*.

ного дома, изображенного на картине художника Астахова. Вернувшийся в город председатель звонит в областной центр, начальнику отдела облисполкома, чтобы остановить варварский акт.

«Но Лосев никакого внимания не обратил на предостережение "Его предусмотрительности", плечом чуть дернул, отмахнулся, заговорил властно, так же, как говорил с Морщиным, единственное, что удалось, это вставить слово "помочь": "Необходимо помочь отменить [0]₁ приезд взрывников", и то невыразительно, словно телефограмму диктовал.

— Чье распоряжение? [А]₂ Да, мое, мое... [1]₃ — Не будем мы делать такие вещи втихаря, [0]₄ обманывать людей... словно тать в ночи... Тем более... Вот я и говорю: тем более что есть заявления и телеграммы [2.1]₅.

На это Пашков отвечал жестко:

— Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками [Б]₆ согласовано было. Наше дело пособить. Ты там сам у себя, я вижу, разобраться не можешь [Б.2]₇.

— Я разберусь, [1]₈ — пообещал Лосев. — За мной не залежится. А пока что давай отбой. [0]₉ Чтобы зря людей [0.1]₁₀ не гонять.

— Не понял.

— Что ты не понял?

— Ты что, откладывашь? На сколько? [В]₁₁

— Это я сам решу [1]₁₂.

— Ишь, ты какой удельный князь. Тебе, по-моему, ясно было у Уварова сказано [Г]₁₃.

— Уваров на месте?

— Нет, уехал, будет завтра.

— Так вот, я с Уваровым сам [1]₁₄ договорюсь. — Лосев посмотрел на Морщина и сказал четко: — Вы же, Петр Георгиевич, запомните, вы не Уваров [Г.3]₁₅, разница есть между вами, и от его имени глупости вытворять не следует [Г.4]₁₆

— Да ты что!... — рявкнул Пашков. — Ты что крутишь-вертишь. Ты думаешь, неизвестно, что ты с Грищенко хитрил-мудрил? Известно. Тоже соображаем. Ты мне лапшу не вешай! Хочешь взвалить все на чифа? Силой, мол, заставили. Целочкой остаться? Не выйдет!... [Г.4]₁₇

— Па-а-прашу не лезть не в свое дело! С каких это пор вы хозяйничаете над городом. Вы кто такой? [1]₁₈ Всё отменяется [0]₁₉. Ясно?

— Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь! [Е]₂₀ Сами, сами отсылайте [Ж]₂₁ их назад! Сами! Раз вы такой большой хозяин!

— Вот что, Пашков, — сказал Лосев тихо, совершенно непреклонным голосом, — каким ему не положено было говорить с областью, тем более с Пашковым, — выполняйте [0]₂₂ и через час доложите мне.

В кабинете все замерли, выпрямились, не веря своим ушам, начиная понимать, что за этим стоит что-то необычное. И в трубке длилось молчание, которое все слышали.

— Ясно, — наконец сказал Пашков. — Ну что ж, вам отвечать [И]₂₃ А что ж сказать воснным? [И.А.]₂₄

— Можете сослаться на мое распоряжение [1]₂₅.

— Ладно... [0]₂₆ Если успею, [К 5]₂₇ — добавил он с приглушенной угрозой.

— Успеете. [0]₂₈ Все. — Лосев положил трубку. Ему хотелось прикрыть глаза, побыть одному, в тишине" (с. 274—275).

Отрывок представляет собой законченный спор сторон, в итоге которого одна из них вынуждена принять установку другой, Пашков соглашается с Лосевым. Если вычертить траекторию аргументирования Лосевым своей позиции, своего исходного тезиса (см. ниже), то мы увидим, что она оказывается предельно упрощенной, а аргументы максимально обедненными: "отменить, — потому что Я". Весь фокус в том, кто такой "Я" и "кто кому начальник". Надо сказать, что всякая аргументация складывается из знаний о мире, базируется на сообщении оппоненту новых сведений, новой для него информации. В тексте Лосева — в его синтаксических конструкциях, в использованной им лексике — такой новой для Пашкова информации как будто нет. Тем не менее она ему сообщена, и способ ее передачи — не содержательные, а чисто формальные языковые средства: нарушение стандартного этикета общения подчиненного (каковым считает Лосева Пашков) с начальником (которым Пашков считает себя). Это нарушение, сигнализирующее о "перевертывании" ситуации, о мене местами "верха" и "низа", начальника и подчиненного, обнаруживается, становится очевидным — и для Пашкова, и для слушателей, присутствующих при телефонном разговоре в кабинете Лосева, — во фрагменте 22.

Изобразим логическую траекторию аргументации в виде "лесенки", где содержание основных аргументов обозначено цифрами (дискурс Лосева) и буквами (дискурс Пашкова) внутри квадратных скобок, а последовательность аргументов — числовым индексом возле скобки; дополнительные аргументы обозначены цифрой после точки внутри скобок. Причем содержание аргументов, как видно из кратких подписей под квадратными скобками, не выводится прямым образом из семантики соответствующих выражений, а определяется знаниями о мире, которыми обладают оппоненты (и которые читатель почерпнул из предыдущего контекста) — см. ниже, 250.

Прокомментируем ступени аргументации обеих сторон.

I [0] — исходный тезис Лосева: отменить приказ об уничтожении дома, отменить приезд взрывников;

II [А] — недоумение Пашкова: кто может приказать, какой начальник, чье распоряжение? На что следует главный аргумент Лосева [1] — я, сам, мое;

[2.1]; — в качестве дополнительных аргументов Лосевым используются ссылки на людей, которые не знают о таком решении и будут им недовольны, которые выражают свое отношение телеграммами и заявлениями;

III [Б] — как бы не слыша аргумента [1], не включая его в свою систему знаний о мире, а исходя из того, что Лосев является начальником своих работников, своих людей, Пашков отвечает именно на дополнительную аргументацию Лосева, а по поводу основного его аргумента [1] замечает как

бы вскользь и попутно [Б.2] — "начальник-то ты начальник над своими людьми, а разобраться с ними не можешь". Далее на ступени III следует повторение Лосевым своего основного аргумента [1], перифраз исходного тезиса [0] и дополнительная ссылка, опять-таки базирующаяся на учете интересов людей, на заботе о людях (теперь саперах), которые проделают большой путь напрасно, поскольку приказ-то все равно должен быть отменен [0.1].

- IV — В споре намечается перелом, поскольку Пашков почувствовал неадекватность своей "картины мира", своего понимания расстановки сил из-за настойчивого, трехкратного повторения Лосевым и тезиса [0], и тезиса [1].
- V [Г]
[1] — Отменить мой приказ может только Уваров, на что следует ("я настаиваю") Лосева, поскольку [Г.3] "Пашков это не Уваров" и [Г.4] "нельзя прикрываться начальством".
- VI — На шестой ступени аргумент Лосева [Г.4] обращается Пашковым против Лосева же, на что следует стандартный ответ [1] — "я настаиваю" и [0] — "отменить".
- VII — Эта ступень знаменует кульминацию спора, поскольку на самый крайний аргумент Пашкова [Е] — "я ведь выше тебя по положению" следует лосевское [0] — "все равно отменить".
- VIII [И] — признание Пашковым истинности новой для него информации о том, что Лосев выше его по положению, поскольку имеет право ему приказывать, а значит витавший в воздухе вопрос о назначении Лосева заместителем Уварова, вероятно, уже решен. Но остается сомнение, которое формулируется в [И.А.] — "на кого же сослаться, кто приказал, кто же начальник?", т.е. повторяется аргумент [А]. И опять стандартный ответ Лосева [1].
- IX — Следует согласие Пашкова с исходным тезисом новременно высказывается и сомнение [К.5], которое снимает Лосев окончательным подтверждением своего исходного тезиса.

Лингвистический комментарий к логической траектории аргументации в рассматриваемом отрывке обнаруживает, во-первых, разнообразие языковых средств, с помощью которых не прямо, а косвенно сообщаются новые знания о мире, а во-вторых, позволяют показать, как характеризует языковую личность использование этих средств. Прежде всего обращают на себя внимание широкие возможности языкового варьирования исходного тезиса: [0]₁ — (надо) отменить, [0]₉ — давай отбой, [0]₁₉ — все отменяется, [0]₂₂ — выполняйте, [0]₂₆ — ладно, [0]₂₈ — успеете. Столь же разнообразны вариации основного аргумента Лосева: [1]₃ — мое (распоряжение); [1]₈ — я (разберусь); [1]₁₂ — я сам (решу); [1]₁₄ — я сам (с Уваровым договорюсь); [1]₁₈ — вы кто такой; [1]₂₅ — мое (распоряжение). Интересно, что статистический анализ дискурса Лосева, т.е. всех принадлежащих ему текстов, произнесенных им в романе вслух или мысленно, показывает резкое превышение (на порядок) частотности местоимений *я* и *сам* — и в абсолютных

	Пашков			Лосев
I				[O] ₁ отменить
II	{A} ₂ какой начальник приказал?			[I] ₃ я + [O] ₄ отменить + [2.1.] ₅
III	{B} ₆ ты началь- ник у себя	+ [Б.2] ₇		[I] ₈ я + [O] ₉ отменить + [0.1] ₁₀
IV	{B} ₁₁ ты начальник на своем уровне			[I] ₁₂ я
V	{Г} ₁₃ начальник-то Уваров			[I] ₁₄ я + [Г.3] ₁₅ но ты не Уваров + [Г.4] ₁₆ нельзя при- крываться начальством
VI	{Г.4} ₁₇ это ты прикры- ваешься начальством			[I] ₁₈ Я (хозяин, а не ты) + [O] ₁₉ отменить
VII	{E} ₂₀ я выше тебя	+ {Ж} ₂₁ а ты не подчиня- ешься		[O] ₂₂ отменить
VIII	{И} ₂₃ ты (кажется, действительно) выше	+ {И.А.} ₂₄ так ли это?		[I] ₂₅ я
IX	{O} ₂₆ (согласен) отменить	+ {K.S} ₂₇ или нет?		[O] ₂₈ отменить

величинах по сравнению с такими же показателями других персонажей, и в относительных величинах по сравнению с данными частотных словарей. Эта характеристика, безусловно, показательна для него как языковой личности как в силу занимаемого им должностного положения, так и в силу его индивидуальных качеств.

Проследившая далее лингвистическое оформление логической траектории аргументации, отметим следующие четыре особенности трансформации отдельных признаков анализируемого текста: изменение стилевой окраски лексического состава реплик; движение общего интонационного контура; перемена обращения собеседников друг к другу с "ты" на "вы"; изменение модальности в формулировках исходного тезиса.

Начало и середина разговора отличаются смешением разностилевой лексики, употреблением в репликах обоих собеседников слов просторечно-сниженного плана (*втихаря, за мной не залежится* — Л., *лапшу не вешай, целочкой остаться* — П.) рядом с иронически использованными высокими (*словно тать в нощи* — Л., *удельный князь* — П.), а также разговорных выражений (*не прикидывайся* — П., *глупости вытворять* — Л.) и профессионально-жаргонных (*согласовано было, взвалить все на чифа* — П.), наряду с нейтральными. Переход в обращении с "ты" на "вы", который первым (уже на V ступени) делает Лосев, оказывается тем водоразделом, за ко-

торым употребляется только нейтральная лексика (для Пашкова — после VI ступени). Шестая ступень знаменует собой и самую высокую точку интонационного накала. В авторском тексте можно найти лексические указатели уровня интонации на каждой ступени. Если первая ступень — нулевая точка отсчета — характеризуется интонацией, качество которой отражено в словах *"невыразительно, словно телефонограмму диктовал"*, то на второй ступени некоторый ее подъем можно видеть в том, что Лосев, очевидно, перебивает Пашкова, утверждая свое, а значит, повышая тон (...*Тем более... Вот я и говорю: тем более что есть заявления и телеграммы*). Следующая ступень подъема интонации отмечена авторской ремаркой *На это Пашков ответил жестко*. То, что Лосев принимает этот уровень интонации (III ступень), можно видеть из его коротких, рубленых синтаксических конструкций и грубовато-просторечных слов (*не залежится, давай отбой, зря не гонять*). На следующей ступени делается новый шаг, что ощущается и в вопросе Пашкова, и в ответе на него Лосева. На V ступени инициатором нового повышения интонации становится уже Лосев, который как бы на едином дыхании констатирует свои отношения с Уваровым и одновременно ставит на место Пашкова (вы не Уваров), чем вызывает скачок уровня интонации в реплике партнера до максимума, до крика: *...рвкнул Пашков*. Этот уровень поддерживается и в реплике Лосева (VI ступень) и в ответной реакции Пашкова (VII ступень), что отражается в соответствующих знаках, а также в словах *вы на меня не кричите*. Тем контрастнее и внушительнее оказывается резкое снижение тона Лосевым (...*сказал Лосев тихо, совершенно непреклонным голосом*) и возвращение интонации на уровень III или даже II ступени, на которой она теперь и сохраняется до конца разговора.

Градации в модальности утверждения Лосевым исходного тезиса прослеживаются довольно четко и последовательно, причем поразительно разнообразной оказывается гамма интонационно-лексикограмматических средств для передачи тонких оттенков в нарастании категоричности утверждения: 1) *необходимо помочь отменить* → 2) *не будем мы делать такие вещи втихаря* → 3) *давай отбой* → 4) *все отменяется* → 5) *выполняйте* → 6) *успеете*. В первой фразе, где модальность долженствования выражена лексически, она смягчена инфинитивом *помочь*, а вся конструкция безадресна, безлична. Во второй формулировке та же модальность передана более определенно, уже без смягчения, обобщенно-личной формой глагола будущего времени. Далее, как бы следуя за ростом интонационной кривой всего текста, формулировка (3) приобретает личный, императивный характер, который еще пока сдерживается, скрывается метафорическим способом выражения. На следующем шаге достигается максимальная категоричность (4) за счет констатирующей глагольной формы настоящего времени 3-го лица единственного числа и абсолютного местоименного квантора "всё", но эта категоричность пока безадресна. Наконец, пик модальности долженствования приходится на форму императива (5), и достигнутый уровень категоричности сохраняется в (6).

Итак, логическое содержание аргументации Лосева в споре с Пашковым оказывается очень бедным, поскольку используется по сути дела всего один аргумент — *"я начальник, я имею право решать и имею право тебе приказывать"*. Разнообразие же языковых средств при этом наводит на мысль о существовании обратно пропорциональной зависимости между логическим богатством и разнообразием и его языковым оформлением. Вспомним хотя бы языковую бедность и однообразие формулировок в математических доказательствах, которые отличаются как раз многообразием и нестандартностью логических ходов.

Иными словами, чем меньше знаний о мире, которые составляют, как было сказано, плоть аргументации, используется в ее логической траектории, тем богаче — для достижения результата — должны быть языковые средства оформления такой аргументации, и наоборот. Происходит как бы семантико-грамматическая компенсация логической (или познавательной) бедности аргументации.

И основной аргумент Лосева, и дополнительно используемые им доводы (см. логическую траекторию) направлены "к человеку", рассчитаны на воздействие на партнера, хотя защищает, отстаивает при этом Лосев объективно-логическую истину, а не сиюминутную "истину выживания". Объективная истина заключается примерно в следующем: "Красота, запечатленная в картине Астахова, должна быть сохранена в реальности, в натуре, как кусочек истории маленького среднерусского города, — в воспитательно-эстетических, воспитательно-патриотических целях". Но утверждает эту истину Лосев, опираясь на аргументы "истины выживания": *я начальник, а не ты, поэтому я приказываю*. Дело в том, что защищаемая им истина представляет собой ценность, ценность эстетическую, идейную, этическую, ценность духовную в его "картине мира". Аргументировать же ценности в обыденной, повседневной нашей жизни, средствами обыденного языка — невозможно. Эта задача под силу лишь науке, использующей для такой аргументации соответствующий метаязык. В обыденной жизни духовные ценности не аргументируемы, они или есть или их нет. Аргументировать можно лишь цели, вот почему в рассмотренном нами отрывке аргументация разворачивается именно с такой, целевой ориентацией. Между тем ценности, не будучи объектом аргументации, в ряде случаев становятся ее средством, т.е. могут использоваться сами в качестве аргументов.

Рассмотрим другую сцену из того же романа, сцену спора, в котором участвуют Таня и встреченный ею и Лосевым в церкви случайный знакомый — Илья Самсонович (цитируется с сокращениями):

— Да вы напрасно надеетесь, не вероотступник я. Я за укрепление веры. Вот результат моих сомнений... Пришел я к тому, что необходимо поменять назначением ад и рай...

— То есть как поменять... зачем? — спросила Таня, ошеломленно следя за ним.

— Для достижения подлинного бескорыстия. Вы в соборе упомянули, что у них чистая молитва. Ох, заглянули бы вы вовнутрь к ним. Страх и сделка. Пусть во очищение, пусть морально, но если

в высшем смысле, то это же торговля. Приходят договориться. Я тебе, господи, ты мне. Я тебе веру, хвалу, ты мне — прощение и вечное блаженство. Сделка с расплатой на небесах. Я на земле буду соблюдать, значит попаду в рай, а буду жрать, хапать, распутничать — тогда мне гореть и страдать. Значит все на страхе основано... Кнут и пряник? Не согласен. Унизительно!... Отныне считаю божественным и справедливым отправлять в ад праведников!...

— Так это же бесчеловечно!...

— Вы же атеистка? И все равно не по душе, верно? А для верующего и вовсе.

— Зачем вам это, в чем смысл? — нетерпеливо прервала его Таня.

— Чтобы обнаружить. Неужели не поняли? Человека надо обнаружить! В этом двуногом хищнике, обжирающем землю. Пора узнать, кто мы есть... Кто мы? Барышники или вложено в нас что-то божественное?... Как узнать? Возьмем и удалим всякую выгоду. Не оставим никакой надежды... Праведник блаженства не увидит, грешник покаяния не получит. Моим начальникам тоже куда как не понравилось...

— Потому что несправедливо! Вы хотите бога сделать совсем несправедливым.

— А-а! Это мне сразу объявили. Однако наша жизнь тоже не поощряет добрых и честных. Это как — справедливо? Нет, тут справедливостью ничего не выяснить...

— Но разве вас не пугает, что люди хуже станут от такой идеи? — спросила она.

— Нет хуже нынешнего безверия. Посмотрите, что делается. Вы лучше спросите — как с верой будет? Вот в чем вопрос! Где ныне праведники, новые святые? Всех старых святых придется пересмотреть. Среди них такие, что лишь о вечном своем блаженстве пеклись. Отказывали себе во всем, чтобы там все иметь по первому классу. Самые чистые и те втайне рай себе зарабатывали. Два пишут, один в уме. Да не в них дело. Главное — узнать, есть ли в нас душа? Вот я и хочу из человека выгоду выпарить, удалить, посмотреть, что же в остатке. Если ничего — тогда конец. Тогда всякая надежда и доброта кончается. Никаких сказок. Сила, хитрость и выгода!...

Таня вдруг сказала:

— Ошибка у вас, Илья Самсонович.

— Какая? Ты покажи.

— Позабыли вы одно чувство. Есть у людей, кроме выгоды и пользы... Вы говорите, праведников нет. А матери? Вы про свою мать вспомните. — Илья Самсонович дернулся, хотел что-то сказать, но не сказал. — А жены? Любая женщина любящая, она может все человечество вытащить и спасти ради любви! Вы ей чем угодно грозите на том свете за эту любовь — ее не испугаешь. Жгите ее, в котлы ваши кидайте — она от любви не отступится и спасет... Вы знаете, моя мать что сделала? Она брата моего... он в сорок первом родился, в Ленинграде, потом блокада началась, ему годика не было, он кричит, есть хочет, а у нее ни молока, ни крошки хлеба нет, так она — вену себе надрезала и ему руку прикладывала, он пососет

кровь ее и утихнет, заснет, тем и спасла его. Любовь — вот вся ее выгода. Что ей ад или рай. Я потому так, что та же кровь во мне, ее кровь, я поэтому знаю...

Она подняла голову, вытянулась, что-то приоткрылось в ней, дохнуло жаром таким, что Лосев внутренне отпрянул. Где-то там бушевало пламя, что-то плавилось и сгорало.

Илья Самсонович, сморкаясь, восторженно поклонился низко, жидкие волосы его легли на пол.

— Твоя правда! Твоя! Да чего права..." (с. 220—223).

Построение аргументации в этом споре отличается рядом особенностей. Во-первых, хотя аргументация и здесь носит форму диалога, аргументы "за" и "против" выдвигает фактически одна из спорящих сторон — Илья Самсонович, тогда как Таня, помимо вопросов, вставляет лишь три коротких реплики: это бесчеловечно (1), это несправедливо (2), наконец, — любовь (3).

Во-вторых, логическую форму аргументации в данном случае можно представить как развертывание семантического поля (или поля знания) вокруг стержневого понятия, выражающего определенную духовную ценность — "душа", "справедливость" или антиценность — "польза", "выгода". Спорность или бесспорность включения того или иного явления, понятия в соответствующее "ценностное поле" и становится подлежащим обсуждению вопросом. Так, обозначаемые Таней через антонимы понятия "гуманность, гуманизм" (1) и "справедливость" (2) подпадают под антиценностную принадлежность, поскольку с точки зрения Ильи Самсоновича в них тоже заложена тенденция к "пользе и выгоде".

И в-третьих, лингвистическое воплощение такого построения аргументации характеризуется тремя уровнями обобщения, можно даже сказать, тремя уровнями метафоризации. Первый уровень метафоризации заключается в том, что в один ранг с ценностями возводятся конкретные действия и явления (жрать, хапать, барышники, хвала), которые выступают как символы или признаки понятий второго уровня, т.е. стержневых, или имен полей, — выгода или доброта, расчет или душа, ад или рай.

Наконец, показателем третьего уровня метафоризации следует считать тот факт, что богословский по своей форме спор оказывается философско-этическим по содержанию, так как речь идет об общечеловеческих духовных ценностях, не зависимых от религиозно-мистических настроений Ильи Самсоновича, с одной стороны, и материалистически-атеистической позиции Тани, с другой. Т.е. произносится "покаяние", а мыслится "добро", произносится "душа", а мыслится "справедливость" и т.п.

Задача, которую преследует в этом споре Илья Самсонович, заключается в том, чтобы показать противоположной стороне, что между полярными понятиями зла и добра ("ад и рай", "кнут и пряник" в его терминологии) лежит не корыстная заинтересованность, не цель достичь вечного блаженства, а имманентно присущая человеку высшая ценность благоговения перед жизнью (опять-таки в религиозной терминологии — "душа", "божественное"). И строит свою аргумен-

тацию Илья Самсонович "от противного": коль скоро все, даже самые высокие понятия, вписываются в поле антиценностей, то на долю "душа" не остается ничего, и поэтому "доброта", "надежда", "справедливость" оказываются "неприкаянными", как бы повисают в воздухе, лишённые надежной опоры — своего стержневого понятия. Естественно, что его оппоненту при таком развёртывании аргументации достаточно найти хотя бы одно понятие, не подчиняющееся логике "выгода", не вписывающееся в это поле, чтобы опровергнуть его построение.

Логическую структуру его аргументации можно представить следующим образом:

Если [(если вера, хвала — прощение, вечное блаженство) и (если жрать, хапать, распутничать — гореть, страдать)], а значит, "кнут и пряник" это расчет, то тем более [хищник, обжирать, барышники, голый расчет, разум, выгода, польза, сила, хитрость, страх и сделка, торговля, корысть, договориться, расплата] — это выгода. Потому что [вечное блаженство, чистая молитва, праведники, святые, очищение, морально, грешники, покаяние, добрые, честные, справедливые, утешение, страх возмездия] — все это тоже строится на расчете. Интересно, что в этой логической структуре можно проследить те же три уровня (два из них помечены круглыми и квадратными скобками, а третий зафиксирован вне скобок), которые характеризуют лингвистическое оформление аргументации по степени метафоризации.

В соответствии с навязанной ей структурой аргументации Тania — для ее опровержения — не отвечает прямо на поставленные оппонентом вопросы, а подыскивает такие ценности, которые не включаются в поле "выгода". Первые две ее попытки оказываются неудачными, и лишь третий аргумент — "любовь" — убеждает ее оппонента. И тогда, первоначально отводимые Ильей Самсоновичем ценности как не самостоятельные, как не обладающие потенциальным стержневым понятием, выстраиваются в строгий логический ряд: если есть любовь, то есть и справедливость, и бескорыстие, и гуманность, и надежда, и доброта, и сказка, и вера, и божественное, и душа и т.п.

Надо сказать, что спор Тани с Ильей Самсоновичем по содержанию представляет собой классический спор по поводу вечной проблемы, которую по-своему ставит каждая эпоха, и ответ на которую ищет для себя каждая отдельная личность. Мы найдем обсуждение вопроса о движущих силах добра и зла и в диалогах Платона, и у философов Возрождения, у Чернышевского и Достоевского, у Гессе и Швейцера, у Айтматова и Астафьева. Но похоже, что логическая структура аргументации во всех случаях одна и та же: она строится на приеме фальсифицируемости, т.е. на подыскивании такого понятия, которое заведомо не вписывается в расширяющееся семантическое (ценностное) поле, не подчиняется сформулированному и претендующему на абсолютную значимость правилу о поглощении всего "расчетом". Причем состав семантических полей обнаруживает очень сильное подобие для разных эпох и разных языков. Например, в рассуждениях Гессе: "Раскаяние само по себе не пользуется немало, благодати нельзя

купить раскаянием, ее вообще нельзя купить"¹⁴. "...Из первейших заповедей нашего великого времени: только не рассчитывать, только не давать запугать себя соображениями рассудка, но помнить, что вера сильнее, нежели так называемая действительность"¹⁵. Мы находим здесь те же два ряда ценностей и антиценностей:

Гессе	Гр а н и н
раскаяние vs благодать	покаяние vs вечное блаженство
купить	торговля, сделка
рассчитывать, рассудок	расчет, разум
вера vs действительность	любовь vs выгода
<p>В "Пире" Ксенофонта, рассуждая о двух Эротах, Сократ аналогичным образом разворачивает противостоящие одно другому семантические поля вокруг понятий "душа" и "тело" (любовь к душе и любовь к телу), смыкающихся с понятиями добра и зла¹⁶.</p>	
тело, наружность, красота, пре- лести	душа, духовный
наслаждение, желание, вожде- ние, страсть	любовь, дружба, молитва
удовольствие	слава
зло	добро
позорный, бесстыдный, унизительный, бранят, ненавидят, развращает	благородный, нравственно, высоконравственный, скромный
стыд, срам, бесстыдство, преступ- ление, неумеренность, невоздер- жание	добродетель, стыдливость, забо- титься
презрение	уважение
деньги, покупатель, торговец, продает	подвиг, муки, труды
смертные	бессмертные
Афродита всенародная	Афродита небесная

Классический характер спора, как и повторяемость самой аргументации, служат еще одним подтверждением ее качества "неконечности", о котором речь шла выше. Процесс убеждения оппонента и в итоге его согласие со спорящей стороной в каждом конкретном случае еще не является доказательством истинности защищаемого тезиса: *argumenta, non argumentatio* ("фактические доводы еще не есть построенное на них доказательство"). Но сиюминутная цель достигается — согласие оппонента обеспечено.

В композиции романа, из которого взята рассмотренная сцена спора, она играет важную, ключевую роль — и именно для характеристики языковой личности Лосева, который в данном споре реально не участ-

¹⁴ Гессе Г. Паломничество в Страну Востока. М., 1984. С. 33.

¹⁵ Там же. С. 46.

¹⁶ Ксенофонт *Афинский*. Сократические сочинения. М., 1935. С. 236—242.

вует, а присутствует в качестве наблюдателя. Спор на деле является вербализованной версией его сомнений и размышлений о верности, истинности выбранного им пути в решении судьбы картины художника Астахова и самого изображенного на ней дома Кислых. И в этом смысле значимым для героя оказывается как раз третий — "не-называемый" — уровень метафоризации. Почему же в качестве характеристики конкретной языковой личности — Лосева — использует-ся речь, диалог посторонних, третьих лиц?

В литературно-композиционном плане этот прием следует рассматривать как один из вариантов спора личности со своим alter ego. Естественно, что соответствующему персонажу (т.е. Лосеву) не свойственна та раздвоенность сознания, которая характеризует Голядкина у Достоевского или воплощается в беседе Дмитрия Карамазова с чертом, потому весь спор выносится здесь вовне по отношению к герою. Причем характеризуемый этим диалогом сам наблюдатель не принимает однозначно сторону того или второго оппонента, не находится в этом споре ни на стороне Тани, ни на стороне Ильи Самсоновича, но как бы поднявшись на высший уровень метафоризации, подставляет на место приводимых спорящими сторонами аргументов иные сущности и иные ценности.

В лингвистическом же отношении мы встречаемся здесь с тем, что в стилистике и риторике называют иногда "антисловарем" личности: у каждого автора, наряду с излюбленными им словами, характерными для его произведений, для его словаря в целом, имеются и слова, употребления которых он избегает — сознательно или несознательно. Если встречаемость первых в его текстах заметно превышает относительную частоту их появления для текстов соответствующего языка в среднем (по данным частотных словарей), то относительная частотность вторых оказывается существенно ниже статистической нормы. Такие отклоняющиеся в ту или другую сторону от нормы встречаемости слова являются ключевыми в идейно-тематическом плане для текстов соответствующего автора и помогают выявить его тезаурус, реконструировать его картину мира. Эти особенности и закономерности, установленные при статистических исследованиях языка писателя, могут быть перенесены и на среднюю языковую личность при анализе совокупности порожденных ею речевых произведений. Так, выразительное несовпадение ключевых слов в лексиконах двух действующих лиц, а именно — Лосева и Астахова, в романе Д. Гранина напоминает, как сказано выше, картину с "шахматным" чередованием клеток, символизирующих ключевые слова в текстах того и другого персонажа. Аналогичным, т.е. смещенным, сдвинутым относительно друг друга как черные и белые клетки на шахматной доске, оказывается и расположение более крупных единиц, семантических полей — в лексиконах Лосева, с одной стороны, и двух спорящих на его глазах персонажей, с другой. Из всего набора лексем, которые составляют семантические поля "вечное блаженство", "возмездие", "выгода", "любовь", "справедливость", в лексиконе Лосева однократно встречаются лишь отдельные слова, никак не образующие семантических полей и употребленные, как правило, не в прямой, назывной

функции, но в косвенной форме, а часто и в иных значениях: веры — 1 раз, пользы — 1 раз, силе — 1 раз, страхи — 1 раз, честное (слово) — 1 раз и нек. др. В его текстах не встречается и Таниных контраргументов, т.е. нет слов *несправедливый* (как и *справедливый*), *бесчеловечно*, нет слова *любовь*; нет также слов *выгода*, *расчет*, *рассчитывать*, хотя, казалось бы, его социальная роль и прагматическая ориентированность всей деятельности должны подготовить читателя к ожиданию такой лексики. Таким образом, указанные единицы составляют анτισловарь, или антилексикон Лосева, и этот антилексикон функционален, поскольку является одной из характеристик данной языковой личности. Такая ситуация и объясняет нам, почему спор о ценностях в картине мира самого Лосева ведется устами других людей: ценности и соответствующие им концепты есть в тезаурусе Лосева, но слов, употребляемых спорящими, в его активном лексиконе нет.

По поводу последнего утверждения естественным кажется задать вопрос: а как же тогда существуют эти концепты в его тезаурусе, коль скоро они не погружены в разворачиваемые в споре семантические поля и ими не поддерживаются? Во-первых, вербальное выражение самих концептов и ценностей в тезаурусе Лосева может быть несколько отличающимися от того, что имеет место в споре. Если обратиться к таблице ключевых слов (с. 120), то мы увидим среди них отклоняющиеся от статистической нормы — *добро*, *душа*, *люди*, *совесть*. Во-вторых, концепты и ценности тезауруса личности поддерживаются не только семантическим уровнем, т.е. опираются не только на семантические поля, но и определенным образом обеспечиваются вышележащим прагматическим уровнем, где они выливаются в соответствующие оценочно-целевые стереотипы и поведенческие структуры, что и подтверждается действиями Лосева в романе. Следовательно, можно сделать вывод, что в этом споре мы сталкиваемся с особым случаем речевой характеристики языковой личности, когда в качестве ее средства используется невербализованная часть лексикона (см. схему 2 в разделе о структуре лексикона) — характеристики с помощью не свойственных ему слов, и тем обосновываются разделяемые героем взгляды на мир и ценности в картине мира.

Люблю, значит живу.
М. Пришвин*

За пределами обсуждения в этой книге остались многие характеристики и свойства русской языковой личности. Так, специального исследования и развития требует вопрос о способе существования грамматики в индивидуальном лексиконе и вообще о формах хранения языковых знаний в их соотношении со знаниями о мире в тезаурусе личности. Не получила разработки относящаяся к высшему, прагматическому уровню организации языковой личности система деятельностно-коммуникативных потребностей и ее обратное влияние на духовную развитость и творческие потенции. Не был затронут вопрос о двуязычной личности, о социо- и психолингвистических предпосылках формирования гармонического двуязычия. Интересные следствия сулит анализ языкового сознания, которое проявляется в оценках своей и чужой речи, в рефлексии над фактами языка, в отношении к языковой норме и ее нарушениям. Перечень не рассмотренных здесь проблем мог бы расти, и именно большой объем несделанного оставляет автору надежду, что эта книга привлечет внимание к затронутой теме и стимулирует научный поиск, результаты которого могут стать основой нового синтеза знаний о русском языке.

Однако есть одно неотъемлемое свойство языковой личности, одна из обязательных ее характеристик, которую никак нельзя обойти и о которой необходимо сказать несколько слов хотя бы в заключительных строках книги. Речь идет о любви каждого говорящего к своему языку. Это чувство *amor linguae* коренится глубоко в душе человека—носителя языка и может оставаться неосознанным, проявляясь лишь при столкновении с речью людей, говорящих вроде бы и по-русски, но не "по-нашенски", с какими-то искажениями, отклонениями, непривычным, а значит, "неправильным" употреблением слов, с иными ударениями и т.п. *Amor linguae*, как и всякая любовь, своеобразна и избирательна, и средняя языковая личность не распространяет ее, как правило, безразлично на все языковое богатство своего народа, а сосредоточивает на определенных случаях речупотребления, каких-то особенностях сочетаемости слов, на отдельных словоформах или значениях, на интересе к этимологизированию. Далекий от научных занятий языком шофер такси говорит с возмущением: «И

* Пришвин М. Зеркало человека. М., 1985. С. 384.

когда только мы отучимся говорить "ехайте", ведь это же неправильно!» Академик-химик отмечает необоснованно распространившееся, благодаря газете, "неправильное" употребление форм множественного числа в сочетаниях "безотходные технологии", "экономические инициативы" и т.п.: ... "ведь слова *технология* и *инициатива* не имеют множественного числа в русском языке". Рабочий станкостроительного завода обращает внимание на название цикла телепередач "Ленинский университет миллионеров": "А где же находится этот университет?" Как это понимать?" Т.е. для него университет — это совершенно конкретное учебное заведение, которое должно быть сосредоточено в определенном месте и иметь постоянный контингент обучаемых и обучающихся, что в общем-то и соответствует его нормативному значению. *Amor linguae* диктует и настороженное отношение к новым иностранным словам, употребляемым подчас неоправданно широко и бездумно.

Конечно, лингвист всегда может прокомментировать подобные случаи и дать обоснованные разъяснения появлению тех или иных форм, опираясь на действие аналогии и парадигмального выравнивания, на семантическое сужение и влияние английского словоупотребления, наконец, на расширение значения слова *университет*, не зафиксированное пока нормативными словарями. Отношение рядового носителя языка к разного рода новациям лишено такой спокойной объективности и окрашено большей эмоциональностью, что вполне понятно: *amor linguae*, как всякая любовь, порождает ревность, и настроенные на стабильность, привычность и надежность чуткое ухо и глаз носителя языка мгновенно улавливают малейшие изменения и отклонения и дают им ту или иную оценку, впрочем, как правило, негативную.

Любовь к языку — это одно из проявлений любви к родине, которая всегда с нами, всегда в нас, но ощущаем мы которую, только расставаясь с ней на какое-то время. *Amor linguae* сохраняется на всю жизнь, и приходилось не раз слышать от людей, со времени их юности живущих на чужбине, признания о том, что, заслышав родную русскую речь, они готовы бывают расплакаться. Недаром существует такая теория, что на ритм и звучание родной речи человек настраивается, находясь еще под сердцем матери.

Любовь к языку у лингвиста составляет часть его профессиональной компетенции и потому всегда осознанна, не носит случайного или избирательного характера, как у рядового носителя. А поскольку лингвист вооружен еще пониманием законов языковой эволюции, его *amor linguae* реже бывает подверженной охранительным приступам ревности: варьирование языковых единиц в процессах речевой деятельности есть для него нормальный способ существования языка и одновременно основа и микромир последующих исторических макроизменений, по которым и ведется отсчет развития языка. Оставаясь языковой личностью и испытывая воздействие *amor linguae*, лингвист тем не менее стремится в своих мнениях и оценках искоренить примесь личного, добываясь, чтобы не он говорил о тех или иных явлениях и фактах, а через него наука выносила свои суждения и приговоры. И потому, чтобы обрисовать эту трудную,

диалектически двойственную позицию лингвиста — как языковой личности и как объективного наблюдателя и исследователя, хотелось бы прибегнуть к понятию древнеиндийской философии, носящему название карма. Карма лингвиста объединяет причины и следствия языковых явлений, их постоянство и изменчивость, их позитивную и негативную роль в жизни языка, и реализуя в своей деятельности карму любви к языку, исследователь с равной беспристрастностью и объективностью определяет генеральную линию развития того или иного феномена и отклонения от нее, нормирующие закономерности системы и асистемные ошибки говорящих, повторяющиеся, неизменно воспроизводимое и его нарушения, новации.

Карма любви расширяет, таким образом, сознание лингвиста, и на каком-то этапе приводит его к пониманию того, что в любом конкретном национальном языке нет ничего, что не принадлежало бы одновременно Языку вообще. Вывод мог бы показаться парадоксальным, особенно в свете национальной специфики языковой личности, специфики, о которой речь шла во введении и влияние которой последовательно прослеживалось на всех уровнях ее организации. Но на самом деле никакого противоречия нет: специфика и языка, и языковой личности всегда остается, поскольку она есть ограничение в возможностях дискретного ли означивания фрагментов мира, грамматического ли выражения связей между элементами или в отправлении воздейственной функции языка в речевых актах. И все же карма любви диктует лингвисту — скрытно или явно — предположенность к родному языку. Так же как для среднего носителя, исходящего из принципа *amor linguae*, родной язык является самым совершенным инструментом, говорить и понимать с помощью которого столь же просто и естественно, как ходить и дышать, и потому он не ощущает никаких ограничений и расценивает свой язык как самый красивый, богатый и выразительный, точно так и для лингвиста, исповедующего карму любви, родной язык всегда служит эталоном языка вообще, Языка с большой буквы. Нет такого русского германиста, ираниста или тюрколога, который не писал бы когда-нибудь и о русском языке. Более того, автору известны десятки русских романистов, индоевропейцев или синологов, не говоря уже о славистах, которые часть своих работ посвятили именно русскому языку, а несколько из них — с громкими теперь именами, целиком переклочившись на исследование родного языка, стали признанными русистами. Ну, а если обратиться к русским писателям, мы найдем сотни признаний в том, что любовь, внимание и интерес к языку своего народа были одним из мощных стимулов, побудивших их к творчеству, заставивших писать, сделавших главным их орудием русское слово.

В размышлениях о родных словах, на которые толкает человека его *amor linguae*, есть аспект, не укладывающийся в обычные границы семантики, не вписывающийся в стандартные рамки этимологии, поскольку он оказывается шире, чем просто значение или поиски исходного этимона. Он странным образом соединяет в себе и семантику, и этимологию, и наиболее яркие события из истории народа и его выдающихся представителей, и показательные черты русской куль-

туры в целом. Таковы приводимые Д.С. Лихачевым размышления Н.К. Рериха, который в одном из писем говорит о том, что к словам, заимствованным другими языками из русского, «следовало добавить еще одно слово — неперебиваемое, многозначительное русское слово "подвиг". Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения... Героизм, возвещающий трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово "подвиг"... Соберите из разных языков ряд слов, означающих лучшие идеи передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжатому, но точному русскому термину "подвиг". И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем движение вперед, — это "подвиг"...»¹ и, по мнению Д.С. Лихачева, слово это выражает "какие-то сокровенные черты русского человека"².

Связь неповторимых особенностей родных слов с выдающимися событиями национальной истории и чертами национального характера есть самое выразительное проявление *amor linguae*. И конечно, не стремление отдать дань филологии заставляет языковую личность прибегать к опоре на родной язык в трудных вопросах познания и объяснения мира или в решении нравственных проблем: «Нам представляется, что родственность науки и искусства, равно как и различия между ними, хорошо выражаются сходством и различием русских слов "истина" и "правда". К истине можно лишь постепенно приближаться и невозможно вполне овладеть ею. Правда непосредственно видима, слышима, но неперебиваема на язык понятий. Она нужна как свидетельство существования истины, ускользающей от теоретического анализа, как воплощение единства всех явлений мироздания, его стройности. Диалектика объекта и субъекта в познании действительности членит потребность познания на две ветви с акцентом на "истину" или на "правду"³. Подобные аргументы, как и другие рассуждения тех же авторов о словах *со-весть*, *со-знание*, *мало-душие* и *велико-душие*⁴ порождаются вовсе не тем, будто они проявляют популяризаторскую слабость и впадают в филологию, нет, эти аргументы вызываются силой *amor linguae*, той самой силой любви, без которой не может быть русской языковой личности. И поэтому, когда мы ставим задачу ее изучения, то думается при этом не о лингвистике в первую очередь, не о психологии и даже не о филологии в целом, но о чем-то более глубоком и значительном.

¹ Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1981. С. 10.

² Там же. С. 11.

³ Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984. С. 34.

⁴ Там же. С. 37, 39.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава I. Общие представления	
О предпосылках включения "языковой личности" в объект науки о языке	11
Понятие языковой личности в трудах В.В. Виноградова	27
Языковая личность и национальный характер	35
Лингводидактическое представление языковой личности и ее структура	48
Художественный образ и языковая личность	68
Глава II. Внутри языка (вербальный уровень)	
О месте лексикона в структуре языковой личности	84
Способы реконструкции индивидуального лексикона и грамматикона	101
Национальная основа лексико-грамматического фонда личности (общерусский языковой тип)	137
Глава III. Взгляд на мир (к характеристике лингвокогнитивного уровня в структуре языковой личности)	
Между семантикой и гносеологией	165
Промежуточный язык — язык мысли	184
Глава IV. Место в мире (аспекты прагматики)	
Несколько соображений о коммуникативных потребностях личности	211
Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности	216
Текстовые преобразования в ассоциативных экспериментах	237
Способ аргументации как характеристика языковой личности	245
Эпilogue	259